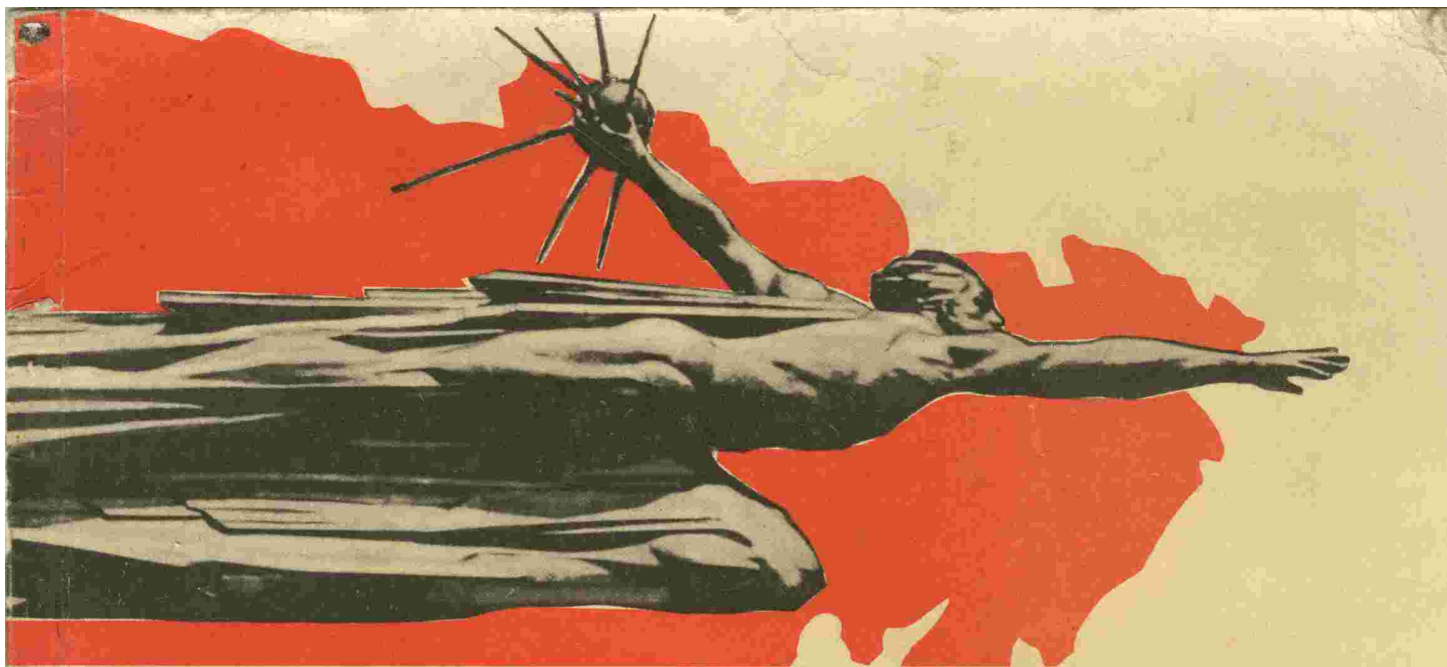
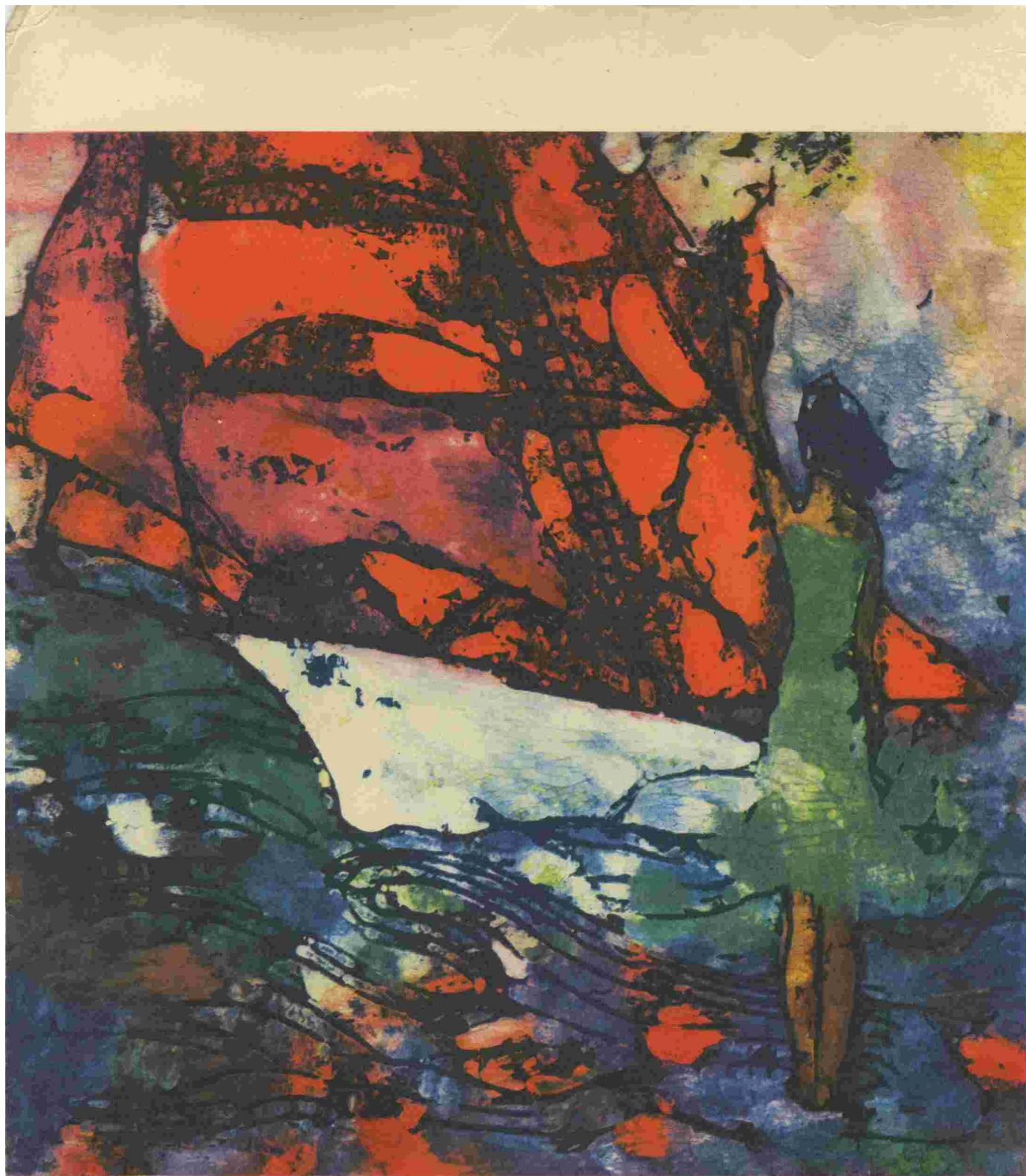




ЮНОСТЬ

1

1968



Алла ГАБЫШЕВА.

Из иллюстраций к повести А. Грина «Алые паруса» [монотипия]



ЮНОСТЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНИК СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР



год издания
четырнадцатый

В ЭТОМ НОМЕРЕ:



Из воспоминаний А. И. Микояна
«О днях Бакинской коммуны».



Новые стихи Евг. Евтушенко.



Повесть молодого тульского писателя
И. Минутко «Двенадцатый двор».

1

(152)

ЯНВАРЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА» МОСКВА

1 9 6 8

• В НОМЕРЕ • В НОМЕРЕ • В НОМЕРЕ •

● ПРОЗА

- Игорь МИНУТКО. Двенадцатый двор. Повесть 8
- Лазарь КАРЕЛИН. В доме оружейника. Повесть 31

● ПОЭЗИЯ

Евгений ЕВТУШЕНКО. Из баллады о темах. Денабристские лиственницы. Баллада о ложных маяках. Мой почерк. За молочком. Баллада о ласточке 2

Давид КУГУЛЬТИНОВ. «Я помню трудные года...». «Склоняясь к трубке телефонной...». «Малыш игрушку бросил дорогу...». Сквозь века. «Солнцем напоен досыта воздух...». Перевела с калмыцкого Юлия Нейман 7

Олег ЧУХОНЦЕВ. «Душа чему-то противостоит...». Повествование о Курбском. Монолог Каховского. Чаадаев на Басманной. Северный месяц. Обращение к шарманщику Шаво из кабачка «Бетани» 29

● ПУБЛИЦИСТИКА

Анастас МИКОЯН. О днях Бакинской коммуны. Из воспоминаний. Продолжение 61

Юрий СКОП. Открытки с тропы 81

● НАШ ФЕЛЬЕТОН

Сергей ЛЬВОВ. Рубрикон перейден! 76

● ОКНО В МИР ПРЕКРАСНОГО

А. ШАРОВ. О некоторых происшествиях реальных и иных почти фантастических. Записки музейного работника 90

● СРЕДИ КНИГ

Мария ПРИЛЕЖАЕВА. Баллада о подвиге 99

Л. АННИНСКИЙ. Мера успеха 100

● ДЕБЮТЫ

Валентина РЕКА: «Хоть бы раз выйти замуж на сцене...» 80

● ПОЧТА «ЮНОСТИ»

Три письма на одну тему 101

● СПОРТ

Интервью перед стартом. (На вопросы «Юности» отвечают Л. БЕЛОУСОВА, О. ПРОТОПОПОВ, Л. СКОБЛИКОВА, Е. ГРИШИН, Б. МАЙОРОВ.) 103

Н. САМОЙЛОВ. Приз «Юности» — у Ларисы Захаровой 105

● «ПЫЛЕСОС»

Марк РОЗОВСКИЙ. Глянцевый мальчик. Рассказ 106

Юрий РИХТЕР. Только телеграммы 108

● ЗАМЕТКИ И КОРРЕСПОНДЕНЦИИ

* Юрий ЛЕВИТАНСКИЙ. Турнир поэтов.
* В. БЕЗРУКОВА. «Тем, кто моложе меня на сто лет». * Николай БУЛГАКОВ. Маленькая студентка 109

На 1-й странице обложки — фрагмент скульптуры Г. ПОСТНИКОВА «В космос!».

Художественный редактор Ю. Цишевский.

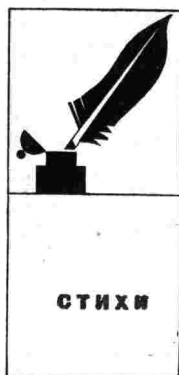
Технический редактор Л. Зябкина.

Адрес редакции: Москва, Г-69, ул. Воровского, 52.

Телефон Д 5-17-83. Рукописи не возвращаются.

А 00517. Подп. к печати 19/ХП—1967 г. Формат бумаги 84×108¹/₁₆. Объем 12,18 усл. печ л. 17,82 учетно-изд. л. Тираж 2 000 000 экз. Изд. № 9. Заказ № 3223.

Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина.
Москва, А-47, ул. «Правды», 24.



Евгений Евтушенко

Из баллады о темах

1

Я так ненавижу,
когда, почесав себе темечко,
мне кто-то бесстыже
звонит, предлагая:

«Есть темочка...»

Как сводник безносый,
гундосящий сладко:

«Есть девочка...» —

ты,

умник безмозглый,
поэту журчащий:

«Есть темочка...»

2

Серебряный танкер

явился мне ночью однажды,
летя лебедино над Леной,

и так мне
невидимый кэптен

в роландовый рог затрубил
над Вселенной:

«Эй, на этажерке!

Не дрейфьте — бортом не задену.
Кто там Евтушенко!

Ты слухай:

я дам тебе тему».

И кэптен лавиной

исторг свою исповедь в рупор,

и рык его львиный

могуче тем рупором хрупал,

и тема сверхвестью

наш карбас трясла-протрясала

и с брызгами вместе

к лицу моему прирастала.

Я вздрогнул антенно...

Стремясь доказать: «Мы не в пешках!»,
скрипел свою тему,

летя, как трирема, «Микешкин».

Герои триремы

как будто бы сладко храпели,

но горькие темы

в носах заострившихся пели.

Штурвалил наш лоцман.

Подглазные синие тени

безмолвием ложным

кричали: «Мы — темы... Мы — темы...»

Разбитое качкой

мое изнуренное тело

аж косточкой каждой

вопило: «Я — тема... Я — тема...»

Вселенная выла,

каталась в падучей, свистела

и в морду мне била,

рыдая: «Я — тема... Я — тема...»

На Лене было так,
на Лене.
Валились горы на колени.
«Что опыт наш,
когда мы немые!
Мы немые,
но подсказке темы».
На Лене было так,
на Лене.
Березки-карлицы
в моленьи
тянули скрюченные руки:
«Ну чем не тема — наши муки?»
На Лене было так,
на Лене.
Как тему вечную,
олени
на пантах замшевых
в печали
груз мироздания качали.
На Лене было так,
на Лене.
Шли люди, люди в иступленьи
и в стол —
бутылки аж летели! —
как финки,
всаживали
темы!
Снабженец с ликом стратотерпца,
кляня торговую систему,
как будто бы:
«Я дам те перцу!»
мне угрожал:
«Я дам те тему!»
Со мною поп-расстрига парился
так, что Вселенная кряхтела,
и, бородой сверкая паюсной,
кричал мне:
«Есть такая тема!»
На Лене было так,
на Лене.
И я бежал,
ища спасенья.
Сдвигаясь,
лязгали стаканы,
как будто ляскали капканы.
Я,
выдирая с мясом душу,
вновь удирал
и знал, что трушу.
Но темы плакали,
трубили,
врезались в шкуру,
как дробины,
в печенку били,
как жаканы,
захлестывали,
как арканы.
И я тогда остановился...
Пар
надо мной устало висел.
И, вызов свой
швырнув, как бомбу:
«Спаси меня!» —
я крикнул богу.
Но с неба глухо догудело:
«Я не спасение...
Я — тема»...

Декабристские лиственницы

В Киренский острог был сослан декабрист Веденягин. Чтобы не умереть с голоду, он вынужден был служить писарем в полицейском участке. В Киренске остались лиственницы, посаженные им.

Во дворе мастерской индпошива
без табличек и без оград,
словно три изумрудные взрыва,
эти лиственницы стоят.

И летят в синеву самовольно,
так что даже со славой своей
реактивные самолеты
лишь на уровне средних ветвей.

Грязь на улицах киснет и киснет,
а деревья летят и летят.
Прижимается крошечный Киренск
к их ветвям, будто кучка опять.

Воздух лиственниц — воздух свободы,
и с опущенных в Лену корней
сходят люди и пароходы,
будто с тайных своих ступеней.

И идет наш задира «Микешкин»
проторить к океану тропу,
будто маленький гордый мятежник,
заломив, словно кивер, трубу.

Нас мотает в туманах проклятых.
Океан еще где-то вдаль,
но у бакенов на перекатах
декабристские свечи внутри.

...Что он думал, прапрадед наш ссыльный,
посадив у избы деревца
и ружью почти что бессильной
отгоняя мошкú от лица!

«Что ж, я загнан в острог для острастки.
Вы хотели б, чтоб смирно я жил,
чтоб у вас в полицейском участке
я по писарской части служил!

Но тем больше крыла матерюют,
чем кольцуют прочней лебедят.
Кто сажает людей, кто — деревья.
Но деревья — они победят...»

Во дворе мастерской индпошива
без табличек и без оград,
словно три изумрудные взрыва,
эти лиственницы стоят.

Говорят, с ними разное было.
Гнул их ветер, сдвываясь затем,

и ломались зубастые пилы
всех известных в Сибири систем.

Без какой-либо мелочной злости
и обид никаких не тая,
все прощали они, даже гвозди
для развешивания белья.

С ними грубо невежи чудили.
Говорили, мешают окну.
Три осталось. А было четыре.
Ухитрились. Спилили одну.

И в окно мастерской индпошива
смотрит — сделанный мало ли кем, —
как обрубленнорукий Шива,
бывший листовницей манекен.

Обтесали рубанком усердно —
ни сучка, ни задоринки пусть!
Но стучит декабристское сердце
в безголово напыщенный бюст.

И когда прорываются с верфи
по ночам пароходов гудки,
прорастают мятежные ветви
сквозь распяленные пиджаки...

Киренск.

Баллада о ложных маяках

«...и оные огни поддельные смущают души рыбацкие вселением надежды обманной...»
(Из старинной лоции.)

Нам уже
наворожили столько лжи
голубые
ледяные миражи.
Врали метеопроороки.
Врал компас.
Бог,
неверующих, нас,
видно, спас.
Сколько нищий
в своей жизни медяков,
столько видели мы
ложных маяков,
и суденышко,
зверя от ругни,
мы вели
на эти подлые огни.
Но огни
от нас давали стрекача.
И «Микешкин» дно корябал,
скрежеща,
и с ладоней
кожу ключьями срывал
вырывающийся
спятивший штурвал.
Мы затерты.
Льды суденышку по грудь.

Нам бы в бухту,
нам бы малость отдохнуть,
зацепиться
ржавым якорем за дно,
подремать
с водой спокойной заодно.
Но мы тычемся опять
о миражи,
так, что ржут
соленоусые моржи...
Вот опять биноклем бодро машет кэп:
«Эй, штурвальный!
Вон маяк!
Ты что, ослеп!!»
А штурвальный,
не впадая в его раж,
отвечает ему,
хмыкнувши:
«Мираж...»

Дельта Лены — море Лаптевых.
Борт «Микешкина».

Мой почерк

Мой почерк не каллиграфичен.
За красотой не следя,
как будто бы от зуботычин,
кренясь, шатаются слова.

Но ты, потомок, мой текстолог,
идя за предком по пятам,
учти условия тех штормов,
в какие предок попадал.

Он шел на карбасе драчливом,
кичливом несколько, но ты
увидь за почерком качливым
не только автора черты.

Ведь предок твой писал при качке,
не слишком шквалами согрет,
привычно, будто бы при пачке
его обычных сигарет.

Конечно, вдаль мы перли бодро,
но тяжко выписать строку,
когда тебе о переборку
с размаху бухает башку.

Когда моторы заверть душит
и целит в лоб накат волны,
то кляксы лучше завитушек.
Они черны, зато верны...

Но если мысль сквозь всю корявость,
сквозь неуклюжести тиски
пробилась, как по Лене карбас
пробился все же до Тикси, —
потомок, стиль ругать помедли,
жестоко предка не суди
и даже в почерке поэта
разгадку времени найди.

За молочком

Жители деревни, о которой идет
речь, ушли на стройки, предприя-
тия, промыслы, переселились в
другие районы.

И вот — неожиданная встреча...

Наш карбас
 мягонько
 в ивняк бочком,
а мы в деревню —
 за молочком.
Ведром побрякиваем,
идем,
 побрякиваем:
вот-вот лянчаночка
 качнет бочком
при коромыслице,
и зубы в кислице,
и то,
 что следует,
 у ней торчком.
А на берегу
 коромысло лежит,
а по коромыслу
 повилика бежит,
а по коромыслу гуляют муравьи,
видно,
 в его трещинах своим-своим.

А на суглинке
 лодка сохлая
давно
 без неводов и верш
лежит,
 как будто нельма дохлая,
обглоданная,
 брюхом вверх.
И, словно
 чья-нибудь сединка,
а чья —
 поди теперь узнай,
одна последняя сетинка
еще цепляется за край...

А сани удалые
в долины под горой,
как будто удавили
их сорною травой.
И колокольчик
 ржавый,
забывший о езде,
к лишайнику прижало
скелетом «СТЗ»...

Молочка!
Может, птичьего!
 Эх, мама-мамочка!..
Кок понурился,
 и боцман потух.
Никакой нас
 не приветствует петух.
Никаких —
 с губами в кислице —
 девчат,
и коровы никакие
 не мычат.

Мы не просим
 о
 несбыточном эпоху —
нам бы
 вляпаться
 в коровью лепеху!

Нам не надо
 неземных
 раев-садов —
лишь бы
 пес какой
 нас цапнул за сапог.

Ах,
 как грохает
 проклятое ведро!
Наступить бы нам
 на теплое перо.

Нам бы
 с кем поговорить —
 хоть с дурачком...
Мы на кладбище
 пришли
 за молочком.

Крест-накрест окна
 горбылем,
как будто
 избы крестятся,
прощаясь с тем,
 кто там — в былом,
а в будущем
 не встретится.

Лишь тучи ходят
 вверх и вниз,
летают и не тают,
как будто
 души мертвых изб
над крышами витают.
А за быльем-крапивой
 дымочек над избой,
взьерошенный,
 драчливый
 комочек голубой.
Смоленой дратвы шорох,
 и шилом да иглой
там одноногий шорник
 с тоскою держит бой.
На пришлых
 взгляд бросает:
 «Ну что ж,
 заходи в избу!» —
а сам хомут спасает,
 работает узду.
Покуда есть работа,
 тоске людей не сжить.
Работа хочет что-то
 распавшееся сшить.
По шорницкой привычке
 пьет,
 сидя на полу.
«Я здесь был шит,
 парнишки,
 и здесь я и помру.
Не бойтесь,
 я не пьяный.
 Я говорю всерьез:
ногою деревянной
 я в землю эту врос.

Сбежать!
 В тепле пристроиться
 к чужому калачу!
 Достоинства,
 достоинства
 терять я не хочу!»
 На лбу булыги пота.
 Хрипит:
 «Покамест здесь,
 в деревне,
 есть хоть кто-то,
 еще Россия есть!»
 На гимнастерке
 латаной
 медали всех сортов:
 за оборону,
 взятие
 различных городов.
 Лишь нет одной медали.
 Он заслужил, герой,
 медаль за оборону
 пустой деревни той!
 Ну что ж,
 пошли, матросики!
 Нас обступает мгла.
 А там в избе
 работает,
 работает игла.
 Эх, выручай,
 работа!
 Покамест, словно здесь,
 в России есть хоть кто-то,
 еще Россия есть!
 И снова
 к нам доносится,
 гудя по кедрачу:
 «Достоинства,
 достоинства
 терять я не хочу!»
 Ведро,
 как оробелое,
 не грохает во мгле.
 И видим —
 что-то белое
 плескается в ведре.
 Кок поясняет глухо
 у темных изб-могил:
 «Есть у него пегуха.
 Сам доит.
 Нацедил».
 Боясь хоть каплю выплеснуть
 нечаянным толчком,
 кок улыбнуться пробует:
 «Мы, значит, с молочком».
 Киренский район, деревня
 Федеряшино.

Баллада о ласточке

Вставал рассвет над Леной. Пахло елями.
 Простор алел, синел и верещал,
 а крановщик Сысоев был с похмелья
 и свои чувства матом выражал.
 Он поднимал, тросами окольцованные,
 на баржу под названием «Диоген»

контейнеры с лиловыми кальсонами
 и черными трусами до колен.

И вспоминал, как было мокро в рощице
 [На пне бутылки, шпроты. Мошкара.]
 и рыжую заразу-маркировщицу,
 которая ломалась до утра.

Она упрямо съежилась под ситчиком.
 Когда Сысоев, хлопнувши сполна,
 прибегнул было к методам физическим,
 к физическим прибегнула она.

Деваха из деревни — кровь бунтарская! —
 она [быть может, с болью потайной]
 маркировала щеку пролетарскую
 своей крестьянской тяжелой пятерней...

Сысоеву паршиво было, муторно.
 Он Гамлету себя уподоблял,
 в зубах фиксатых мучил «беломорину»
 и выраженья вновь употреблял.

Но, поднимая ввысь охапку шифера,
 который мок недели две в порту,
 Сысоев вздрогнул, замолчав ушибленно,
 и ощутил, что лоб его в поту.

Над кранами, над баржами, над спипами,
 ну, а точнее — прямо над крюком,
 крича, металась ласточка со всхлипами:
 так лишь о детях — больше ни о ком.

И увидел Сысоев, как пошатывал
 в смертельной для бескрылых высоте
 гнездо живое, теплое, пищащее
 на самом верхнем шиферном листе.

Казалось, все Сысоеву до лампочки.
 Он сантименты спал всегда к чертям,
 но стало что-то жалко этой ласточки,
 да и птенцов: детдомовский он сам.

И, не употребляя выражения,
 он, будто бы фарфор или тротил,
 по правилам всей нежности скольжения
 гнездо на крышу склада опустил.

А там, внизу, глазами замороженными,
 а может, замороженными вдруг
 глядела та зараза-маркировщица,
 как бережно разжался страшный крюк.

Сысоев сделал это чисто, вежливо,
 и краном, грохотавшим в небесах,
 он поднял и себя и человечество
 в ее зеленых мнительных глазах.

Она уже не ежилась под ситчиком,
 когда они пошли вдвоем опять,
 и было, право, к методам физическим
 Сысоеву не нужно прибегать.

Она шептала «родненький мой...» ласково.
 Что с ней стряслось, не понял он, дурак.
 Не знал Сысоев — дело было в ласточке.
 Но ласточке помог он просто так.



Давид Кугультинов



Я помню трудные года,—
Счастливец сытый слыл тогда.
Я помню холод голых лет,—
Счастливец слыл — кто был одет.
А нынче все мы — посмотри ты! —
Одеты хорошо и сыты.

Кто говорит сейчас о хлебе!..
Быть может, наше счастье в небе!
Да, человека в синь высот
Теперь ведет тропа земная,
Он к Марсу путь найдет вот-вот...
Найдет ли счастье там!..

Не знаю.



Склоняясь к трубке телефонной,
Шептал он:

— Милая, люблю!..

Часами ворковал влюбленно,
Сердился, точно во хмелю...

Лицо все чувства излучало.
А трубка между тем... молчала.

Он словно повторял ответы,
Как будто ревностью палим...
А «милый» и на свете нету:
Все им придумано самим.

...Быть может, так и мы, поэты,
Порою с жизнью говорим!!



ДАВИД КУГУЛЬТИНОВ. СТИХИ.



Малыш игрушку бросил дорожную,
Которую любил еще вчера:
Неинтересной сделалась игра,
И просит он:

— Купите мне другую!

Нет, это не каприз, не баловство.
Печальным стало личико его.

В его глазах прозрачных беспокойство.
Игрушки прежней понял он устройство,
Все это — не взаправду, не всерьез...
Так на одно познание он возрос.
О, сколько их еще, таких познаний,
Придет к нему, обогащая, раня!..

Сквозь века

1

Археологи нынешним летом
Колесницу нашли со скелетом,
Наконечники бронзовых стрел.

И сказал молодой археолог:
«Бранный путь твой невиданно долог,
Человек мой, хоть сам ты истлел.

Друг за дружку цепляются звенья;
Изменила стрела оперенье,
Колесница несется во мглу.

Может, эру исследуя нашу,
Скажут: «Эх, заварили вы кашу!
И зачем вы пустили стрелу!»

2

С высот сегодняшнего дня
Веков щербатые ступени
Вниз, в глубину, вели меня...
И в жизнях многих поколений,
Как бы во множестве зеркал,
Себя, свой путь я узнавал.

И по ступеням по щербатым
В тот век, где расщепили атом,
Поднялся я в наш трудный век...
...Я видел все, и рад сказать я,
Что находил противоядье
Любому яду

Человек.



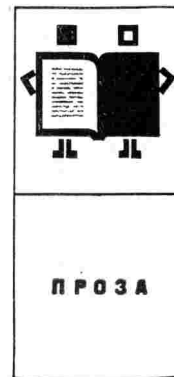
Солнцем напоен досыта воздух,
Солнце — в частых листьях, в пышных гроздьях
Молодой акации расцветшей.
Тащит воду с дальнего колодца
Девочка,

под тяжкой ношей гнется,
Вздрагивают худенькие плечи.

Может, мать ее лежит больная.
Может, нету матери... не знаю...
Только не до солнца ей сейчас!
Да и мне иначе все предстало:
Точно хлеб из желтого металла
Подали голодному, глумясь.

Перевела Юлия НЕЙМАН

Игорь
Минутко



ДВЕНАДЦАТЫЙ ДВОР

ПОВЕСТЬ

Посвящаю памяти Ивана Матвеевича Гуцина, бывшего председателя колхоза «Гигант», Ефремовского района, Тульской области, который для меня был и остается идеалом Человека и коммуниста.

Автор.

Рисунки Б. Жутовского.

Я следователь. Юрист третьего класса. Военное звание — лейтенант. В нашей районной прокуратуре говорят, что у меня перспективное будущее. Может быть. Мне двадцать пять лет.

Втроем год я в этом районном городке. Имя ему — Ефанов. Старинный купеческий город, и я уже люблю его. За тишину, за церкви с потемневшими куполами, за улочки с булыжными мостовыми, где под высокими заборами осенью вырастают охапки рыжих крапчатых опят, за сирень, от которой в пору цветения все белое и фиолетовое. Центральная площадь в Ефанове называется Красной. Она с купеческими лабазами, с лошадами, которых тут полным-полно по воскресеньям. Низкорослые, лохматенькие, они пахнут крепким потом, похрустывают сеном — и представляется далекое дремучее прошлое: кочевья, пожары, набатный звон колоколов; оно передано нам предками по наследству и, наверное, живет в крови. Много в Ефанове голубей и сухих старух с суровыми, как иконы, лицами. Есть у нас (вот, пожалуйста, уже «у нас») река Тихая Веря, мелкая, песчаное дно видно, с пескарями. За ее правым берегом начинается новый город — пятиэтажные дома, широкие улицы, неон по вечерам. Вполне все современно — двадцатый век. Здесь же три завода, построенные после войны, — всегда движение, грохот металла, вечные дымы.

Главная улица Ефанова — проспект Революции.

1

(«Где встретимся?» «На проспекте, у булочной».) Славный проспект: шумный, говорливый, со старыми густыми липами; по вечерам светятся витрины маленьких магазинчиков (они остались от купцов).

Да, я уже привык и к городу и к проспекту. Иду утром на работу — навстречу много знакомых. («Привет!» «Привет. Киевское «Динамо»-то! А?» «Не говори. Полная неожиданность».) Я еще холостой. Квартиры у меня нет. Обещают. Живу в общежитии молодых специалистов. В комнате нас двое — я и тренер по боксу Виталий Боков. Серьезный парень, молчаливый, непьющий — утром кефир, вечером кефир. Долбит английский язык. С таким жить можно.

Есть у меня девушка, Люся. Лю. Так я называю ее, когда нам бывает хорошо. Не знаю, что у нас с ней получится. Уж больно она деловая. («Дадут квартиру, и сначала купим тахту. А потом телевизор. Петя, ты знаешь, как я о тебе буду заботиться? И представить не можешь».) Да, меня зовут Петром. Петр Морев. Люся светленькая, с редкими зубками. Глаза у нее желтые. Или рыжие? Никогда не видел таких глаз. Она очень быстрая, и когда приходит ко мне, все начинает мелькать кругом, звенеть. Это она убирает нашу комнату. Я подозреваю, что Виталий влюблен в Люсю. Стоит ей прийти — краснеет, ходит по комнате, на все налетает. А Люське это нравится.

Живет она с родителями на окраине. Тот район почему-то называется Хутора. У них свой дом, сад. Я люблю бывать в Хуторах. Там тихо, деревянные гнилые заборы, под окнами цветут мальвы, а осенью, когда уже прохладно, голо и мокро, пахнет

антоновкой. Отец у Люси старший мастер на заводе. Тихон Петрович. Степенный такой, в роговых очках, любит возиться в саду. Мать, Татьяна Ивановна, занимается хозяйством. Ее страсть — меня закармливать. И оба внимательно смотрят, как я ем. А Люся хихикает. В доме у них скрипят половицы, и окна выходят в сад — кусты сирени, старые яблони, черная, жирная земля. Как в деревне. Мне у них нравится. Спокойно, тихо. Не хочется никуда спешить. И старинные часы тикают медленно-медленно. Они в деревянном футляре в форме терема.

Люся работает в прокуратуре секретаршей.

На моем счету несколько дел. Провел я их удачно.

— Крупный ты корабль, — говорит мой шеф, прокурор района Николай Борисович Змейкин. — Дальнее у тебя будет плавание.

Впрочем, не говорит, а говорил. И о нем позже.

Я расскажу об одном деле. Я считаю его для себя принципиальным. Это было мое первое самостоятельное дело.

Но вначале я хочу объяснить, почему стал следователем.

Мы жили в Москве. С восьмого класса я мечтал о деятельности кинорежиссера. Это было серьезное увлечение. Занимался в кружке при Доме пионеров; исполнилось пятнадцать лет, и мама купила кинокамеру — подарок в день рождения. Это был самый прекрасный подарок, какой достался мне в детстве. Вернее, на его последнем пороге. За ним начинался таинственный материк — юность.

Мама умерла, когда я уже был на третьем курсе юридического факультета МГУ. Я перешел в общежитие на Стромьнку, а наши две комнаты заняли сестра Лида с мужем. К тому времени у них родился сын Сашка, горластый и капризный увальень.

Об отце. Мне странно называть его отцом. Когда я смотрю на фотографию, то вижу своего ровесника — веселый парень в гимнастерке, в пилотке, лихо заломленной на затылок. Он стоит на разрушенной берлинской улице, и за его спиной, далеко в перспективе, Бранденбургские ворота. Он улыбается мне и всему миру — только что кончилась война. Да, он погиб после войны. Какая-то сволочь выстрелила в спину. Из автомата. Там же, в Берлине, шестнадцатого мая тысяча девятьсот сорок пятого года.

...Окна наших комнат выходят в тесный двор с чахлым сквериком. Каждый раз, приезжая в Москву, я смотрю на этот двор, на ящики, сваленные у дверей магазина, на детские коляски в сквере; я слышу ребячий крик, невнятные шумы улицы, я улавливаю кухонный запах — прямо под нашими окнами черный ход кафе «Заря», я вижу серую стену напротив, — и вспоминается детство, молодая мама, трехколесный велосипед со сломанным рулем...

Ладно. Воспоминания — это целая страна. Наверно, путешествия в эту страну нужно оставлять для старости. Если она будет.

Я мечтал быть кинорежиссером и уже снял свой первый фильм — на узкую пленку, одну часть — осенний день в Звенигороде. Хвалили. На смотре получил вторую премию. Я окончил школу, работал токарем на заводе «Серп и молот»: нужен был стаж для ВГИКа.

В том году я узнал о судьбе двух моих дядей, братьев мамы. Все предыдущие годы о них молчали в нашей семье. Мне было только известно, что они есть, а где живут, что делают, — об этом нельзя было спрашивать. И я не спрашивал. И вот я узнал, что их больше нет. Они погибли где-то на Севере. Теперь посмертно реабилитированы.

Это было первое, самое сильное, самое страшное потрясение в моей жизни. Правда... Как тяжело, как мучительно порой узнавать ее! Я много думал о своих дядях, настоящих коммунистах, о тридцать седьмом годе. «Почему? Почему?» — спрашивал я себя и не находил ответа. Наверно, тогда я по-настоящему стал взрослым. Я решил поступить на юридический факультет. «Буду служить истине», — сказал я себе. Ведь мое поколение наследует страну. Мы должны сделать все, чтобы такое не повторилось.

Я поступил на юридический факультет университета. Пять студенческих лет... Пять лет — большой срок.

И в них вместились очень многое — бурные, сложные годы, наполненные многими событиями. Они у всех на памяти.

Я стал следователем и получил назначение в этот старинный городок. Совсем близко от Москвы — двести километров.

Я ехал на место своей новой работы с дипломом юриста, с жадной немедленной действия, с порядочным зарядом скепсиса, вообще характерного для моего поколения, со многими еще не разрешенными сомнениями, но с твердым намерением служить истине и добру.

Свое первое дело я получил через семь месяцев. Наверно, мне повезло. Но прежде чем перейти к нему, я хочу (правда, не знаю, зачем мне это нужно, — просто чувствую потребность) рассказать об одном человеке, который занял странное место в моей жизни. А именно речь пойдет о Николае Борисовиче Змейкине.

2

Николай Борисович — прокурор района, советник юстиции, подполковник. Шеф.

Он был первым человеком, который встретил меня здесь.

Помню просторный длинный кабинет с двумя окнами в глубину. Он мне показался темным и неуютным. Со стены колко, пристально смотрит Дзержинский.

Навстречу шел полный человек с протянутой рукой:

— Товарищ Морев? Петр Александрович? Мне о вас звонили из области. Ждем. — Крепкое, теплое рукопожатие. Дружеское.

Он ведет меня к столу, обняв за плечи, усаживает в глубокое кресло.

— Ну, давайте знакомиться. — Он называет себя.

Я кладу на стол документы. Николай Борисович внимательно листает их.

— Так, так... — задумчиво говорит он.

Массивный череп глыбой, большие залысины, серые какие-то, не знаю... медленные, что ли, глаза. Добрые. Нет. Сочувствующие. Широкие, чисто выбритые скулы. Черные волосы с сильной проседью гладко зачесаны назад. Сутулится за столом, морщит лоб. Николай Борисович безукоризненно одет: серый отглаженный костюм, белая рубашка, серый, с блестящей галстук, чистые манжеты торчат из рукавов, запонки с темно-малиновым камнем. Руки... Очень подвижные, нервные руки с короткими пальцами, поросшими рыжим пушком. На правой — потускневшая татуировка: «Коля. 1905».

— Что же, Петр Александрович, будем работать вместе. — Отечески, сочувственно смотрит на ме-

ня.—Разумеется, жаждете действовать, служить справедливости. Так?

— Конечно.

— Понимаю.— Он устало улыбается.— У меня вот какое предложение. В городе вы всегда успеете. Много интересных дел в деревне. Вы знакомы с нашей современной деревней?

— Не очень.

— Познакомьтесь. Там еще не затухает борьба на социальной почве. Отголоски классовых боев.— На миг в его глазах блеснул лихорадочный огонек и мгновенно погас.— Чувство собственности. Как правило, оно основа всех преступлений в деревне. Помните, что говорил о крестьянском сознании Ленин?— Он встает из-за стола и начинает тяжело ходить по кабинету.— В городе что? На почве алко-голя семейные драмы, мелкое воровство, хулиганство. А там! Там настоящее.— Он волнуется.— Я тебе дам несколько дел.— Он подходит к столу, роется в ящиках, достает одну за другой аккуратные папки.— Вот! Вот! Поджог в Задворье. Убийство в Ходино. Какие дела!— На лбу Николая Борисовича выступили мелкие капли пота.— Сколько потребовалось нервов!— Он посмотрел на меня и вдруг как-то увял, обмяк, недовольно поморщился.— В общем, берите, Петр Александрович, эти дела. Начнем с небольшой теории. Согласны?

— Согласен.

— На стажировку вам год. Возможно, сократим. По обстановке.

Он заговорил о моих будущих коллегах, о том, что квартиры сразу, к сожалению, не будет, пока есть место в общежитии. Расспрашивал о родственниках, шутил, рассказал анекдот из судейской практики, а я чувствовал, что он недоволен собой — будто допустил какую-то грубую ошибку.

С нашей первой встречи этот человек вызвал у меня острое, даже болезненное любопытство. Я мучительно захотел все узнать о нем.

Странно. Николай Борисович тоже потянулся ко мне, я ему стал очень нужен, я его чем-то заинтересовал. Или встревожил?

После того, как он провел меня по комнатам прокуратуры, познакомил с сослуживцами, мы опять вернулись в его кабинет.

— А вы знаете,— дружески, интимно сказал он,— вам повезло.

— В каком смысле?

И я увидел, что он хотел сказать одно и вдруг передумал.

— По слухам, в этом доме бывал Иван Бунин,— сказал Николай Борисович.— Ну, писатель, вы знаете. Особняк принадлежал вроде кому-то из его родственников. Может быть, в этот кабинет заходил он, Бунин то есть. Писал, мечтал.— Голос его был мягким, усталым.— Приятно в таких апартаментах начинать свой путь. А?

— Да,— сказал я.— Вы, Николай Борисович, тоже начинали здесь?

Его лицо потемнело.

— Нет. Я начинал в Москве. Вот что, Петя... Можно так, без отчества? В нашем городе вы пока одинокий молодой человек. Пока!— Он понимающе улыбнулся.— Приходите вечером ко мне. Попьем чаю, потолкуем. Придете?— Правда, еле заметное, но было — было! — что-то заискивающее в его голосе.

— Приду,— сказал я.

Первые месяцы своей жизни в Ефанове я был частым гостем в доме Николая Борисовича Змейкина.

Он жил с моложавой, выхоленной, молчаливой же-

ной в двухкомнатной квартире с окнами и балконом в тихий больничный сквер. Иногда мы выходили покурить на балкон. Под густыми липами медленно прогуливались больные в пижамах.

— Ишь, бродят, полосатики,— говорил задумчиво Николай Борисович.

Разговоры у нас бывали самые разные. И все-таки господствовала одна тема. Вернее, как я теперь понимаю, одна тенденция.

Часто Николай Борисович говорил:

— Старееет гвардия. Скоро в архив нас.— Смотрел на меня внимательно, даже пристально.— Побести, марши. А зачем мне почести, Петя? Опыт! Не скрываю: редчайший опыт для юриста. Я не имею права унести его с собой. Он принадлежит обществу.

Все это было понятно и не вызывало возражений.

«Хочешь поделиться со мной опытом — пожалуйста! Ничего не имею против. Даже интересно»,— думал я.

А Николай Борисович развивал свои мысли дальше:

— И всегда, всегда надо помнить, Петя: интересы общества для юриста всегда на первом месте. Сначала интересы общества, потом — индивидуума.

Во мне начинал расти протест. Я не мог определить, против чего, и постепенно раздражался.

Это мгновенно чувствовал Николай Борисович и дружески спрашивал:

— Ты со мной не согласен, Петя?

У меня не было слов для возражений; я пожимал плечами и видел удовлетворение на его лице.

— И еще.— Николай Борисович начинал прохаживаться по комнате.— Надо всегда помнить: у нас жестокая профессия. Никаких эмоций. Логика, факты.— Он, кажется, подыскивал слова, и я ловил его изучающий взгляд.— Но всегда и в логике и в фактах должна быть поправка...— Он медлил.

— Какая поправка? — спрашивал я.

— Поправка на время, в котором мы живем. Ты со мной не согласен?

Черт! Я был не согласен, но никак не мог понять, в чем.

И он приходил мне на помощь.

— Скажи, Петя... Вот ты разбираешь сложное дело, ищешь истину. Эта истина объективна?

— Всегда объективна! — выпаливал я.

— Никогда не объективна,— спокойно говорил Николай Борисович.— Она всегда социальна. Мы с тобой служим социализму, служим классу...

«Мы с тобой...» — думал я.

— ...и только с его позиций подходим к любому делу. И добиваемся решения этого дела в его интересах.

Наверно, что-то протестующее возникало у меня на лице.

— Конечно,— быстро добавлял Николай Борисович,— оставаясь верными и фактам и логике. Но никогда... Никогда,— повышал он голос,— мы не должны забывать, что юриспруденция не объективная наука, а социальная, классовая.

Я чувствовал: он балансирует на какой-то грани, за которой для меня многое станет ясным.

Лучше меня это чувствовал сам Николай Борисович.

Он подходил к столику, наливал в высокие рюмки коньяк.

— Итак, в деле Зипатова мы остановились на показаниях его любовницы...— Он поднимал рюмку; я видел, как крепко его сильные пальцы с рыжими волосками сжимают эту рюмку.— Выпьем, и скажи мне: почему, по-твоему, она раскололась на первом же допросе?



А я весь был полон каким-то неосозанным, абстрактным протестом. Он не находил никакого конкретного выхода.

Впрочем, постепенно все-таки нашел. У меня появилась, наверно, дурная привычка дразнить Николая Борисовича, когда разговор по какому-нибудь поводу касался его жизни. И мой хладнокровный шеф быстро выходил из равновесия. В таких случаях я чувствовал его какую-то беззащитность, и она странным образом доставляла мне удовольствие.

Стажировка моя проходила успешно, уже через семь месяцев мне присвоили чин юриста третьего класса — было много работы. Теперь я имел право на самостоятельное ведение дел.

Накануне того дня, ставшего решающим в моей жизни, мы сидели у Николая Борисовича, пили черный кофе из маленьких фарфоровых чашечек. Я заметил у него эту привычку — тяготение ко всему

модному: современная безликая мебель, записи ультрасовременной музыки, черный кофе для гостей, польские иллюстрированные журналы.

За открытыми окнами был темный августовский вечер. В липах шумел дождь, из больничного сквера резко пахло мокрыми цветами. Светил торшер над низким столиком, мы пили кофе. Напротив сидела жена Николая Борисовича, Таисия Яковлевна, бледная, в глухом темном платье, смотрела на меня настороженными глазами.

Во мне клокотала этакая развязность.

— Вот, Николай Борисович, дело о поджоге в За-дворье, — продолжаю я, откидываясь на спинку кресла. — Откровенно говоря, я не совсем понимаю, зачем вы мне даёте читать все эти дела. Они у вас, простите, близнецы какие-то. Пять дел — и везде преступления по одним мотивам: заела человека собственность, и пожалуйста — готов тебе вор, убий-

ца, клеветник. А не кажется ли вам, Николай Борисович, что вы, простите, по шаблону работаете: все преступления — под одну мотивировку!

— Не кажется. — Николай Борисович говорит медленно и смотрит мне в глаза, а в его глазах настороженность. — Я тебе, Петя, для того и даю изучать эти дела, чтобы ты понял: коль скоро человек превращается в собственника, он уже потенциальный враг нашего общества. И в своей практике ты с этим неизбежно столкнешься. — Он ритмично барабанит пальцами по столу.

Когда Николай Борисович волнуется, он говорит очень правильно, как по бумажке читает.

«Ага!» — злорадно думаю я и перехожу в наступление:

— Пойдите, пойдите, Николай Борисович! Вот вы говорите: собственность, собственность! Губит человека. Но вот вас-то собственность не погубила!

Он молчит некоторое время.

У Таисии Яковлевны порозовели щеки.

Он отпивает кофе, улыбается.

— Ты о чем, Петя? — В его голосе дальняя растерянность.

Я торжествую. И в то же время из глубины души поднимается гадливость к себе.

— Как о чем! Разве у вас нет собственности? Квартирка обставлена. Книжки, холодильник. А «Волга»? Что же вы не стали преступником, а?

Таисия Яковлевна подливает в чашки кофе, и рука ее слегка дрожит.

— Как ты еще молод, Петя, — снисходительно говорит Николай Борисович. Похоже, он переходит в наступление. — Непростительно молод... Ведь о чем идет речь? Я толкую тебе о тех случаях, когда собственность полностью поглощает человека, когда он становится рабом вещей и не видит за ними белого света.

— Одну минуточку! — Я окончательно наглюю. — Значит, вы не раб вещей?

Николай Борисович чувствует подвох, но все-таки говорит спокойно:

— Нет, не раб.

— Ну, тогда... Подарите мне свою «Волгу»! — Я широко, хамски улыбаюсь.

Таисия Яковлевна встает и молча выходит из комнаты. Николай Борисович зорко смотрит на меня, потом выдвигает ящик письменного стола.

— Вот ключ от гаража, вот от «Волги».

Я беру ключи, подбрасываю их, кладу рядом со своей чашечкой кофе. Мы оба смеемся, правда, несколько натянуто.

Так же неловко прощаемся. Таисия Яковлевна не выходит в переднюю.

— Скоро у тебя, Петя, будет первое дело, — говорит мне на прощание Николай Борисович. — Профессиональное чутье. — Он дружески жмет мне руку.

Город был в дожде, расплывались в желтые пятна фонари вдоль улиц, пахло мокрыми деревьями. Я шагнул по тонким летним лужам, кутаясь в плащ, на душе было тревожно и неуютно, я смутно понимал, что наши разговоры с Николаем Борисовичем — разведка чего-то главного, что предстоит.



На другой день, утром, как только я вошел в комнату следователей, Люся, доверительно тронув меня за рукав, взволнованно сказала:

— Петя! Хотели уж за тобой ехать. Телефон общения не отвечает. К шефу. Скорее.

В кабинете Николая Борисовича были медицинский эксперт Мария Никитична Дубова (старая худая жен-

щина с одышкой, она работала в больнице, а у нас — по совместительству) и капитан Фролов, работник отдела уголовного розыска при районной милиции, исполнявший обычно обязанности эксперта-криминалиста (его имени и отчества я не знал; его так все и звали — Фролов); он был всегда спокойным, казался сонным.

— Итак, оперативная группа в сборе, — сказал Николай Борисович. — Следствие поручается вам, товарищ Морев. Два милиционера, тамошние участковые, на месте преступления. — Он зорко смотрел на меня. — Убийство в деревне Воронка. Шестнадцать километров от города. Быстро оформляйте документы — и в путь.

У меня жаром облилось сердце.

В дверях Николай Борисович протянул мне руку. — Успеха, Петя! От успеха зависит твое будущее. — Он волновался. За меня? — Если что — звони. Приеду сам.

— Спасибо, — сказал я.

Когда я проходил через нашу комнату, мне сказали в спину:

— Фаворита — на легкое дельце. Там и концов искать не надо.

Я знаю: это сказал Воеводин, тоже молодой следователь, на год раньше меня попал сюда. По-моему, циник и бездарь. Ладно. Черт с ним. Меня трепала лихорадка нетерпения.



Утро было пасмурное. Дождь перестал, но все было мокро, свежо, ярко — крыши домов, деревья вдоль шоссе, то желтые, то зеленые поля; по обочинам ходили грачи, и казалось, что они покрыты лаком.

Под наш «газик» летела влажная лента асфальта, посвистывал ветер. В зеркальце я видел будничное, даже скучное лицо нашего шофера Федя. Все молчали. Фролов дремал, привалившись небритой щекой к дверце. А мне хотелось говорить, обсуждать предстоящую работу. Но я тоже молчал: доставляло удовольствие казаться бывалым.

«Передо мной две задачи, — думал я. — Два вопроса: кто убил? (Это главное.) И по каким мотивам?»

— Мария Никитична, — спросил Федя, — мы сразу назад?

— Очевидно, — сказала Мария Никитична, редко дыша. — Заберем труп на экспертизу и назад. — Она вопросительно посмотрела на меня.

Я издал звук, который можно было истолковать и как согласие («да, на экспертизу») и как сомнение («на месте посмотрим»).

Фролов открыл глаза, хотел что-то сказать, но сон сморил его.

— У меня Даша в больнице, — сказал Федя. — Андрюшка у соседки.

«Преступник, конечно, скрылся, — думал я. — Может быть, уже далеко. Летит на самолете...»

И вдруг я почувствовал страх. Убит человек. Есть убийца. Мне поручено следствие. Я должен... Допросы... С чего я начну? И как там все?

«Спокойно, — сказал я себе. — Что я, трупов не видел, что ли?» Была практика. Были морги. Хотя бы в Бабушкине... Я вспомнил, представил. Нет, тогда не было страшно. Любопытно. И на тот труп девушки мы смотрели... Да, нас, практикантов, было много, это тоже, наверно, важно. Мы смотрели на нее, как на экспонат... Все, что с ней случилось, было известно. Или почти известно. И молодой симпатич-

ный следователь в модном шершавом свитере рассказывал нам, любуясь своим хладнокровием, как все было. Похоже на лекцию с наглядными пособиями. А сейчас... Что-то добавлялось. Я еще не мог понять, что, но волнение, смешанное со страхом, не отпускало меня. Наоборот, это чувство росло.

Свернули на мокрый проселок. «Газик» начало бросать по ухабам. Проснулся Фролов, сказал:

— Вчера по телевизору спектакль видели? Вот дрянь-то.

Впереди была деревня — гряда ветел на околице, серые избы, в стороне — длинные коровники под белым шифером; в центре — церковь с дырявыми куполами.

— Воронка, — сказал Федя.

У меня вспотели ладони.

Перед самой деревней текла узкая речушка, вся в лозьях. Прогрел под «газиком» деревянный мосток; с него сердито поплухали в воду утки, поплыли, крутя шеями. Пожилая женщина полоскала белье; я запомнил ее красные узловатые руки. Федя притормозил, открыл дверцу.

— Где? — спросил он.

— Вон церквушку обогни, — сказала женщина. — Там заулочек по речке идет. Увидишь.

Повернули за разрушенную церковь и в глубине деревенской улицы увидели толпу. Постепенно нарастая, в «газик» стал проникать невнятный рокот голосов. И, когда мы подъезжали, я услышал высокий женский крик:

— Ми-и-ша-а! Родненький мо-о-ой!..

До этого все было несколько абстрактно в моем сознании: убитый, убийца, надо допросить свидетелей. Женский крик придал всему реальность — мы въезжали в людскую беду, в трагедию. Вот в чем дело. Теперь я понял. Там, в Бабушкине, убитая девушка была оторвана от жизни, из которой ее вырвала смерть. Мы не знали, не видели, как на ее гибель реагировали родные, друзья. А здесь я понял вдруг, что это самое тяжелое — не сам убитый человек (ему уже ничем не поможешь), а то, что окружает его, — родные, односельчане. Жизнь. Вот в чем дело — жизнь. Там была практика, а здесь — жизнь.

Об этом я подумал, вернее, понял, почувствовал это мгновенно. Во мне как сверкнуло.

«Газик» остановился. Мы вышли. Под ногами была мокрая трава; пронзительно пахло летней деревней, горлалили петухи.

Толпа молча смотрела на нас. Женщины с недоуменными лицами; босые ребятишки держались за их подола, некоторые плакали. Старик с длинным лицом и клочковатой сивой бородой с любопытством изучал меня; глаза его были ехидными. Кучкой стояли парни, курили. Несколько старух в длинных черных юбках с надеждой смотрели на нас. Крупный мужчина в тельняшке и спортивных брюках облокотился на руль велосипеда и часто дышал: видно, только приехал; тельняшка в ложбинке между лопаток потемнела от пота. Пацаны лет двенадцати, босые, загорелые, в рваных штанах, с пристрастием разглядывали наш «газик».

Толпа облепила жидкий плетень, а за ее спинами ничего не было видно.

К нам, растолкав людей, вышел грузный мужчина в мятом вельветовом пиджаке, в галифе и сапогах.

— Гуцин, — сказал он, — Иван Матвеевич. Председатель колхоза. — У него было усталое, больное лицо, очень растерянное.

— Из уголовного розыска, — сказал Фролов, показывая председателю удостоверение и одновременно раскрывая свой фотоаппарат.

— Идемте. Там, — махнул рукой Гуцин в сторону речки.

Перед нами расступились.

Я увидел три яблони, обсыпанные яблоками. Под одной из них, ближней к плетню, лежал убитый человек. В такой позе мог лежать только мертвый: одна нога прижата к груди, другая неестественно откинута в сторону; лежал он на животе, голова отвалилась набок, и из уха — так неожиданно жутко — торчала травинка. Лица я не видел. Но ясно было, что это молодой, очень сильный парень — мускулистая спина вздулась горбом. Похоже было, он пытался подняться, напрягся, да так и застыл.

Труп охраняли два милиционера. Один мне показался совсем мальчишкой, с испуганным круглым лицом; другой был пожилой, усталый и даже скучный.

Чуть поодаль стояли две женщины — молодая, растерянная, с безумными глазами, и старая, опущая от слез, с какой-то тупой покорностью на лице. Обе стояли неподвижно, не мигая, смотрели на убитого.

Все это я увидел в несколько мгновений. И вдруг поймал себя на том, что все забыл — не знаю, с чего начать. Я был подавлен, угнетен этой смертью. И не мог смотреть на двух окаменевших женщин — я понимал, что произошло нелепое, противоестественное и уже ничего нельзя поправить.

Видно, Фролов догадался, как мне трудно. Он сильно сжал мое плечо, сказал:

— Приступим. — И я увидел его умные, зоркие, всепонимающие глаза. Сонливости в нем как не бывало.

Оказывается, на какое-то время был отключен мой слух. Я будто снова услышал гул толпы, всхлипывания, бодрые голоса петухов; где-то тархтел трактор.

Фролов сделал несколько снимков трупа. Работал он умело, быстро. Лицо его было бесстрастным.

Мария Никитична нагнулась над убитым.

— Две пулевые раны, — повернулась она ко мне. — Видите?

— Да, — сказал я сухими губами.

На спине убитого, на сиреневой рубашке, было два маленьких отверстия. Их обвили темные кровавые круги с рваными краями.

— Одна рана против сердца, — продолжала Мария Никитична. — Смерть, очевидно, наступила мгновенно. Впрочем, покажет вскрытие. Стреляли, кажется, из револьвера.

— Из револьвера? — вырвалось у меня.

Толпа за плетнем слушала нас, замерев; даже дети не плакали.

— Утверждать не берусь, — сказала Мария Никитична. — До вскрытия. Вам, Петр Александрович, труп не нужен?

— Нет! — поспешно сказал я и подумал: «Дикий вопрос: нужен или не нужен труп».

В спину мне ударили слова:

— И-и! Стрекулист какой-то. А она — Петр Александрович...

— Составим протокол осмотра трупа, — сказал я Фролову, подавив смущение и неловкость. — Вы напишете?

— Давайте, — буднично сказал Фролов.

Все у него получалось четко, быстро и чуть небрежно. Я невольно вспомнил фильмы о бесстрашных, хладнокровных сыщиках в плащах с поднятыми воротниками. Оказывается, довольно точно. Правда, неизвестно, что первично, а что вторично.

Потом он сказал тихо, дружественно:

— Петр Александрович, постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы.

— Да, да...

Я писал постановление, и в тишине слышно было, как скрипит перо по бумаге.

Взяв постановление, Фролов сказал милиционерам:

— Теперь давайте грузить его.

Милиционеры понесли убитого парня к «газику». Пожилой взял его под мышки, молодой за ноги. Они тащили труп вниз животом. Бессильно мотались голова и руки. Изо рта тянулась липкая розовая слюна. Теперь я смотрел на лицо убитого, но ничего не видел: ни носа, ни глаз, ни губ. Только клейкую струйку этой слюны.

Я почувствовал тошноту.

За трупом, спотыкаясь, как слепые, шли те две женщины, молодая и старая. И вдруг старая заголосила страшно, высоко, по-звериному:

— О-о-о! Сы-ы-ночек!.. — И руки взлетели над ее головой. — Сы-ы-ночек!.. Да-а как жа-а...

И тотчас задвигалась толпа, запричитала, заплакали дети.

— Дайте дорогу, граждане, — отчаянно говорил пожилой милиционер. — Ну! Дорогу же дайте! Граждане!

За ними сомкнулась толпа.

Слышно было, как тяжело дышат люди.

— Ну-ка, взяли! — сказал Фролов. — Руку ему заверни.

«Мне бы надо помочь», — подумал я, но не двинулся с места.

Хлопнула дверца «газика».

Подожел Фролов.

— Значит, я на вскрытие и с результатами сразу к вам. А вы тут познергичней. — Он тряхнул сжатым кулаком. И зорко посмотрел на меня. Сказал: — Может, мне с вами остаться? Мария Никитична — опытный эксперт, все сделает без...

— Нет! — резко перебил я. — Поезжайте!

— Спокойно, спокойно. — Он передернул плечами. — Удачи! Постараюсь быть скоро.

Они пошли к машине. Мария Никитична ободряюще улыбнулась мне. Не знаю, чем — внешнего сходства не было, но она напомнила мне маму.

«Газик» уехал.

«Кто-то из них сидит рядом с трупом», — содрогнувшись, подумал я.

Теперь я был один.

Толпа молча смотрела на меня.

4

Когда я вспоминаю первые часы своего первого самостоятельного дела, я снова и снова краснею, мне стыдно: так нелепо, неумело, смешно я себя вел.

...Я стоял, тупо соображая, с чего начать.

Толпа смотрела на меня — ожидающие лица. На них любопытство и насмешка. Я увидел — ярче других — одно молодое лицо: лукавые глаза, пухлые губы, светлые волосы из-под белого платка, повязанного низко на лоб. Она стояла у самого плетня. Пестренская кофта, серая узкая юбка, загорелые сильные ноги. Она смотрела на меня... Да, она смотрела ласково. И, кажется, сочувствовала мне.

«Может быть, я увижу ее вечером», — неожиданно подумал я, и мне стало легче.

Я подошел к тому месту, где лежал труп. Так... Головой сюда. Значит, стреляли с этой стороны.

В спину. Может быть, он бежал. Я сделал несколько шагов к плетню огорода, за которым буйно росла картошка. Трава была действительно натоптана. Где-то должны быть гильзы. Я стал шарить в траве, чувствуя на себе взгляды толпы.

И тут ко мне подошел, пожилой милиционер, тронул за плечо.

— Сынок, — сказал он. — Так не отсюда. Вот идем-ка. — И он отвел меня к другому плетню. (Здесь я обратил внимание на то, что три яблони росли на маленькой лужайке между двумя огородами, от улицы ее отгораживал плетень из березовых жердей, за которым собралась толпа.) — Он здесь стоял. Я и гильзы подобрал. Нате. — У милиционера был величественный и покровительственный вид.

В толпе откровенно засмеялись.

Гильзы были потемневшие с краев от копоти. Я завернул их в бумажку и спрятал в карман куртки.

«Стоял здесь... Убийца...» — подумал я, чувствуя холодок в груди. — Надо что-то немедленно предпринять. Да, свидетели».

— Товарищи, — сказал я, и толпа замерла. — Товарищи, кто хоть что-то знает об убийстве, я прошу дать показания. С кого начнем?

На всех лицах появился страх. Мгновенно толпа отступила от плетня и стала быстро расходиться. Люди спешили. Темные старухи даже подхватили юбки, показывая белые костлявые ноги в голубых вздувшихся венах.

Я ничего не понимал. Я заметался среди толпы:

— Товарищи! Товарищи... В чем дело?

Я хватал людей за локти. Кто-то грубо оттолкнул меня.

Толпа разошлась. Остались милиционеры, председатель колхоза и две женщины, молодая и старая — я уже понял: жена убитого и его мать.

— Видали? — сказал я председателю, понимая нелепость своего положения. — Ну и народ у вас. Разве так мы выявим убийцу?

И вдруг страшно, иступленно закричала молодая женщина:

— Чего выявлять!.. Сыч убил, окаанный! Будь ты проклят веками, ирод! — И она погрозила кулаком шиферной крыше, которая виднелась за густым садом. — Будь ты проклят... — Она не могла кричать больше, уткнулась в плечо пожилой, зарыдала.

Я увидел, как пожилая судорожно гладит ее по волосам, и почувствовал, что комок подступает к горлу.

— Нина, жена убитого, — сказал мне тихо председатель.

— А кто такой Сыч? — спросил я.

— Морковин. Григорий Иванович Морковин. Сыч — это кличка у него. Народ окрестил. Вот соседи они, Брынины и Морковины. У Брыниных одиннадцатый двор по улице, у Морковиных — двенадцатый. А эти яблони на колхозной земле, между ними. Лучше бы я их вырубил. — Председатель сжал широкой рукой скулы. — Миша-то у меня лучшим комбайнером был...

Сильнее запрыгали плечи Нины, она шептала в плечо свекрови:

— Сгубил мою жизнь... Как я теперь с двумя ребятишками... Без Мишеньки...

— Но почему вы думаете, что вашего мужа убил именно этот... Сыч? — спросил я.

Она посмотрела на меня с удивлением. И здесь я увидел, что эта женщина поразительно красива: огромные влажные глаза под черными, сведенными углом бровями, широкий рот, ослепительные зубы, гибкая, статная фигура, густые, тоже черные волосы, и то, что они были спутаны, рассыпаны по плечам,

придавало ей что-то дикое, лесное; она была похожа на молодого сильного зверя, попавшего в клетку. И даже внезапное горе ничего не могло сделать с ее молодостью и красотой.

Да, она смотрела на меня с удивлением.

— Кто же еще мог убить? — сухо, отрывисто сказала она. — Он давно грозил. А сегодня утром на нас с вилами кинулся. «Запорою!» — кричит.

— Расскажите, пожалуйста, как это было? — спросил я и поймал осуждающий взгляд председателя.

Что-то дрогнуло в лице Нины, еще темнее стали глаза.

— Ничего я не буду рассказывать! — Голос был истерическим. — Отстаньте вы все от меня! — И она побежала к своей избе, тоже под шифером, по другой сторону от лужайки с яблонями.

Тяжело пошла за ней свекровь, безмолвная и страшная в этом своем безмолвии; ноги она волочила по земле.

— Положеньице, — сказал я председателю. Никогда мне не было так плохо.

— У нас в колхозе, кроме Морковина, убить никому, — сказал Гущин. — Действительно, они давно враждовали. Михаил и Сыч. Вот что. Простите, не знаю, как вас...

— Морев. Морев Петр... Александрович. Следователь ефановской прокуратуры.

— Вот что, Петя. Можно, я так, попросту? Жатва у меня стоит. Я отлучусь на полчаса. Ну, на час. Распожусь только, людей расставлю. Приеду, расскажу все, что знаю.

— А где этот... Морковин? — спросил я.

— Да у себя дома. Куда он денется? — Гущин зло улынулся. — Не уйдет со своего двора.

«Что я буду делать целый час?» — подумал я и спросил:

— А кто последним видел убитого?

— Верно! — обрадованно сказал председатель; похоже, ему было неловко оставлять меня в бездействии. — Иван Грунев. Жарок по прозвищу. Напарником он у Михаила на комбайне. С зорьки вместе работали. Я вам его пришлю. А милиционеров забери с собой. С утра здесь. Покормить ребят надо. Оба они из других деревень. Может, и вы проголодались?

— Нет, нет, спасибо.

Гущин и милиционеры ушли.

Было полдвенадцатого. Небо стало выше, сквозь туманную пелену просвечивало солнце. Парило. Пахло сеном. Только теперь я увидел: поодаль от яблонь стоял аккуратный стожок сена.

Я огляделся вокруг. Три яблони между враждующими дворами. За огородами поблескивала река. Слышался стук топора. Сонно, мирно. Что произошло здесь рано утром?

Я посмотрел на крышу Морковиных. Там убийца? Но разве это логично, чтобы он никуда не ушел, не скрылся? А может быть, уже скрылся? Что-то не поддающееся моему пониманию было во всей этой ситуации. Час времени. А убийца на свободе. Если, конечно, Морковин убийца.

«Начнем», — сказал я себе и пошел к избе, что виднелась за садом.

есть свидетели, которые видели сам акт убийства... Акт», — выругал я себя.

Я подходил к старой избе с маленькими, слепыми окошками под шиферной, видно, сделанной недавно крышей.

В окне мелькнуло чье-то белое лицо. Я постучал. В избе было тихо.

— Войдите! — сказал мужской голос.

В сених было темно, пахло куриным пометом; в углу белели гуси и недовольно гоготали. Из-под ног метнулся рыжий кот и исчез в ослепительном проеме двери.

Глаза привыкли, я увидел дверь.

В комнате было накурено. Первое, что я увидел, была большая белая печь, задернутая ситцевой шторкой.

Потом стол... Может быть, несколько секунд прошло, прежде чем я сказал: «Здравствуйте!» И за эти несколько секунд я увидел, что стол был праздничный: бутылки с мутной жидкостью, очевидно, самогон, розовое сало, разваренная картошка, огурцы и крепкие соленые помидоры в мисках, в глубокой чугунной сковородке — большие куски жареного румяного гуся, зеленый лук, только что вырванный из грядки, с землей в белых корнях, творог. Еще что-то.

Я прервал трапезу; стаканы налиты, на тарелках снесь.

Еще я увидел бутылку «Айгешата», городскую колбасу, батоны, нарезанные очень толстыми ломтями.

Стол был без скатерти, деревянный, чисто выскобленный ножом.

Эти длинные секунды были наполнены оцепенением. На меня молча смотрели четыре человека: старик (тогда я ничего не увидел на его лице, кроме тяжелых, медленных, бескровных век; они поднимались и опускались, скрывая тусклые, какие-то водянистые, выцветшие глаза. «Действительно, Сыч», — успел подумать я); старая женщина (еще не зная чем, но я отметил, что в чертах лица она повторила старика); молодой мужчина, худой, бледный, с маленькой головкой, в пиджаке и с галстуком (сейчас хочу вспомнить, какого цвета у него была рубашка? Какого цвета галстук? И не могу); четвертой была толстая женщина, очень похожая на жабу, — мне даже показалось, что у нее шевелится зоб (на ее красном лице я отметил страх).

Закрывая дверь, я сказал:

— Здравствуйте! — и потом добавил: — Морев, следователь прокуратуры.

И разом кончилось оцепенение, они задвигались, посмотрели друг на друга. Но молчали.

— Здравствуйте, — еще раз сказал я.

Подобие улыбки (или надежды?) возникло на лице старика, и я увидел, что лицо это изношено, дрябло, в крупных морщинах, голова почти лысая, губ нет — они ввалились в рот.

— Здравствуйте! — сказал старик и посмотрел на старую женщину. — Марья!

Она рукавом проворно вытерла край лавки, сказала:

— Сидайте.

Я сел.

— Радость у меня, — заговорил старик. — Сын вот с невесткой, с Надеждой, в отпуск приехал.

Из-за стола вскочил мужчина, дернулся маленькой головкой (в нем было что-то жалкое), протянул мне руку:

— Василий.

«Черт знает что», — подумал я, пожимая крепкую руку с машинным маслом, въевшимся в поры.

— Петр, — сказал я.

5

От улицы усадьбу отгораживал высокий тесовый забор. Я долго открывал калитку — была какая-то хитрая щеколда.

«Немедленный арест возможен в двух случаях, — думал я, шагая по тропинке через зеленый дворик. — Первое: Морковин признается в убийстве. Второе:

— Может, стаканчик, а? — просительно сказал Василий. — За компанию.

И вокруг меня засуетились: стали пододвигать закуску, самогон забулькал в стакане.

— Нет! — резко сказал я, поднимаясь из-за стола. «Не так, не так», — говорил я себе, но уже не мог остановиться.

— Вы, гражданин Морковин, — заговорил я казенным голосом, — надеюсь, понимаете, почему я у вас?

И все замолчало и замерло. Надежда смотрела на меня с открытым ртом; да, у нее был зоб, и он шевелился.

— Вы, конечно, знаете, что возле вашего сада убил человек, Михаил Брынин?

— Как не знать. Знаем. — И Морковин посмотрел на меня. Наши взгляды встретились. Его глаза были спокойны, отсутствие, что ли, светилось в них; медленно опускались и поднимались тяжелые веки.

— А вам известно, — продолжал я свою любовую атаку, — что подозрение падает на вас?

— Люди натреплют. — Он по-прежнему спокойно смотрел на меня. — Суседи-то у меня... Я знаю.

— Вы постоянно враждовали с Михаилом. Это так? — спросил я.

— То верно.

— Почему?

— А житья мне от него не было, вот почему! — И в голосе Морковина послышалась вдруг лютая злоба. — Проходу мне не давал Мишка!

— Папа, не шумите, — тихо сказал Василий.

— Не давал проходу, — железным голосом сказал я, — и вы его убили?

— Я? Да на кой мне яво убивать? — Морковин улыбнулся, и я увидел у него во рту два желтых зуба. («Сыч! Сыч!» — с ожесточением говорил я про себя.) — Я свое на войнах поубивал, вот что. А он, Мишка, эта точно, сколь раз меня кончить намерялся.

— Подождите! — перебил я его. — А разве не вы сегодня утром на Михаила и его жену с вилами кинулись?

— Я — с вилами? — Теперь встал он, еще крепкий, сутулый, в валенках (помню, я тогда удивился — летом и в валенках). — Брехня. Они, голодранцы, наскажут. — И он погрозил кулаком окошку; кулак был внушительный. — Эта Мишка утром меня за грудки взяла, вот что.

— Расскажите, как все было. — Я сел на лавку.

Вкусно пахло жареным гусем.

Хотелось есть.

Ну, как было-то? Утречком пошел я поглядеть, что там у меня в саду, в огороде. Эта у меня привычка такая, давишняя. Утро тихое, знобко. Солнышко, значить, по-над краем земли плывет. Петухи трубят по деревне. Наперво я в сад. Смотрю, грушовка яблоки пороняла, червь кой-какие начали. Опылить, думаю, надо.

— Поглядел крыжовник, — продолжал Морковин. — Сильный в нынешнем году крыжовник, уж снимать пора. Потом — в огород. Картохи обсматриваю. Хорошо идут. Ишо, так соображаю, один тяжелый дожжок, и уже сухота ей, картохе, нипочем. Иду к трем яблонькам. Они, верно, не на моей земле сидят, на артельной. Тольки я за ыми хожу, без надзору они. И подрежу и опылю, вот что. И то, скажи, зачем добру пропадать? Все одно, пацаны зеленками объедят. Да... Ну, выхожу за калитку, и

тут до меня — смех да шепот, то есть мужиков голос и бабий. Смотрю — по тропке с речки Мишка да Нинка, и полотенец у ей через голое плечо. Он за ей, она от яво. Пымал, цалует. Она вырывается: «Не надо, не надо!» И по щекам нахлестывает. В шутку, конечно. Ну, милуются, молодые. Мое дело — сторона. Выбигают на поляну, к яблоням. «Гляди, Нинок! — это Мишка-то. — Сыч для нас сено накосил». То верно. Полянку я обкосил по второму разу. Стожок поставил. Сено уж провяло, с духом сладостным. Три дни, как скосил. Ну, подбегают к стожку, Мишка яво, бугай здоровый, ногами раскидал, Нинку за плечи и на сено. Мое сено, да ишо — «Сыч». Обидно. Подхожу. Неловко, сами понимаете... Я так мирно: «Миша, шли бы вы домой. Нехорошо. А сено — ничего. Я подберу». Ну, Мишка на ноги, сено отрухает с брюк. «По пятам моим ходишь! — кричит. — Сыч ты безмозглый!» И меня, значить, за грудки. Да как толканет! Я чуть не с ног. А тут Нинка в крик: «Дай яму, Мишенька, дай!» Волосы мокрые по плечам разбросала, глаза сверкают. Ровно ведьма. Мишка — за вилы. Они при стожку были. И намахнулся. «Запору, подлюка!» — кричит. И давай хохотать. У меня в сердце захолонуло. «Убьет», — думаю. И к дому побег. А он мне вслед: «Погоди! Я ишо твое логово спалю!» Вот как оно было-то. На моем сене... А ведь я к яму по-хорошему, с миром.

Пока он говорил, я рассматривал избу. Она разделена на две половины. В первой были мы. Огромная русская печь, длинный стол, лавки, герань на подоконнике. У двери рукомоийник, под ним медный таз с мутной мыльной водой. В глубине, в углу, сундук, обитый тусклым железом, на нем тупл черным мехом вверх. Кажется, все. Жужжали мухи.

Во второй половине я видел только угол кровати с блестящими шариками на спинке, лоскутное одеяло. И у стены стоял сервант, очень современный, совсем пустой. Нет, вроде за стеклом была стопка глиняных мисок. Было как-то... не знаю... стыдно, что ли, смотреть на этот сервант. Или неловко?

Морковин присел к столу, начал наливать самогон в стакан, рука его еле заметно дрожала.

Это была удивительная рука. Не рука — произведение искусства. Символ тяжелой вечной работы: узловатые пальцы с вздутыми на сгибах, короткие темные ногти с ободками грязи, глубокие, резкие морщины — как борозды, ссадины, болячки. Она была похожа на обрубок крепкого старого корня. В ней чувствовались сила и уверенность, в этой руке. И крепость.

«И эта рука убила человека?» — подумал я.

Он выпил. Не стал закусывать. Опустил голову.

Остальные смотрели на меня.

— Да отец муху не прибьет, — сказал Василий. — А вы — человека. Мы все в избе были, когда там... стреляли.

— Да? — сказал я с некоторым сарказмом. — И как же все это выглядело?

Василий шумно вздохнул. Обе женщины теперь смотрели на него. С надеждой. С верой.

— Приехали мы вот с женой утром. Ну, само собой, встреча. Родители свое угощение, мы свои гостинцы. Сидим, выпиваем. Разговоры. Я отца в город зову. Отдохнуть, мол, пора. Квартира у нас большая, парк рядом. Гуляли б с мамой. А батя свое: хозяйство.



— Хозяйства у меня трудная,— вздохнул Морковин.

— Что хозяйство! — взвилась тут Надежда, и зоб ее запрыгал. — Вам отдых нужен. Заслужили. Мы б за вами ухаживали, верно, Вася? А мамочка по дому. — И она обняла Марью толстыми ручищами.

Теперь я заметил, что Марья худая, совсем высохшая, с узкой, впалой грудью и длинными руками. В объятиях Надежды она сжалась, беспомощно моргала и почему-то была похожа на воробья.

Василий хмуро посмотрел на Надежду. Она замолчала, выпустила Марью, насупилась и была жабой теперь да и только.

— Ну, за встречу выпили, — опять заговорил Василий. — Стали с батей о рыбалке толковать. У нас за деревней, повыше, плотинка есть, омуток произошел. Так карпия там развелось — страсть. Надежда с нами просится.

— Я б уху наварила, — сказала обиженно Надежда.

— Вот так сидим, беседуем. И — в самый раз! Выстрел за окном. За ним — второй. Побежали во двор. А под яблонями уж народ шумит. И Мишка застреленный. Прибежал участковый, Захарыч: «Отойди от убитого!» Вернулись в избу. Вот так оно все было. — Василий быстро посмотрел на меня, взгляд его был испытующим. Что-то промелькнуло в этом взгляде. Не знаю... Смятение? Нет. Но я насторожился. — Чтоб отец убил... Надумали. Верно, есть у него охотничье ружье. Так ведь Мишку-то из револьвера.

Меня будто хлыстом ударили.

— А вы откуда знаете, что из револьвера?

Василий не успел ответить. Спокойно сказал Сыч:

— От людей слыхали. Долго ль у нас в деревне новость узнать. Вроде женщина с вами. Говорила. При всем народе.

— Верно, говорила, — сказал я, вспомнив слова Марии Никитичны. — Пока достаточно. — И я вышел.

На дворе был жаркий августовский день. Двадцать минут первого. Небо расчистилось, было высоким, бледным. Палило солнце. Деревня безлюдна. Тихо. Разморенные куры с открытыми клювами купались в пыли под плетнем.

Пахло рекой, крапивой, теплым коровником, детством.

«Нелепо, — думал я. — Противоестественно».

Это же дико: убийца сидит дома, бразничает. Я вспомнил руки Сыча. И он спокоен. Абсолютно спокоен. Все отрицает. Ну, это понятно. Любой убийца, если против него нет улики, все отрицает. А улики нет. И пока нет свидетелей...

Гущин сказал: «Больше убить некому». Ничего не понимаю... Мне становилось скверно. Похоже, начинался тупик. И этот тупик не был логичным. Что-то парадоксальное присутствовало в нем. Вроде не в чем запутаться, а я уже запутался.

Я пошел к трем яблоням.

Стожок сена. Вилы. Этот самый стожок. Эти самые вилы. Сено было мягким, душистым, очень мирным. Деловито гудели пчелы. Стремительные стрижи чертили зигзаги над садом, над полянкой с яблонями, над усадьбой Морковина. Да, двенадцатый двор.

Двенадцатый двор...

Я стоял у стожка сена. От реки ко мне шел парень. Высокий, нескладный, будто весь из углов.

— Здравсте, — сказал он. — Меня Гущин прислал.

Иван я. Грунев. Я вас давно жду.

На его загорелом лице был испуг.

«Чего они меня все боятся?»

— Давайте сядем, — сказал я, и мы сели прямо на траву.

— Теперь меня на суде свидетелем? — спросил Иван; глаза у него были карие, быстрые, и в них светился жар. И впрямь Жарок.

— Надо что-то знать, чтобы быть свидетелем.

— Ничего я не знаю! — быстро сказал он.

— Вы напарник Михаила Брынина на комбайне. Так? — спросил я.

— Был... напарником. — Голос Ивана дрогнул.

— Вы его последний живым видели. Расскажите мне, при каких обстоятельствах вы расстались.

Иван закурил. Он волновался.

— С самого ранку мы косили рожь у даньковских верб. Это рядом, с края поля крыши деревни видать. Поначалу-то погода ничего была — солнце, ветерок поднялся, роса провяла. Два ряда прошли. И враз нахмурилось, тучи нанесли. Задожидло. Мелкий сыпет, ровно из сита. Какая работа? Стали у верб. Мишка злится. Нервный он... был. «Так, — говорит, — можно день прозагорать». А я что? У меня характер ровный. Работа не волк. И как чуял про непогоду — в магазине поллитровку еще с вечера взял. Накинул брезент на вербины ветки — сухота, уют. Я на газетке закуску расположил: лучок там, яички, пресованный творог, хлеб духовитый — из новины моя Дарья спекла. Показываю Мишке на бутылку: «По одной?» А стаканчики всегда при мне. «Давай, — говорит. — Все одно, льет». И точно. Разошелся дождь. Аж вокруг ничего не видать. Выпили, закусуем. Еще выпили. Дождь поутих. Моросит легонько. И в небе посветлело. Только рожь-то мокрая. Солнца ждать надо да ветерку — покуда просохнет. Я и ляпни сдуру: «Сейчас бы яблочка свеженького». А Мишка на ноги: «Пойду с Сычевых нарву». Тверёзый он ангел, а выпьет — дерзкий делается. Ну, я ему: «Иди, иди. Он тебе солью так саданет, месяц на брюхе спать будешь». А он свое: «Пойду. Я ему по-

кажу — «голодранцы»! Упреждал он меня. Нашел, кого пугать». Уж не знаю, к чему он это. Еще сказал: «Домой забегу. Молочка напиться охота». И ушел. Накинул на голову пиджак и ушел. Только спину я его широкую поглядел. В последний раз. Дождь совсем смирный, еле накрапывает. Я, правда, водку допил, прилег. По брезенту капли стучают, рожью мокрой тянет. Задремал. Уж не знаю, сколько спал. Вдруг в сон мой — бах! Выстрел. Потом другой. Я подхватился и в деревню. А так чую: беда. С Мишкой. Уж не помню, как добежал. У яблонь народ гудит, нервность такая кругом. Нинка со свекровью волосы рвут. Протерся я — Мишка... Как кто меня за горло схватил. Как свет померк. Потом пригляделся: Захарыч, участковый наш, народ отгоняет. Листья завялые валяются, яблоки натресены. В самый раз другой участковый подлетел на мотоцикле, из Равенского сельсовета. Молодой.

— А Морковиных не было среди людей? — спросил я.

— Не. Ни старшего, ни сына.

— Значит, из-за яблок, — сказал я.

— Выходит, так. Яблони-то белый налив. А нищи, колючие. Не ставить же на три корня сторожа. Вот Сыч ими и завладал. Сторожил, кобеля привязывал. Это сейчас его нет — отравил кто-то.

— Так вы уверены, что Михаила убил Морковин? — спросил я.

Иван помедлил. Какое-то сомнение отразилось на его лице. Потом сказал:

— Кто же его знает. Так, прикинуть, боле некому.

— Вы, Грунев, местный?

— Даже обязательно. С начатия моих лет в Воронке.

Я хотел спросить у него о причинах вражды Михаила и Сыча, но в это время в переулке засигналил «газик» — приехал председатель колхоза Иван Матвеевич Гущин.

Иван Матвеевич отвез меня к себе, на край деревни.

— Я здесь на квартире, у бабки Матрены, — сказал он. — А дом мой в Первомайском, восемь километров отсюда. Рабочий поселок. Жена там учительницей.

Была тесная горенка с темной иконой в углу. Все старое и ветхое. Только на подоконнике белый новенький телефон. Бабка Матрена, шустрая, сухая, в длинной, чуть не до пола юбке, метала на стол тарелки, ворчала:

— Все простыло. Когда приедут — хошь бы позвонили. Никакого порядку.

— Откуда я тебе позвоню? С поля? И не зуди, бабка Матрена, а то прямо в ад отправишься после смерти, — сказал Иван Матвеевич и подмигнул мне.

Бабка Матрена чуть не выронила крынку с молоком.

— Ишь, старых туды, в ад пхают, а сами не хотят.

И видно было, что у них дружеские, чуть насмешливые отношения и они уважают друг друга.

Мы обедали. Я смотрел, как ест председатель. Ел он медленно, устало, сосредоточенно. Он отдышал. Было в лице у Ивана Матвеевича что-то интеллигентное, городское. И не только в лице — в манерах, в разговоре. Ему, наверно, за пятьдесят. Полный, грузный. А глаза молодые, и в них любопытство, что ли...

... Подавая на стол яичницу, бабка Матрена нагнулась к уху Ивана Матвеевича:

— Может, им,— она взглянула на меня,— самого-ночки? Есть в припасе.

Иван Матвеевич всплеснул руками:

— Опять варила? Ох, бабка Матрена, сдам я тебя в милицию.

— Ну и помрешь без меня,— сказала бабка Матрена.

— Верно, помру.— Он опять подмигнул мне: «вот, мол, старуха отчаянная», и спросил:— Может, выпьете?

Мне не хотелось, и я отказался.

— Не поймешь их, молодых,— с легкой обидой сказала бабка Матрена и вышла.

На дворе послышался ее сердитый голос:

— Теги-теги-теги! Куды вы запропалились, ока-янные?

Где-то далеко откликнулись гуси.

Мы ели молча. Я не знал, как начать разговор. Меня поражало одно обстоятельство: я заметил, что все люди, с которыми я здесь столкнулся (вот последняя — тетка Матрена), спокойны. Будто их не задела, не касалась эта нелепая, неожиданная смерть. И сейчас мне передалось это общее спокойствие. Мне даже было лениво.

— Значит, у Морковиных были? — спросил вдруг Иван Матвеевич.

— Был.

— И как?

Я пожал плечами.

— Сыч убил,— сказал Иван Матвеевич вроде бы с сожалением.— Просто надо прижать к стенке—и признается. Тут, Петя, извините, хватка нужна.

— Нет! — излишне резко сказал я.— Нужны и признание Морковина и неопровержимые улики.

— Вы по науке,— с некоторой иронией сказал Гушин.

— Иван Матвеевич, расскажите мне о взаимоотношениях Михаила и Морковина.

Председатель посмотрел на часы. Я тоже. Без десяти два.

— О взаимоотношениях... Михаил Брынин. Лучший механизатор, настоящий мастер. Комсомолец. Двадцать четыре года. Черт!.. Был, был! Нет его. Понимаете, все ему давалось легко, с ходу. Есть такие люди — с удачей в руках. Потом, механизаторы у меня зарабатывают, наверно, лучше инженера в городе. В последние годы обходил Миша Сыча по всем статьям. Что Морковин своим горбом от весны до осени, Миша — в одну жатву.

— Простите, Иван Матвеевич, ваш колхоз на хорошем счету?

Он посмотрел на меня лукаво.

— Сейчас на хорошем. А был дыра дырой. Так... Теперь Морковин. Сыч. Свое хозяйство, в колхозе не работает. Он инвалид Отечественной войны. Справка о нетрудоспособности. Живет своим двором. Усадьба у него шестьдесят соток. Громадная, можно сказать. Землю отрезать у него невозможно: инвалид войны, ветеран. Хозяйство у него крепкое. Богатей, по нашим понятиям. Люди его не любят. А он — людей. Все у него «голодранцы». Что же, живет он лучше большинства в деревне. Материально. Пока. Вороватый. Что унести можно, унесет. Или три яблони эти. Вы знаете. Вот так — через полянку с яблонями, через плетень, по огороду — Михаил и Сыч. Два мира.

— Значит, частная собственность,— сказал я и вспомнил своего шефа Змейкина.

— У Сыча-то? Конечно. В последнее время Миха-

ил с ребятами прижимать его стал. Миша был настоящим парнем. Был... Никак не могу привыкнуть.

— И давно Морковин своим хозяйством живет? — спросил я.

— С войны пришел, года два вроде в колхозе поработал, и все — больше его не видели.— Иван Матвеевич задумался.— Черт знает. Вы говорите: частная собственность. Все, наверно, сложнее. Сейчас я вам покажу.

Он полез под кровать, выдвинул деревянный чемодан, порылся в нем и положил на стол две выпеченные фотографии.

— Вот, так сказать, начало колхоза в деревне Воронка. Двадцать девятый год.

На одной фотографии был стол президиума прямо на улице — над ним склонилась ветка дерева. За столом трое: мужчина в косоворотке, женщина с гладкой прической и совсем молодой парень; перед столом сидят на траве и стоят мужики и бабы. На второй фотографии тот же президиум, а рядом по-нурая лошадь и мужик — спиной к фотоаппарату — держит ее под уздцы.

— Смотрите.— В голосе Ивана Матвеевича послышалось волнение.— Организуем колхоз. Наш первый председатель, Замякин Тихон Петрович. Железный был человек. Наталья Лыкова, активистка, учительница. Кулаки ее в бане сожгли. Постеснялась голая выбежать. Представляете? А это я. Секретарь комсомольской ячейки. Теперь вторая фотография. Те же лица. А мужик с лошадью — кто вы думаете? Григорий Морковин! Да, да! Не удивляйтесь. Записывается в колхоз.

Помню этот день, как сейчас. Май, жара. Сеять надо. Слух уж об артели прошел. По уезду кой-где образовались. Ну и мы собрали народ. Тихон наш слово мужикам — в чем преимущества артельного хозяйства. «Я,— говорит,— хоть сейчас записываюсь». Нацарапал фамилию в листе. «Кто следующий?» Зашумел народ. «Ему какая забота! — кричат. — Он безлошадный. Что в артели, что так». У баб свои заботы: «А с коровами-то как?» Кулачье подзуживает: «Отдай им скотину, вот как!» Был у них заводила, Колька Зубков. «Значит, меж перепашем? — орет. — Эта называется — землю крестьянам!» Здесь Наталья: «Молчал бы, Зубков! Посмотрите на него — крестьянин. У кулаков землю отберем, это точно!» Крик поднялся, ругань. Бедняки в атаку: «Знамо, отберем! Понажрали яшки-та!» А середнячки помалкивают. Среди них и Григорий Морковин.

— Морковин до коллективизации середняком был? — спросил я.

— Да...— Иван Матвеевич задумался.— Средняком, так сказать, с тенденцией. Любопытная, действительно, фигура. До революции Морковины бедняками были в деревне последними. На одном дворе хозяин со старухой и три брата, Григорий — младший... Я-то тогда от горшка два вершка, не помню. Отец рассказывал. Морковин-старший пьянчужой слыл, буяном, напьется — жену смертным боем... Два первых сына — в бату: лентяи, дебоширы, только б до водки дорваться. Жили как? Батрачили. Долги, конечно. Зимой в города уходили. То, бывало, на тройке прикатят. Гульба стоит несколько дней — шум, песни, драки. А потом — по соседям: дайте хлебушка до урожая. Непутевая, в общем, семья. Люди ведь, знаете, разные были. И от безземелья, и от лени своей, и бесшабашности. Сейчас у меня лентяев тоже хватает. А на жизнь жаловаться — первые.

Вот так... Отец, два брата. Младший — Григорий. И, представьте, совсем другой человек, будто и

кровь в нем не морковинская. Не пил, молчаливый. До работы был горячий, аж не остановишь. Только что заработает, домой не отдавал, самую малость. «На прокорм», — говорил. Остальное прятал. Зимой торговлей маленькой занимался. В Ефанове с каким-то купцом дело обмозговал — ходил по деревням с мелочью всякой. Коробейником заделывался. Видно, торговля шла неплохо — довольный к весне возвращался. Мой отец сам слышал: «Отделюсь, — говорил Гришка, — от своих голодранцев. Лошадь куплю». И что любопытно? И отец и старшие братья боялись Григория. Не уважали, а именно боялись. Ну, а мать, старуха хворающая, с печи не слезала, так она на Гришу своего молилась. Говорят, будто спал он с топором под подушкой — деньги при нем были. Может, врут. Я его в ту пору смутно припоминаю. Вроде коренастый, смуглый, от сапог дегтем несет. Или сейчас так мерещится?

Зазвонил телефон.

— У меня с правлением параллельно, — сказал Иван Матвеевич. — Тоня всех отпугнет — по бригадам я. — Он помолчал. Лицо было взволнованным, даже розовые пятна выступили на щеках. — Хорошо помню Морковина уже после революции. Как было? В четырнадцатом он в армию загудел, а в семнадцатом в Красной гвардии оказался. Воевал за Советскую власть.

— Любопытно! — невольно сказал я.

— Представьте себе, участвовал в подавлении Кронштадтского мятежа. Вроде даже отличился там. И вот вернулся — в шинели до пят, в буденовке со звездой. В сапогах новеньких, хромоных. Худой, заросший. Отец к тому времени помер, мать на печи больная, последние деньки доживает. Старших братьев революция раскидала — не вернулись. И как раз раздел земли незадолго до его возвращения. Морковинным кусок солидный пришелся. Уже не помню сколько, но много — думали, братья заявятся. Не заявили. Вся земля — Гришке. Женился он сразу — Марью взял из бедной семьи, тихую, безответную, но работающую. И как-то быстро хозяйство сколотил Морковин: лошадь появилась, корова, овцы, новую избу поставил. Наверно, кубышка его пригодилась. Зажил, круглым таким стал, солидным. По деревне козырем ходит, в поддевке меховой, и цепочка от часов торчит. Медная, правда. Вот такого Григория Морковина как сейчас вижу.

Только недолго на его дворе праздник был. Пришла новая забота. Да такая, что стал Григорий на глазах вянуть. Сейчас-то от дома того только фундамент остался... По одну сторону от Морковиных — Брынины, вы знаете. А по другую — Метяховы жили. Сейчас младший век доживает, дед Матвей. Так, старик с придурью. А тогда было их два брата — старший Никита, ну и Матвей. И что интересно? До революции были Метяховы не то что бедняки, а так, с середины на половинку. Незаметные. А землю получили — и с места в карьер. Никита, конечно. Это, скажу вам, был мужик! Хозяин, зверь. Огромный, квадратный, заросший. А работать мог день и ночь. И вот стало расти хозяйство Метяховых, как в сказке: новый дом под железом, амбары, четыре лошади, коровы, овец целая отара, в страду батраков нанимает, хлеб — возами в Ефанов. И как раз нэл, гости к Метяховым из города зачастили — господа с визгливыми барышнями... Словом, образцовое кулацкое хозяйство.

И потерял Григорий Морковин покой — зависть извела. Не знаю, можете ли вы понять, представить крестьянскую зависть. Наверно, нет ничего страшнее. Это я уже совсем хорошо помню. Потемнел Григорий Морковин, осунулся, по деревне зверем хо-

дит. Никиту встретит — сразу в сторону. И кулаки сжаты. А Никита в рубахе шелковой, с пояском, с цепочкой золотой от часиков, подначивает: «Ты что, сосед? Занеможил? Приходи, вылечу», — и хохочет крепким, белозубым ртом. Думаю, хотелось Григорию, ох, как хотелось такое же хозяйство иметь. А не мог. Таланта не хватало, денег, удачи. Дремуцей, бессильной злобой исходил Морковин. Помню, метяховская коза к нему в огород залезла. Есть у крестьян такая варварская месть. Поймал Григорий козу, веревку на рога и крутит ей один рог к другому. У козы голова разламывается, кричит она человеческим голосом. Народ собрался. Вышел Никита. И хохотать: «Правильно, сосед, спасибо за услугу. Шкодливая она у меня. Вот спасибо-то! Проучил!» Верите ли, Григорий заплакал — и в избу... Не знаю, чем бы все это кончилось, да грянула коллективизация.

Иван Матвеевич взял фотографии, долго рассматривал их.

— Да... — заговорил он опять. — Ну, митингуем. Каждый в свою сторону тянет. Бабы кой-какие в слезы. Тихон по графину кулаком стучит. Уж голос сорвал: «Кто следующий?» Бедняки записались. А, надо сказать, их у нас меньшинство было. Все больше середняцкие хозяйства. И кулаков хватало. Вдруг — и не ждал никто — Григорий: «Я сычас, Тихон. Погody». И пошел к своему двору. Собрание притихло, ждет. Скоро возвращается и ведет за собой свою лошадь, за ней плуг перевернутый тащится, на солнце поблескивает. А следом Марья с коровой — обхватила ее за шею и ревет. Тогда у нас с коровами перегиб получился. Потом вернули. Подошел Григорий к президиуму: «Вот, Тихон, примай. Вся моя хозяйства. Только овец и курей оставляю. Пиши с Марьей в артель». У нас по случаю торжества фотограф был приглашен из города. Все со своей треногой суетился: «Граждане мужики! Внимание! Еще разок!» И запечатлел Григория Морковина для истории.

Я смотрел на фотографии. Дальняя тревога, как гром за горизонтом, просыпалась во мне.

— Странно... — сказал я.

Гущин тоже смотрел на фотографии. Не отрываясь.

— Вы дальше слушайте. Поставил он свою роспись крючками, и будто подменили его: задергался, руками размахивает и в толпу: «А кулачье от нас пощады не жди! Попили рабоче-крестьянской крови!» И кулаком погрозил в сторону своей улицы. Как-то недокумекали мы тогда... Шум, гвалт, кричат все. Еще кой-какие середняки записались за Морковиным. А вечером сидим у Тихона, списки проверяем, в губком надо отчет. Вдруг окна запылали, светло, как днем. «Горит кто-то!» — это Тихон нам. Прибегает сын его, Андрейка: «Мужики Метяховых громят. Избу подпалили! А Никиту — кольями! Гришка Морковин схоронили!» Мы туда, Тихон двустолку со стены. Прибежали, только поздно уже. Изба факелом занялась, никакой водой не зальешь. Бабы голосят. А Никита... Нашли его в огороде, с проломленной головой. По грядкам — след кровавый. Уползал, а его били и били. Вот сейчас закрою глаза и вижу: ботва прошлогодняя черная от крови, слиплась даже... А Матвей, второй Метяхов, в суматохе за огороды убежал. Тем и спасся.

— И что же, Никиту — Морковин? — перебил я Ивана Матвеевича; во рту у меня стало сухо.

— Ну, нет. Мужики, мужики... — Иван Матвеевич помолчал. — Не обязательно Морковин. Никиту Метяхова многие ненавидели — он своих односельчан, особенно с сумой тощей, не щадил. Наутро следо-

ватель приехал. Молодой, вроде вас. Получалось — сам Никита на свою смерть напросился. Вроде привел Морковин мужиков конфисковать у Метяховых лошадей в пользу артели. Самоуправство, конечно. Только списали Григорию самоуправство. Учили, что красногвардеец в прошлом, что первый из середняков в артель записался... Словом, получалось, что вышвырнул Никита мужиков из сеней, одного колом по спине огрел. Во двор за ними. Здесь кой-кто из кулаков оказался. Общая драка началась. В темноте. Пьяные... Кто Никиту — неизвестно. Только били его несколько человек — он здоровый был, куда медведь годится. Морковин на следствии говорил: «Не видел я даже Никиту впотьмах». А следователь спешил — по всему уезду убийства, поджоги, беспорядки. Ох, уж и времечко было!

— А вы как сами думаете, Иван Матвеевич?

— О Морковине? Вы у меня спрашиваете: мог ли он Никиту? Мог, если учесть их отношения. И в то же время не мог.

— Почему?

— Как вам сказать... Не знаю. Не похоже на него. Во-первых, трусоват. А во-вторых, жадный он до жизни был и хитрый. Под контролем себя держал. Чтобы рисковать? Нет. Все у него с расчетом. К тому ж только в силу мужик входил, первенец родился. Дочка.

— Противоречите вы себе, Иван Матвеевич. Не мог убить Никиту, а Михаила — убил.

— Ну... Не забывайте, сколько лет прошло. Другой теперь Морковин. Да и сейчас, как я его знаю, не мог бы убить. Его б только не трогать... Но убил. Он. Вы поймите: просто некому больше убить. Некому! У нас же не город. Все на виду. А так... Со стороны сказали бы — не поверил.

— Что же было дальше, Иван Матвеевич?

— Дальше? Через месяца два... Кулаки после смерти Никиты полютовали. Вот Наталью Лыкову сожгли. Памятник бы ей у нас перед правлением поставить. И Тихону... Дальше, Петя, начался в Воронке колхоз. «Красный серп».

— Значит, в колхоз вступил Морковин только для того, чтобы свести счеты с Никитой?

— Трудно сейчас сказать. Тогда не до психологии было. Этот мотив, согласитесь, достаточно веский. Были, наверно, и другие причины.

— А как он в колхозе работал?

— Поставили его бригадиром. Опять же за сознательность. Ведь многих середняков за собой привел. Работал хорошо, честно. Правда, замкнулся, вроде погас. Похоже было, ждет чего-то.

На улице засигналил «газик».

— Мой Павел отбедал, — сказал Иван Матвеевич. — В Сухотинку надо съездить. Корма кто-то в свинарнике ворует. А у вас, Петя, какие планы?

Он, кажется, был недоволен моей медлительностью.

— Раз подозрения на Сыча, будем искать. Иван Матвеевич, есть у вас в колхозе кто-нибудь из однополчан Морковина? С кем он на войне был?

— Вот вы что. — Гушин посмотрел на меня внимательно и, похоже, с одобрением. — Настырный вы человек, Петя. Ладно. Есть. Трофим Петрович Незванов. В другой деревне, в Ознобине. Пятнадцать километров. Хотите поехать?

— Да.

— Хорошо. Только нет сейчас свободной машины. Дам лошадку. Не возражаете?

— Нет, конечно. А за двором Морковиных пусть милиционер наблюдает. Только неявно.

— Это я распоряджусь, — сказал Иван Матвеевич.

В деревню Ознобино вез меня задумчивый мальчик Сашка. Лет девяти. Он погонял пегую лошадь, от которой остро пахло потом, иногда поглядывал в мою сторону, похоже было, хотел что-то спросить, но не решался. Я видел его светлую, коротко стриженную макушку. Она наверняка была теплой от солнца. Хотелось ее погладить.

Мерно бежала лошадь, иногда пофыркивала, мотала головой, отгоняя оводов. Мерно выстукивали копыта по мягкой земле: «Хоп-хоп-хоп».

Я лежал в телеге на примятом сене, смотрел в небо. Погода опять изменилась. Тяжелые тучи плыли надо мной, то скрывая солнце — и разом все меркло вокруг, то выпуская его на свободу — и мир переливался яркими красками.

Никогда я не видел такого неба. В разных его краях серыми застывшими полосами висели дожди, временами в просветах туч ярко пылало солнце, то вдруг возникали синие поляны, и из них прямо на глаза выливался голубой свет. Освещение везде было разное, все двигалось, менялось; дальнюю черную тучу пробежала молния, а потом прокатился медленный тугой гром; и в это же самое время светило солнце, и над мокрым ржаным полем наперегонки пели жаворонки.

Так со мной уже бывало. Когда в одном дне много событий и впечатлений, перестает существовать время. Трудно было поверить, что только утром я приехал в Воронку и начал свое первое дело. Мне казалось, что я уже давно здесь, среди этих зеленых и желтых полей, под этим огромным живым небом, среди людей, которых я воспринимаю как загадки и ребусы.

Между тем было без пятнадцати три.

«Хоп-хоп-хоп...» — лошадиные копыта по мягкой земле.



Трофим Петрович Незванов оказался высоким аккуратным стариком в чистой полотняной рубашке, выцветших солдатских галифе, в сандалиях на босу ногу. Был он седой, коротко, по-городскому подстрижен, с впалыми щеками. Трофим Петрович работал бухгалтером в сельсовете.

Он чрезвычайно засуетился, узнав о цели моего приезда, и на его лице я увидел страх. (Я уже привык к этому: у всех людей, особенно пожилых, при словах «следователь прокуратуры» на лицах появляется страх — до того момента, пока они возьмут себя в руки.)

— Морковин убил человека? Не может быть! — первое, что сказал он.

— Расскажите мне поподробней, как Морковин воевал. И револьвер...

— Нет, нет! — перебил меня Трофим Петрович. — Так не пойдет. Давайте-ка чайку. С медком. У меня свой.

Я не стал отказываться.

Через полчаса мы сидели за столом в саду, под молодыми вишнями, в окружении ульев. Монотонно гудели пчелы.

— Вы их не бойтесь, — сказал Трофим Петрович. — Они у меня смирные. Только руками размахивать не надо.

На столе булькал самовар, и пахло горячими углями. Мед в сотах лежал на зеленом лопухе, и по нему ползали пчелы. На лопухе же белым колоб-

ком лежало сметанное масло, был хлеб, яблоки. На стол по невидимым паутинкам спускались серые гусеницы, летели сухие, сморщенные листья.

За плетнем была привязана наша лошадь, в телеге сидел Сашка, ел мед в сотах, размазывая его вокруг рта, с любопытством смотрел на нас, вылеплял воск в траву.

— Точно, — говорил Трофим Петрович, наливая в большие кружки крепкую, черную заварку. — От наших деревень как ушли в сорок первом, так до самой Германии. Только три раза разлучались — раз меня в госпиталь полуживого, два — Григория. А воевал он хорошо. Как бы вам сказать. Словом, относился к войне, как к работе, серьезно. Правда, замкнутый уж больно. Все, бывало, молчит, молчит. И смотрит кругом так пристально, вроде хмуро.

— Расскажите какой-нибудь эпизод. Ну... Как именно он воевал? — попросил я.

Трофим Петрович задумался.

— Много разных эпизодов было. Ладно... Вот уже в конце войны, в Пруссии. Весна сорок пятого. Здесь в Григории перемена случилась. То все замкнутый, тихий. Молчком да молчком. А границу перешли — Германия. И Григория — ну подменили, да и только. Молчаливым остался. А дремоту его как рукой сняло: суетится, рассматривает кругом, как дом какой брошенный — все больше нам брошенные попадались, — он туда — и глядеть. Губы шевелятся. «Ты что, Гриша?» — спрошу. «Колонка у них, гляди, прямо во дворе, — скажет. — И воду не ведром, а качает. С соображением».

А однажды вот какой случай произошел любопытный. Идем мы по бетонке на Кёнигсберг. Хорошие у них дороги, навек сделаны. Указательные стрелки на столбах. Помню: по-ихнему, по-немецки, добротнее так, на эмали, ну, и по-русски на обломке доски кое-как: «До Кёнигсберга 53 км».

Уж всего мы повидали за военные-то годы. Отучились удивляться. А здесь любопытство берет: вот она, Германия, фашистское логово. Может, и Григория интерес взял. Идем, значит. Лес по бокам. И все. Только просеки, чистенькие такие, стрелами в чащу уходят. И кое-где кормушки стоят, а за ними щиты: головы лосей на них изображены да лисиц. Зверей они, немцы, подкармливали. Зверей... А пепел из крематориев на удобрения шел. Словом, идем. А бетонка! Я и передать вам не могу — вавилонское столпотворение. По бокам, в канавах — опрокинутые машины, танки. Кой-какие еще горят. Дым. И поток войск — не протолкнешься: самоходки, грузовики с пехотой, танки, легковушки самых что ни на есть всевозможнейших марок, артиллерия. И, конечно, солдаты. Туча нас. И по бетонке и по обочинам. А навстречу другое движение: немцы колясочки толкают, ручные тележки всяческие. Или на велосипедах. Смотрю я: люди как люди. С детскими, узлы, кастрюли. Старуха собачонку махонькую, словом, мопса, за пазуху пхнула, и он на нас тавкает. Только что в глаза нам не смотрит. И из лагерей народ, в полосатых куртках, в «зебрах» этих проклятых, на ногах что попало. Ну, эти и обнимают и плачут, кой-кто кулак сжатый поднимает — «рот-фронт!». И, понимаете, жарко в груди делается от этих поднятых кулаков. Немцы пленные навстречу совсем в землю уткнулись, а лица веселые — уж не убьют. И гвалт такой над бетонкой — оглохнешь: моторы ревут, ноги топают, песни, немка какая-то кричит: «Пауль! Пауль!...»

Идем. Григорий, как всегда, молчит, а по сторо-

нам взглядом так и бегаёт. Только что глядеть? Лес да лес. И не то, что наш — чащоба. На парк похоже.

Вдруг команда: «Второй стрелковый! По дороге на Виллау!» Это нам. Свернули в лес. Указатель: «До Виллау 13 км». Везде у них порядок. «Кымы» эти самые, чтоб не заблудиться. Через лес идем. Бетонка уж где-то далеко шумит. И вдруг — очень даже ясно — пулеметная очередь. Остановились. Опять очередь. Подбегает к нам лейтенант, молоденький, видно, только из училища, мальчишка совсем. «За поворотом ферма, — говорит. А у самого, вижу, руки дрожат и голос больно звонкий. Неострелянный был, боялся. — Крестьяне ее вроде обороняют. Фанатики! — Так он с форсом сказал: «Фа-на-ти-ки!» Надо полагать, слово это недавно узнал. — Выбить необходимо». И здесь, можете представить, Григорий: «Разрешите мне, товарищ лейтенант!» — И навтыяжку. Устав, сами понимаете, дисциплина. Я — в удивлении: никогда Григорий на рожон не лез. Лейтенант заулыбался: «Молодец, старшина! — Григорий в звании старшины войну заканчивал. — Возьмите взвод. Выбить с ходу!» У Григория в глазах сверкнуло: «Есть, товарищ лейтенант!» Прямо не узнаю его.

Побежали мы. Только за поворот — по нас из пулемета: та-та-та! Искрами защелкало по асфальту. Залегли, смотрим. Лес кончился и — поле. А на опушке ферма: дом, постройки, и все под красной черепицей. Между нами и фермой, чуть поодаль, коровы пасутся. Крупные такие, черные, с белыми пятнами. Словом, все, как на картинке. Григорий нам: «Короткими перебежками! Пошли!» И сам — первым. Бежим, падаем, опять бежим. Немцы по нас из пулемета, мы автоматами отвечаем. Метров двести до фермы осталось. Еще пробежали и залегли. Трое мы рядом: Григорий, я и Петя Хлябов, воронежский, молодой парень, сорвиголова. Помню, рябинки у него на лице, и вид от них прямо свирепый. Лежим. В землю так бы и влип — пули над головой. А из земли травка молодая прет, слово, запах. Весна. Пулемет с фермы совсем не умолкает. Смотрим, коровы заволоновались: воздух нюхают, фырчат. Потом одна возьми и побеги к ферме, за ней — все, как сговорились. И прикрыли нас. Петя автомат на плечо: «Сейчас я срежу этих гитлеровских коровок!»

А Григорий его — цоп за руку: «Ты что? По скотине? И они по ней бить не станут. Раз крестьяне. За стадом на ферму войдем». И точно: замолчал ихний пулемет. Коровы к ферме, мы за ними. Первым бежит Григорий, автоматом размахивает, как кнутом, кричит: «Иди, иди! Геть до дому!» Так за коровами и ворвались на ферму. Все быстро вышло: граната, несколько очередей. Их, немцев, за пулеметом всего двое было. Я тогда подумал: «И впрямь фанатики».

Входим на ферму. Автоматы, конечно, наготове. Тишина. Около перевернутого пулемета лежат они, двое. Точно, крестьяне: в штатском, и руки, ну, словом, видно, что с землей дело имели. Один еще пулемет сжимает, другой ничком уткнулся, а ноги разбросал, и такой у него вид, будто бежит мертвым. Телега опрокинутая, и, помню, колеса у нее крутились. На середине двора водоразборная колонка, ведро стоит, прострелено оно в нескольких местах, и лужа из него натекала. Еще — собачья будка. Собака из нее высунулась, а вылезти, залаять не решается. Только рычит, знаете, так глухо.

Глядим: коровы во двор заходят, на нас смотрят вроде с удивлением, мукают жалостно. «Недоенные», — сказал Григорий. И вздохнул.

Мы — в сарай. Большой такой сарай, каменный и тоже под черепицей. Темно со свету-то. А у двери включатель. Я щелкнул. Зажглись три электрические лампочки. Глядим: направо — бетонные стойла, автопоилка; налево — для свиней куток и тоже бетонная стенка, а пол выдвижной, чтобы чистить сподручной было. Григорий попробовал, как выдвигается, задумался чего-то, потом сказал только: «Жили...» В стене дверь обнаружили. Открыли — ступеньки вниз. Спускаемся. Опять включатель. Я — щелк. Лампочка вспыхнула. В погребу мы оказались. Глядим: на полках банки с маслом, со сметаной, очень даже громадные консервные банки и этикетки на них с рисунками, уж сейчас не помню, что там изображено. Окорока висят. Бутылка большая в плетеной корзине, похоже, с вином. «Закусишь?» — предлагаю. Григорий так задумчиво: «Потом. Дом надо поглядеть».

Пошли. Все двери открыты. В комнатах беспорядок, вещи раскиданы, недоеденный завтрак на столе. Сейчас уж не помню, что еще там было. А вот одну комнату запомнил: кровать в ней детская стояла, неприбранная, и на подушке след от головки. А на стене фотография: мужчина в таком строгом черном костюме, молодая женщина в белом платье, как в облаке, а перед ними — мальчик и девочка, чистенькие, кроткие... Словом, чужая и, я вам скажу, непонятная жизнь. И, вот знаете, как-то невозможно представить, что все это в фашистской стране, что на этой земле — концлагерь, душегубки. Стоим с Григорием, смотрим. Смутно на душе. Дом вспоминается, детишки...

И вдруг — шум над нами, возня. И женский крик. Мы с Григорием переглянулись — и вверх. Лестница крутая на чердак вела. А там еще комната. Мансарда по-ихнему. За дверью возня, и женщина по-немецки кричит. Непонятно, конечно. Только имя: «Курт! Курт!» Мы — в комнату. Смотрим, Петька на кровать немку валит. Уж платье с нее сорвал. Григорий Петьку за пояс и как швырнет об стену. Будто по барабану ударил. «Что, — говорит. А сам — мелкой дрожью. — Под трибунал захотел? И нас за собой? Приказа не читал?» Тихо стало. Петька стоит потный, ушибленную голову потирает, и на лице прямо лютость. А немка, совсем еще молодая, растрепанная, плечи голые руками закрывает. И на нас — вот такими глазами — с ужасом, с мольбой. Наверно, думала, мы все... Здесь Петька к Григорию подскокил: «Защищаешь? А как они наших девчат? Может, мою невесту...» Григорий посмотрел на него долго, так что Петька заежил, и только сказал: «Так ты что? Фашист?»

Как раз лейтенант прибежал: «От имени командования...» Словом, благодарности. «Путь свободен. Двигаемся дальше», — это лейтенант. Григорий и подступил к нему: «Дозвольте, товарищ лейтенант, поглядеть на ферме. Недолго. Враз догоним». Лейтенант нахмурился, подумал. Потом говорит: «В знак благодарности, старшина. От имени командования. Только чтоб без всякого мародерства. Через час догнать». «Есть!» — Григорий навтыяжку.

Ушли наши. А мы с Григорием на ферме остались. Тихо. «Давай еще в сарае поглядим», — говорит Григорий. «Давай», — говорю. Долго он там канителился: все стены стукал, вымерял чего-то, шагами считал. Потом спустились мы в погреб. Выпили, верно, закусили. Вино кислое, вроде квасок. Пьешь без меры. А взяло. И здесь, на Григория накатило. Даже не знаю, как вам объяснить. Сидел, пил, ел. Все молчком. И — я даже испугался — как хватит сапогом по бутылки. Вдребезги. Вскочил и давай все крушить — полки, банки, окорока пинает. И одни

слова: «Жили, да? Жили? Ha! Ha!» Побелел, глаза безумные. Я к нему: «Гриша, ты что?» А он меня и не видит. Словом, буйство на него нашло. Наверх выскочил, за топор — и стойла корезить. Верите, до самой арматуры разворотил. Я к нему и не подступись. Потный, страшный. Учинил он полный разгром. Дверь с петель сорвал. Никогда я его таким не видел. Испугался. Думаю: или рассудок потерял? Нет. Сразу как-то остыл он, утих. Когда уже громить нечего стало. Гимнастеркой пот обтер, закурил. «Пошли», — говорит. Шагаем по дороге. Одни. Лес, тишина, птицы перекликаются. «Ты что это, Гриша?» — опять я к нему с вопросом. Он на меня посмотрел будто издали, будто не понял, что спрашиваю. «Так, — говорит. — Ничего». И больше ни слова. Догнали своих. Уж впереди — крыши черепичные, Виллау. Вижу: в Григории никакого интереса к немецкому городу. Как раньше было. Скука на лице. Уткнулся под ноги, хмурый, лоб морщит и глаза... Не знаю, как сказать. Пустые, словом. И так — до самого конца, до демобилизации.

Трофим Петрович замолчал.

— Не прояснил я вам ничего?

— А револьвера у него никогда не было? — спросил я.

— Не было, ручаюсь, — сказал Трофим Петрович. — Вместе домой возвращались. В дороге сколько раз при мне вещмешок перекладывал. Так, барахлишко кой-какое, трофейное. Револьвера не было. Это точно.

— Что же, спасибо...

— Не стоит благодарностей. Может, еще чайку?

— Нет, нет. Время, знаете, дорого.

— Очень даже понимаю. Словом, служба. — Трофим Петрович засуетился, на этот раз, похоже, обрадованно.

II

Было десять минут шестого. Опять все изменилось: небо без единой тучки, солнце, уже низкое, над землей, все мокрое, сверкает. Над дорогой летали ласточки. Тихо.

«Хоп-хоп-хоп» — лошадиные копыта по мягкой дороге.

— Дяденька, — сказал Сашка (по-моему, он обьелся меда и теперь тяжело дышал), — а еще к нам, в Воронку, можно через Яровский лес ехать, по другой дороге. Дальняя она, зато красивше.

— А как дальняя?

— Километра на два длиннее, — сказал Сашка.

— Два километра — ерунда. Сворачивай к лесу, раз красивше.

«Вот он какой, мой Сашка, — подумал я. — Красивую ему дорогу подавай».

Проехали через скошенное поле, похожее на невыбритую, жесткую щеку великана, и начался лес. Сразу зеленый полумрак обступил телегу. Колеса стучали по корням; пахло мокрыми листьями. Я лег на спину. Косое солнце дробилось сквозь ветки. Иногда белые, дымящиеся столбы падали вниз, — кусты, трава становились бледными, сквозными. Коричневая стрекоза, сверкая крылышками, долго суетилась над телегой и, наконец, села на носок моей сандали.

Покой, тишина.

Так бы ехать, ехать...

Против чего он буйствовал? Странно... «Больше убить некому». Но не похоже. Если послушать Трофима Петровича... В его рассказе Морковин никак не убийца. Скорее что-то с психикой. Спокойно. Со времен войны прошло больше двадцати лет. Удивительно. Мне в мае сорок пятого шел шестой год. Отец писал из Берлина: «Родные мои! Кругом тихо. Белые флаги на уцелевших домах. Я присутствую здесь в исторические дни. Закончилась самая страшная война на земле. Слишком много убитых. Люди оглянутся, сосчитают могилы и больше никогда не будут убивать друг друга». Тогда отец был старше меня на два года. Не будут убивать... После подписания акта о капитуляции Германии он, конечно, не мог допустить мысли, что ему выстрелят в спину.

Стрекота улетела. Стало вдруг сумрачно. Наверно, облако закрыло солнце.

Профессор Збышевский читал у нас римское право. Сухой, быстрый, с колючими, ехидными глазами. Мы любили его. Нет, не любили. Уважали. За резкий, иронический ум, за смелость и неортодоксальность суждений, за то, что он, как товарищ, мог дать взаймы до стипендии. В нем совсем не было чванства, напыщенности. То и другое мы презирали в иных наших корифеях. Я даю себе клятву презирать чванство и напыщенность всю жизнь.

Выпускной вечер был в «Будапеште». Мы сидели рядом — Збышевский и я. Он порядочно выпил. Он сказал:

— Значит, состоялся следователь Морев? Поздравляю.

— С чем? — спросил я.

— Отныне в ваших руках вечная профессия. С ней не пропадете.

— Вечная?

Он себе и мне налил водки...

— Но-о! — закричал Сашка на лошадь. — Бегом! Пошел!

Однако наша пегая лошадь продолжала идти шагом, чуть косила на Сашку добрым фиолетовым глазом.

— Ленивая она у тебя, — сказал я.

— Это не она. Это он.

— Ну, все равно. Он ленивый.

— Не, — вздохнул Сашка. — Он не ленивый. Он меня не слушается. Маленький я. Вот вы на него покричите, и он побежит.

— Но-о! — закричал я. — Пошел!

Лошадь запрядала ушами, сердито фыркнула и действительно побежала.

— Как же его зовут? — спросил я.

— Буран он, — сказал Сашка. — Трехлетка. Хитрый — страсть. — Задумался, спросил: — А у вас в городе кони есть?

— Мало. Все больше машины.

— А у нас и машин мало и коней мало.

— Чего же у вас много? — спросил я.

Сашка опять задумался, потом сказал серьезно: — Земли много. И леса много. И еще над землей и лесом неба много. Правда?

— Правда, — сказал я и опять лег на спину.

Сквозь ветки проглядывало небо. Иногда я видел облака. Зеленые кроны плыли надо мной. Посвистывали птицы.

...Збышевский себе и мне налил водки.

— Да, вечная. Третья древнейшая профессия, — сказал он, внимательно заглянув мне в глаза. — По-

ка люди ходят по земле, они будут убивать друг друга. Физиология. Впрочем, возможно, не только физиология. Фрейда читали? Не важна причина. Просто факты: есть люди — есть убийства. Я говорю убийства, потому что в них квинтэссенция человеческой преступности. А раз так, — вечно будут юристы. Мы необходимы обществу, пока оно есть. Я имею в виду общество всей земли. Социология ни при чем. Итак, коллега, выпьем за нашу профессию, вечную, как мир. — Так откровенно он высказывался впервые. Водка язык развязала? — Лучше так! — поднял он свою рюмку. — За вечность мира! А значит? Вы понимаете...

— Давайте выпьем, — сказал я, — за то, чтобы когда-нибудь отмерла наша профессия.

Профессор тихо, как-то остро засмеялся:

— Тогда надо выпить за атомную войну.

К нам повернулся мой друг Женя Штамберг. Мы выпили трое — каждый за свое.

На эстраде грянул джаз. Возбужденные пары ринулись твистовать...

...В деревьях зашумел ветер, теплые капли посыпались на меня. Я не заметил, как наша лошадь опять перешла на шаг.

Если Збышевский прав, просто не стоит жить. Для чего тогда, для чего все? Уроки истории, жертвы? Неисчислимые жертвы моей страны, ее тернистый путь?

Признаюсь, случается, я начинаю думать, как он. Когда представляю кровавые этапы двадцатого века: фашизм, минувшую войну, концлагеря для миллионов, где методично и последовательно в человеке уничтожается все человеческое, современный мир с американскими бомбами во Вьетнаме, с военными самолетами над всеми материками, с термоядерным оружием. Слишком много убивают на нашей маленькой планете и людей и животных. Убивают, убивают, убивают. И готовятся убивать.

Но нет! Так думаю я только в минуты слабости. Не может все быть напрасно: кровь, страдания, опыт. Опыт человечества. Я убежден, что большинство людей на земле хочет сделать мир добрее, разумней, ярче. Только что-то мешает им. Что-то мешает нам. Что? Разобщенность? Недоверие? Какие-то внутренние заборы, разделяющие нас? Не знаю... А зло? Оно организованней. Оно действует более целенаправленно. Но почему? Почему? Понять, постигнуть механизм зла. Надо делать добрее наш мир. Я хочу, чтобы этот славный Сашка вошел в более добрый мир, чем мой. У нас с Люсей будут дети. Я хочу, чтобы они жили в более добром мире, чем мой...

— Дяденька, уже Воронка, — сказал Сашка.

Мы въезжали по какой-то глухой проселочной дороге в деревню, и я узнал ее только по разрушенной церкви.

— Куда? — спросил Сашка.

— Давай к правлению.

— Дяденька! — Он смотрел на меня круглыми глазами.

— Да?

— А за что Сыч убил Мишку?

«Вот что он хотел у меня все время спросить», — подумал я и сказал:

— Если бы я знал, Саша! Пока ничего не известно.

Мы ехали по деревне.

Сыч убил Мишку...

Почему они так уверены в этом? «Больше некому...» А у меня нет даже интуитивного убеждения.

Вправлении колхоза, обшарпанном домике из двух комнат, завешанных плакатами с толстыми коровами и с девушками в белых халатах, меня ждали участковый Захарыч и приехавший из города Фролов.

Участковый где-то выпил, его полное лицо лоснилось, нос красен, ворот кителя расстегнут, и виднелась волосатая белая грудь.

— Так что на месте Морковин, — бодро, даже вытянувшись, сказал он. — В своем дворе картошку с Марьей перебирает. Прошлогоднюю. Гнилья — пропасть.

— А пить в рабочее время не стоило бы, — сказал я.

Участковый встрепенулся:

— Дык я самую малость. Морковин же и поднес. Из магазина у него, казенка. Все по закону. — Он блаженно закатил глаза. — Какие распоряжения?

Похоже, он чувствовал некоторую неловкость, и насмешливости, покровительства я в нем уже не обнаружил.

— Продолжайте наблюдение за двором Морковиных. Только осторожно, пожалуйста. Если Морковин, заметите, собирается куда уезжать, — задержите.

— Слушаюсь!

И участковый Захарыч вышел. Из окна видно было, как он, пожевывая на крыльце, глянул на небо, почесал спину и зашагал по деревенской улице — грузный, коротконогий, при полной милицейской амуниции. Поддал сапогом ржавую консервную банку. Фролов устало курил сигарету.

— Машину я отпустил, — сказал он. — Не нужна?

— Пока не нужна.

— В случае чего, — сразу вызовем. Вот акт о вскрытии. — Он передал мне лист бумаги. — Брынин убит из револьвера двумя выстрелами в спину. Одна пуля застряла в сердце.

Я пробежал глазами акт.

— Да... А шеф ваш волнуется. Говорит, пора выявить и задержать убийцу.

— Выявим, задержим, — сказал я.

— Значит, в принципе, подозрения на Морковина? — спросил Фролов.

— Вот именно — подозрения.

— Может, пора брать?

— Подождем.

— Хорошо. Что будем делать?

— Вы пройдите по соседям Морковина. Только в дом убитого не надо. Я сам. Поспрашивайте о Сыче, о взаимоотношениях. На кого думают.

— Понимаю. — Фролов изменился. Он говорил со мной, как с равным. Даже уважительно (а может быть, изменился я?). — Где вас потом найти?

— Или здесь, или у председателя.

Мы вышли вместе.

Яшел ко двору Брыниных. Поговорю с Ниной. Надо наконец выяснить, что произошло утром у трех яблонь.

Переулочек тих, безлюден. Жарко. Пахнет, тонко и слабо, яблоками. Где-то плачет ребенок.

Я прошел вдоль забора Морковиных. Сейчас лу-

жок с тремя яблонями, со стожком сена. Что здесь произошло? Что?

Неожиданно, еще даже не успев подумать, зачем это надо, я замер. Прижался к забору. Я услышал голоса. И узнал их.

— Постой!.. Не уходи. Постой! Нина... — Это был голос Василия Морковина.

— Отстань, отстань! Увидят... — говорила Нина.

Я осторожно прокрался к краю забора и выглянул. Сквозь ветки крайней яблони я увидел: у своего плетня стоит Нина, в руках у нее полотенце, видно, она его снимала с березовой перекладины. А по другую сторону плетня, на лужайке — Василий Морковин. Он поймал руку Нины с полотенцем и не пускает.

— Отстань, говорю! — тихо и зло сказала Нина, вырывая руку.

И он вдруг заговорил быстро, задыхаясь:

— Все равно люблю!.. Слышь, Нина! Люблю... Будто и время не проходило.

— Отстань! Отстань! — В голосе Нины был ужас.

— Ну, хочешь, все брошу! — задыхаясь, говорил Василий. — Только скажи!.. Скажи... Раз так вышло... Одна ты теперь...

— А ты и рад! Рад!.. Никогда этого не будет, запомни! — Она вырвала руку с полотенцем из рук Василия. — Никогда, запомни!.. Ненавижу! — И она побежала в глубь сада, к дому.

— Ненавижу!.. — послышалось из зеленого полумрака.

— Нина!.. Нина... — сказал в тишине Василий.

Он постоял у плетня, покачал головой, похоже было, разговаривал сам с собой. И побрел к реке, медленно, загребая ногами траву. И отчаяние, безнадежность, безмерное горе были в его тощей фигуре.

У меня глухо бухало в висках.

Он любит Нину... И любил раньше... Что у них было раньше? Может быть, он... Спокойно. Не надо спешить. Все выяснить. И у нее я спрашивать не буду. Кто знает, какие у них отношения. Да, да, все выяснить. Так. Кажется, возникает еще одна версия.

Но почему-то оттого, что возникла еще одна версия, а значит, появились новые шансы найти убийцу, мне не стало легче.

Я постоял немного, прислушиваясь. Все было тихо. И пошел ко двору Брыниных. Шагал медленно.

Уизбы Брыниных застекленная терраска. Видно, пристроена она совсем недавно — тес свежий. Когда я подходил, на терраске плескалась вода, слышался детский смех и голос Нины:

— Ах ты, моя голубка! Кровинка моя. А теперь закрой глазки. — В голосе было какое-то иступление.

Я постучал в дверь.

— Ну? Кто там? — Теперь в голосе были страх и смещение. Так она говорила Василию: «Отстань, отстань».

«Думает, что он», — понял я и вошел.

В большом тазу стояла голенькая девочка лет трех, в кудряшках, и хохотала. Нина поливала девочку из чайника. На лавке сидел уже вымытый мальчуган, совсем крохотный, завернутый в большую отцовскую рубашу, мотал толстыми ножками и серьезно глядел на меня.

— Подайте полотенце,— сказала Нина. И с ее лица слетело напряжение.— Вон, на стуле.

Полотенце было то самое.

Я смотрел, как она вытирает дочь, и невольно любовался ею. Движения были гибкими, сильными, осторожными. Нина была в открытом сарафане, мелькали голые полные руки, по плечам рассыпались волосы. И столько силы, жизни, красоты, не знаю... плоти, что ли, было в ней.

— Что вам? — недружелюбно спросила Нина и посмотрела на меня.

У нее были серые, полные гнева и движения глаза под черными, сведенными углом бровями; сейчас в них не было горя.

— Нина,— сказал я. («Я не могу иначе, я должен», — сказал я себе.) — Тот, кто убил вашего мужа, должен быть наказан. Ведь вы понимаете это?

Она молчала, и лицо ее начало гаснуть. Как электрическая лампочка, из которой медленно уходит свет.

— Вы мне должны помочь,— продолжал я.— Мне необходимо установить истину. Вы сами сказали, что утром у стога сена Морковин кинулся на вас с вилами. Между Михаилом и Морковиным произошла ссора. Мне надо знать, как это было. Поймите, Нина, это не праздное любопытство. Прошу вас, расскажите.

— Мама! — крикнула Нина.

Пришла из избы мать Михаила. Видно, она все время молча плачет: лицо ее было мокрым и распухшим.

— Возьмите Володю и Клаву, на дворе с ними поиграйте. Еще тепло,— сказала Нина и повернулась ко мне.— Идемте в залу.

Мы прошли через первую комнату с печкой и попали в другую, большую и светлую.

Полы были крашенные, на окнах занавески; диван, сервант с посудой. Сервант точно такой же, какой я видел в избе у Морковиных. Этажерка с книгами, приемник. Комната была совсем городской. Только за детской кроваткой висел этот коврик (когда же они сгинут?): пронзительно синий пруд, лебеди, кипарисы, как зеленые свечи, и дебелая русалка, облокотившись на локоток, возлежит на берегу. Между окнами свадебная фотография в круглом овале. Он и она. Вот каким он был, Михаил.

Я всмотрелся в его лицо. Обыкновенное лицо: широкие скулы, серьезные, замершие глаза, волосы, зачесанные назад, открывают большой лоб. Черный пиджак, галстук крупным узлом. Очень он серьезный на фотографии, Михаил Брынин...

Которого больше нет среди нас.

Которого убили двумя выстрелами в спину.

На столе лежали какие-то раскрытые учебники со схемами. Тетрадка, тоже раскрытая, и лист исписан торопливым почерком.

Нина проследила за моим взглядом.

— Миша в техникум готовился,— и отвернулась резко.— Не могу! Пойдемте во двор.

Я вспомнил, как мы вернулись с похорон мамы. Я увидел на ее столике тюбик крема для лица со следом пальца на блестящей поверхности и убежал на улицу, к людям, в толпу, чтобы не видеть, не видеть...

Мы сели на скамейку, у завалинки. На дворе было расстелено одеяло, и на нем тихо играли Володя и Клава, а сбоку сидела мать Михаила. Сидела, застыв в неудобной позе, и смотрела перед собой.

— Ну, хорошо,— устало сказала Нина.— По утрам мы с Мишей всегда ходили купаться. А сегодня совсем рано пошли — ему на косьбу торопиться.

Искупались. Вода теплая и парок над ней. А воздух прохладный. Вылезешь — сразу зябко. Миша у меня спрашивает: «Замерзла?» «Замерзла», — говорю. «Тогда беги!» — и подтолкнул. Я бежать, он за мной. Ну... Игру затеяли. Поймал. Ко мне... Я его по щекам. В шутку, конечно. Опять бегу. Тут лужок этот, три яблони... Проклятые, проклятые! Чтoб сгореть им от молнии... И в стог сено сбито. Сычово. Опять Миша меня настиг. Прямо не знаю... Не то сказать, не то в кармане подержать. Ладно. Схватил он меня — я дыхнуть не могу. Сильный был мой Мишенька. И повалил на сено. Вы не подумайте ничего такого. Целует только. А мне стыд: еще увидит кто. Я ему: «Перестань. Сыч, небось, рядом бродит, сено ему мнем». «Ничего,— смеется,— сено не станет». Я отталкиваю его. А перед глазами небо, облака и ветка от яблони. Вдруг закрыли мне все, весь вид сапоги — большие, нечищенные. И Сычов голос: «Сено мне приминать. Бесстыжие... Голодранцы». Вскочили мы. Сыч перед нами. И такое лицо злобное, с судорогой, глаза вертучие, так и бегают по нас, шарят. И с вилами он. Намахнулся. «Смотри, Мишка,— шепчет, и аж слюни пошли.— Я тебя упреждал, не искушай». Вижу, Миша испугался, пятится: «Да ты что, Григорий Иванович? Ты что? Мы ж ничего...» А Сыч на нас прет, кричать начал: «Я упреждал! Добро мое глаза ест! Идтия, идтия отсель!» Вижу я — безумство у него в глазах и рука дрожит. Вот сейчас ударит. Ужас меня взял — вздохнуть не могу. Тяну Мишу: «Уйдем, уйдем скорее!» И побежали. А Сыч нам вслед: «Ты меня доведешь... Ты дождешься...» Вот и все. Дома смотрю — на Мише лица нет. Говорит: «Видать, не разминуться нам на этом свете». Не разминутись...

— Когда стреляли, вы где были? — спросил я.

— Дома. Услыхала — и затрясло всю. Выбегаю — уже лежит он, Мишенька... И руки траву скребут. А вокруг никого... — Подбородок ее начал прыгать.— Ну, здесь народ засуетился...

— Михаил не любил Морковина?

— Ненавидел! — выкрикнула Нина.

— За что?

— За все... — Она зарыдала.

— Хорошо. Спасибо. Успокойтесь, Нина. Пожалуйста, успокойтесь.— Я подал ей полотенце, еще мокрое, которое висело на ставне.— А кем вы работаете?

Она сдержала рыдания, сильным, резким движением вытерла глаза.

— Доярка я.— Она вскочила.— Мама! Куда вы смотрите? Володя траву ест!

15

Утаила про Василия. Ничего не сказала. А что она могла сказать? Хорошо... без мельтешения. Я вернусь к этой версии. Прежде всего поговорить с Иваном Матвеевичем. А пока надо остановиться на Морковине. Итак, Сыч убил Михаила. Но он не уходит, не пытается скрыться. Почему? Как проникнуть в логику его мышления? На что он надеется? Ведь он должен понимать, что возмездие неминуемо. Непостижимо...

Он должен понимать, если убил Михаила. Вот именно. Если... Ладно. Сыч убил Брынина. За что? По каким мотивам? Ведь не из-за яблок. Не только из-за яблок. Это повод. А причины?

Причины. Причины...

Я пошел к председателю. Дома Ивана Матвеевича не было. Бабка Матрена всюду шуровала у летней печки под навесом. Что-то кипело, что-то жарилось. Пахло вкусно.

— Может, чего перекусите? — спросила она у меня.

— Нет, спасибо. Ивана Матвеевича подожду. Погуляю пока.

Я брел по деревенской улице. Уже вечер. Без десяти семь. Фиолетовое солнце висело над далеким горизонтом, и на него можно было смотреть. И все кругом было фиолетово, зыбко, начало терять четкие очертания. Глуше слышались деревенские звуки: лай собак, петушиная переключка, голоса ребят, которые где-то гоняли мяч. В ржавых, с дырами куполах церкви суетились, кричали галки.

Навстречу шла женщина гнала ярко-рыжего бычка. Бычок глянул на меня диким влажным глазом и шарахнулся в сторону.

— Ну! Боюший! — закричала на него женщина, и в голосе ее была доброта.

На бревнах сидели мужики, в очень ленивых позах, курили, молча смотрели на меня.

Пушистая собачонка с репьями в хвосте вывернулась из калитки, весело попрыгала у моих ног, полаяла для порядка и убежала.

У одной избы стоял новенький светлый «Москвич», из-под него торчали ноги в узконосых штиблетах.

Я вышел на широкую зеленую площадь, где возвышалась разрушенная церковь, и только здесь понял план деревни Воронка. Ее геометрическим центром была эта площадь с церковью, а к ним стекались под разными углами улицы и переулки. Часть деревни в полукруг замыкала речка, и огороды нескольких коротких переулков упирались в ее низкий берег.

В одном из таких переулков и стояли дворы Брыниных и Морковинных. Одиннадцатый двор, двенадцатый двор. Плетень к плетню через маленькую полянку с тремя яблонями.

В последнее время я часто ездил в наши деревни в качестве стажера по расследованию мелких дел и любил разрушенные церкви. Даже не знаю, за что. Просто любил входить в них (если, конечно, удавалось), вдыхать влажный воздух, пахнущий камнями, смотреть на расписные стены, потолок, слушать тишину. В разрушенных церквях как-то по-особенному торжественно-тихо.

Двери церкви были открыты, и я вошел. Полумрак, сыро. Вначале со света я ничего не мог рассмотреть. Потом глаза привыкли, и я увидел высокую кучу пшеницы прямо посередине церкви, облезлые стены в подтеках. А сверху бил розовый пыльный свет через узкие окошки, и оттуда, с потолка, сквозь этот розовый свет на меня смотрел суровый божественный лик. Смотрел вопрошающе.

— Вам, гражданин, чего? — услышал я спокойный голос.

Сбоку от дверей стоял стол, за ним сидел старик в ватнике и валенках, перебирал какие-то бумаги. Я подошел к нему.

— Да ничего, — сказал я. — Так, посмотреть.

Он был давно небритый, медлительный, с длинным гоголевским носом.

— Что же теперь смотреть, — сказал старик. — Нечего смотреть. Один глен остался. Бога-то уже нет. Не живет он в этих стенах.

— А я вот какую теор-рему развиваю! — заорал

пьяный голос где-то совсем рядом. — Ты, Миколай... — последовал длиннейший и сложный мат. — Ты мозгой ворочай, соображать надоть!

В ответ бубнили что-то невнятное.

— Опять Матюшков с кумпаньей, — сказал старик. — С утра завелись и остановиться нет мочи. Разве же это люди! Вы поглядите, гражданин.

За дверью церкви, под сломанным каменным забором бражничали трое мужчин, уже в возрасте; все трое были совершенно пьяны, они как-то полувалялись вокруг бутылок водки и были похожи на серые вороха живого мусора. Особенно был пьян лысый мужчина с вздувшейся веной на лбу; он раскачивался из стороны в сторону, нелепо всплескивал руками и все кричал:

— Я вот какую теор-рему развиваю! — И дальше матерился.

Неожиданно старик стукнул кулаком по столу и зло, колко посмотрел на меня.

— Разве это мысленно! — взволнованно заговорил он. — Вы думаете как? Этот храм разрушили, и все? Или там другие храмы. Не-ет! — Он погрозил мне сухим корявым пальцем. — Не-ет! Вы и в их душах храмы разрушили! — Он мотнул головой в сторону пьяных. — Ладно! Разрушили, так на их место поставьте свой дом. Какой там... не ведаю. А вы — ничего. Что же там у них? Одна пустая простанства, чтобы было во что водку жрать. И все!

Он как-то сразу успокоился, уткнулся в свои бумаги и больше не смотрел на меня.

Тихо было в церкви. Вверху летали галки, и их слабые расплывчатые тени скользили по куче пшеницы.

Во дворе под забором ругались пьяные.

Я вышел. На душе было смутно.

Солнце зашло. Вернее, оно спряталось в тучу, которая присела на самом горизонте, и казалось, из тучи выливается широкая вечерняя заря — в полнеба.

А в самом зените застыли легкие, прозрачные облачка, и были они ярко-розовыми.

Незаметно для себя я побрел к реке, на околицу деревни. Возле мостка была сделана длинная скамейка. Земля под ней вытоптанная, гладкая, покрытая шелухой от семечек. Видно, здесь по вечерам собирались парни и девушки.

Я сел на скамейку. Тихо лопотала вода, воронками уходя под низкий мост. На том берегу желтело, чуть поднимаясь вверх, ржаное поле. По нему ползали два комбайна навстречу друг другу; у них уже были зажжены фары. До меня долетал ровный гул моторов.

Я хотел подумать обо всем. Принять какие-то решения. Разработать план действия. И вдруг ни о чем не захотелось думать. Безразличие накатило на меня. Нет, не безразличие. Не найду точных слов, чтобы все это объяснить. Я уже давно заметил в себе это новое душевное состояние, которое появляется у меня в деревне. Здесь я постоянно сталкиваюсь с какой-то, не знаю... прочностью, что ли, жизни. И с простотой, и с мудростью. И с сопротивляемостью меняющимся событиям дня, настроениям, нашей городской суете. Да, именно с сопротивляемостью. Кажется, все это в общем-то суровые люди, даже грубые, наверно. С нашей, городской точки зрения, конечно. Так вот. Я уверен, убежден — что бы ни случилось, они будут делать свое дело, бросать зерна в землю и выращивать хлеб, рожать детей, ходить за скотиной, доить теплых, добрых коров, топить печи, обмывать умерших и закапывать их в землю.

И в этом мудрость их жизни. И порука того, что будем мы все, будет страна и ее завтрашний день. И, понимая это, я чувствую примерно следующее: я могу искать что-то, ошибаться, заблуждаться. Впасть в отчаяние. Ничего не делать, чтобы набраться сил. Я это могу себе позволить. Потому что есть они, эти люди с темными от работы руками — они делают главное дело в жизни. За всех нас. И они исток всех нас. Исток всего нашего хорошего. И, наверно, всего нашего плохого. Мы в неоплатном долгу перед ними... А безразличие, которое рождается во мне здесь... Опять не найду слов. Это как бы внешняя форма этого нового душевного состояния. Я хочу, чтобы меня поняли правильно: если это — безразличие, то это — безразличие к себе. Вот именно — к себе! Будто тебя растворяет вся эта окружающая жизнь, неторопливая, постоянная, с каждодневными нелегкими трудами, заботами, простотой и определенностью. И всегда над тобой огромное небо, и простор такой кругом, в этих тихих полях, в пыльных проселочных дорогах, с васильками по обочинам, в лесах, где далеко-далеко считает тебе годы кукушка.

Сколько воли и пространства дано людям для жизни!..

— А вас давно ищут, — сказал надо мной звонкий голос.

Это была она: лукавые глаза, пухлые губы, совсем светлые волосы упрямо лезут из-под платка; пестрая кофта и серая юбка. Еще, оказывается, смешные детские веснушки на щеках и лбу. И совсем она молоденькая, гибкая, как пруттик.

— Кто же это ищет? — спросил я.

— Ну этот ваш. — Ее глаза так и бегали по мне. — Старый. Возле правления он.

«Это у нее Фролов старый».

Мы пошли рядом.

— Как вас зовут? — спросил я.

Она вспыхнула. Видно, ее никогда не называли на «вы». Правда, смешно: девочка еще совсем.

— Катей. — Она опять стрельнула в меня своими хитрющими глазами. — А вас?

— А меня Петром.

Она засмеялась.

— В чем дело, Катя?

— В вас все наши девчонки влюбились.

«Так», — весело подумал я. И спросил:

— И вы?

— Конечно! — Она даже с обидой посмотрела на меня. — Знаете что, приходите сегодня в клуб. У нас по вечерам танцы. И мы с вами твист станцуем.

— А вы умеете?

— Ну! — Она остановилась. — Конечно, умею. Смеху-то будет! Толька сохнет от зависти.

— Это кто же такой?

— Да жених мой. — Она пренебрежительно махнула рукой. — Грозит: «Если тебя с кем увижу, убью и тебя и его». Вас-то он постесняется.

— Сколько вам лет, Катя? — спросил я.

— Мне? Семнадцать. А что?

— Да ничего. Вы еще в школе?

— Не. В прошлом году восьмой класс кончила. А сейчас телятницей. Вот, видите? — Она показала мне опухший указательный палец. — Телок Тушкан прикусил. Он любит мои пальцы сосать. За мной, как собачонка, бегает. Не запру в загоне, он за мной — до дому. Даже от ребят неудобно. Смешной он: пе-

генький и звездочка во лбу. А сегодня взял и прикусил мне палец. Такой дурак.

— Что же вы, Катя, дальше учиться не хотите?

Она опять остановилась, исподлобья посмотрела на меня.

— Не знаю. Иван Матвеевич посылает в техникум. Да мне неохота. В город надо ехать. Не люблю я у вас. Везде дома, не видать, как солнце встает. И все спешат куда-то. А у нас привольно. И, если ехать, телят бросать надо. Они, знаете, такие веселые, ласковые. Не телятки, а картинки. Честное слово! — Катя засмеялась.

— Катя, а вы книги читаете? — спросил я.

— Не. Скучно. Наша училка по литературе, Татьяна Ивановна, хорошая женщина, только старая, дала мне «Войну и мир» почитать. Говорит, для всеобщего развития. Толстенная книга. Знаете, ее граф Лев Толстой написал. Граф! Вот потеха-то! Я полистала — скучно, ничего не поняла. Бросила. Да и некогда мне читать. Я к своим телятам в пять утра встаю. А вечером на улицу надо. — Она задумалась. — Петр, вы драться умеете?

— А что?

— Если Толька с кулаками. Он здоровый. Вы его как-нибудь самбо, через голову. Вот смеху будет! А вообще он парень ничего, смирный. Я его еще немного повоюю, а потом, может, замуж. Ведь все выходят, правда? — Катя вздохнула.

— Выходят. Только зачем так спешить. Еще успеете замуж.

Она, кажется, не слушала меня. Думала о чем-то своем.

— А еще знаете что? — Катя схватила меня за руку крепкой ладошкой. — Можно, когда совсем стемнеет, за наш коровник пойти. Там кучами старая солома свалена. И вот мы солону поджигаем, а из-под нее мыши целыми тучами так и стреляют. Обохохочемся!

Мы подошли к правлению.

Катя заметила, что держит меня за руку, смутилась, буйно покраснела, даже уши ее вспыхнули. Она отбежала чуть вперед и прошептала:

— Так придете на танцы?

— Не знаю, Катя. Вряд ли.

— Приходите! — сказала она. — У нас клуб, правда, плохой, наскрозь дырявый. Но Иван Матвеевич обещал к ноябрьским новый построить. А раз обещал, — сделает. Он не умеет обманывать.

И она убежала.

Участкового Захарыча у правления не было. Значит, Морковин никуда не ушел.

Фролов был возбужден. Он взял меня под руку, отвел к вылинявшей доске почета.

— Обошел семь дворов, — быстро говорил он. — Все в один голос: Сыч. И наш человек здесь имеется. Тоже на Морковина показывает. Только знаете, Петр Александрович, одна заваyka возникла.

— Что такое?

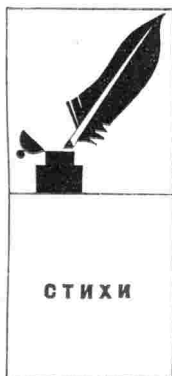
— Есть тут Зубкова... — Фролов волновался. — Зубкова Надежда Никитична. Крайняя изба по переулку. Так вот. Видела она, как утром у яблонь Михаил ссорился с Василием, то есть с Морковиным-младшим.

— Ссорились или дрались? — спросил я, чувствуя, что лицо покрывается испариной.

— Ссорились, говорит.

— Идемте к этой Надежде Никитичне.

(Окончание следует)



Олег
Чухонцев



✱

Душа чему-то противостоит —
Безверью ли, тоске иль вырожденью.
Но ей, как одинокому растенью,
В чужую тень склониться предстоит.

Взгляни, как сладко ягоды висят,
Но слаще среди них чужая ветка.
— Малина ваша проросла в наш сад,—
Через забор мне говорит соседка.

Да что малина, если с давних пор
И сорняки опутали округу,
И поле с лугом тянутся друг к другу,
И безоглядно тянется простор —

Куда! К чему! Не все ли нам равно! —
К земле чужой или к звезде горячей,
К неведомой, но чаемой давно
Какой-то бездне противостоящей.

Что делать, мы горим по одному,
Одной любовью души освящая.
Любимая моя, и ты чужая!
О, как тянусь я к сердцу твоему!

Повествование о Курбском

*«...Кладу перст на уста, удив-
ляюсь и плачу».*

(Из письма князя).

Еще Полоцк дымился от крови и смрада,
Еще дым коромыслом стоял в Слободе,
Еще царь домогался злодейств и разврата,
А изменник царев, как на Страшном Суде,

Уже смелую трость наострил на тирана:
«Аз воздам!» — и пришпорил язвительный
слог,

И на угольях — дабы озлить Иоанна,—
Как на адском огне, пламя мести зажег.

О, так вспыхнула речь, так обрушилось
слово,
Что за словом открылся горящий пролет,
Где одни головешки чернеют багрово
Да последняя голь на избитье встает.

Вот он, волчий простор! Несть людей
да людишек,
Но безлюдье гнетет, как в ногайских
степях:
Тот испанский сапог натянул — аж
не дышит,
Этот русский надел — ан и тот
на гвоздях!

Все остро — нет спасенья от пагуб
и пыток,
Все острее тоска, и бесславье, и тьма,
А острее всего — это малый избыток
Оскорбленной души и больного ума.

Чем же, как не изменой, воздать
за тиранство,
Если тот, кто тебя на измену обрек,
Государевым гневом казня государство,
Сам отступник, добро возводящий в порок!

Ибо кратко воздастся за помыслы наши
В царстве том. Я испил чашу слез и стыда.
А тебе, потонувшему в сквернах, из чаши
Пить да пить да не выпить ее никогда.

А тебе, говорю, потонувшему в сквернах,—
Слышишь звон по церквам, он сильней
и сильней —
За невинно замученных и убиенных
Быть позором Руси до скончания дней!

Князь глядит — а в лице у него ни кровинки
И такая зола, что уж легче бы лечь
Головой на неравном его поединке,
Чем — живым — на бесчестие душу обречь.

Только вздрогнул — взмахнула дурная
ворона
Опаленным крылом — и указывал взмах —
Уповать на чужбину, читать Цицерона,
Чтить опальных друзей и развешаться в прах.

А когда отойти, то оттуда услышать,
А когда не услышать, то вспомнить на слух,
Как надсадно кричит над литовскою крышей
Деревянный резной ярославский петух.

Монолог Каховского

Наше дело табак,
Коль из грязи да в князи
Вышло столько рубак,
Как собак на Кавказе.

Вышло столько хануг
Из холопов да в бары,
Аж спохватишься вдруг:
Что за иго — татары!

У, татарская Русь,
Самодурство да барство!
Я ли спицей сорвусь
С колеса государства!

Ты ль ударишь лицом
В грязь, в повальную слякоть,
Дабы перед концом
Невозможность оплакать,

Друг мой! Время темно
И неисповедимо:

Рано ли — все равно,
Поздно ли — все едино.

Наше дело табак!
Ну так что же — покурим,
Подымим натошак,
Посидим, потолкуем.

Друг мой! Жалость не в том,
Что надежды хороним;
Лишь бы жечь, а потом —
Сгинь хоть дымом холодным

Или пеплом пади
В холодеющих высях,
Только не отплати
Малодушьем за вызов.

И над хмурой страной,
Над равниной повальной
Промельк жизни иной
Вспыхнет в памяти дальней...

Чаадаев на Басманной

Как червь, разрезанный на части,
Ползет — один — по всем углам,
Так я под лемехами власти
Влачусь, разъятый пополам.

В парах ли винного подвала,
В кругах ли просвещенных дам
Влачусь — где наша не бывала!
А между тем — ни тут, ни там.

Да я и сам не знаю, где я,
Как будто вправду жизнь моя —
Загадка Януса — идея
Раздвоенности бытия.

Когда бы знать, зачем свободой
Я так невольно дорожу,
Тогда как сам я — ни йотой —
Себе же не принадлежу.

Зачем в заносчивом смиреньи
Я мерюсь будущей судьбой,
Тогда как сам я — в раздвоеньи —
И не бывал самим собой.

Да что тут я! Такой же масти,
Ползет — бессмысленно тупа, —
Как червь, разрезанный на части,
По тесной улице толпа.

Влачит свое долготерпенье
К иным каким-то временам.

А в сердце столько озлобленья,
Что лучше не встречаться нам.

Северный месяц

Я и сам не пойму, что к чему:
Что-то листья ложатся прохладно,
Что-то стало прохладней в дому —
Ну да что нам терять! Ну да ладно!

Ведь и так у зеленой Двины
На окраине бабьего лета
Мы пропаще с тобой влюблены —
Да еще и растерянность эта!

Ведь и так в двух шагах от беды,
Белой изморозью хорошея,
На траве проступают следы —
Да еще эти пальцы на шее!

Для того ли нас в глушь занесло
И свело под зеленою крышей,
Чтобы после листвою занесло
И засыпало выюгой притихшей!

Неужели когда-то потом
В этом крае, таком нелюдимом,
Только память затянется льдом,
Как домовые затянется дымом!

Только память падет на траву,
Как пороша на озимь густую.
Снег да снег... Закрывай-ка трубу,
Все уже прогорело вчистую!

Обращение к шарманщику Шаво из кабачка «Бетани»

Аллаверды к тебе, мой милый!
Ты видишь, я еще не пьян,
А потому в пирушке мирной
Хочу и я поднять стакан.

Ну кто не знает, северяне
Не любят говорить краснó.
Но — этот запах из марани...
Но — это красное вино...

И я бы жил анахоретом,
Но если теплится огонь,
Я так скажу: живи поэтом! —
И к сердцу прислоню ладонь.

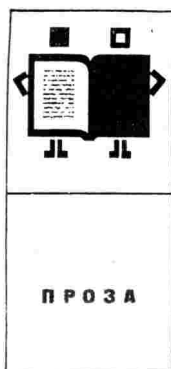
Давай, Шаво, крути шарманку,
Крути, выкручивай до дна!
Скажи, за душу наизнанку
Не мало ли — глоток вина!

За душу ребрами наружу
Не много ли — вина глоток!
Верти, верти, бери за душу,
Лей родниковый кипяток...

Спасибо, друг! Ты видишь, милый,
Как песне плачется легко
Над грибоедовской могилой
И над могилою Нико.

Быть может, если будем живы,
Мы вспомним как-нибудь потом,
Как вызывающе красивы
Мы были в дружестве своем.

Мы вспомним, как на горной выси,
Смотря за гибельный предел,
Мы пили за ночной Тбилиси,
А ты нам музыку вертел.



Лазарь Карелин

ПОВЕСТЬ

В ДОМЕ ОРУЖЕЙНИКА

Рисунки Р. Вольского.

Вот уже неделя, как Майя дома, у себя, в Москве. Раньше она не дорожила своей улицей. Пробегала ее, даже когда шла совсем медленно, глаза мимо всего пробегали, торопясь куда-то дальше, дальше — в интересное. Им, глазам, казалось, что тут не на что смотреть. Вот в каком-нибудь музее они становились зоркими. Или на спектакле каком-нибудь. Майя росла зоркой девочкой. И знала, что зоркая, и все родные и друзья ее это поняли. Оказывается, она не умела смотреть. Вот только теперь прорезалось у нее зрение. И Майя смотрит, смотрит. Ей не хочется далеко уходить от дома, не хочется покидать своей улицы. Здесь теперь все стало важным для нее, всякая малость. И Майя смотрит, смотрит. И вспоминает. Год прошел, как она не была здесь. Год — это очень мало, Майя не успела соскучиться. Она вспоминает не как соскучившийся человек, а иначе — живет горьким чувством, а не радостным. Она вспоминает время, когда была счастлива, не ведая, что счастлива. Вот среди этих домов. Она была девочкой, беспечным существом, и у нее были папа и мама. Было множество друзей, множество всяких дел. Был университет, ку-

1

да ездило, как на праздник. Всякий день — праздник. Весело было, легко, бездумно. Оказывается, то, о чем Майя думала тогда, о чем спорила, что утверждала, — все это была еще в полжизни жизнь. У всякого человека, должно быть, так начинается. Но потом что-то происходит в жизни человека, что-то большое, и он умнеет, взрослеет. Кто сразу, кто на частицу. Если очень не повезет, то сразу. Ей очень не повезло — она повзрослела сразу. Минувшей весной у нее умерла мама. Облучилась и умерла. Совсем молодая, ей только минуло сорок. Почему умерла? Чего добивалась она, когда ставила свои опыты, зная, что рискует жизнью? Чего, мамочка, ты добивалась? Наука? Это во имя науки? Тайна! Тайна! Папина и мамина наука сокрыта тайной. Даже дочь ничего не должна знать. Она знает лишь, что отец у нее известный физик, а мама у нее была — была! — самой лучшей, самой близкой его помощницей. Известный физик, у которого в шкафу висит пиджак, усыпанный звездами, медалями и орденами, точно генеральский, нет, маршалский мундир. Но вот странность: отец ни разу не вышел на улицу в этом пиджаке, даже в дни праздников ни разу. Из скромности? Нет, не из скромности, а потому, что это тайна, тайна, как велики ныне его заслуги...

А вот бредет по улице подвыпивший мужчина,

бедно одетый, неряшливый, но на пиджаке у него орден Отечественной войны. Один-единственный. И он им явно гордится. И этот орден оберегает его от пренебрежения прохожих. Всем ясно, что человек воевал и не был трусом. И если пьет сейчас и если опустился, то так уж сложилась жизнь, а возможно, у него горе. А если так и у него горе, то он не тает его, он, не таясь, вышел на улицу, на люди, и он даже заплакать может на людях. Ему проще, ему легче, ему привольнее живется на свете, чем ее отцу — уважаемому физику. И если у этого незадачливого человека есть дочка, то ей тоже проще, легче, привольнее жить на свете, чем дочери известного, с мировым именем ученого.

А ведь так было не всегда... Вдруг вспомнилось, как она гуляла здесь с мамой и отцом, вот по этой их улице. Вспомнилось одно лишь утро из множества. И всего одна, может быть, минута. Солнечный луч пересек асфальт, кленовый лист поплыл в воздухе, кружась и падая, и уткнулся ребром в траву.

И сейчас это все случилось: луч лег на асфальт, лист закружился в воздухе. И увиделась мама — тогдашняя, совсем еще молодая, похожая почему-то на студентку, хотя она уже сама тогда учила студентов. И отец стоял рядом с ней — длинноногий, в теннисных кедах, с расстегнутым воротом, смеющийся, как мальчишка, хотя он тогда уже был профессором. И увиделась девочка лет восьми, такая, как на фотографии, что висит в отцовском кабинете, девочка-сорванец с монетками ссадин на коленках. Эта девочка бросилась поднимать лист. «Осень, осень!» — закричала она. — «Золотая осень!» А за спиной стояли отец и мать и о чем-то разговаривали. И все это, все вместе, было счастьем.

А вот скамья перед старым домом с палисадником. Скоро снесут дом, упадет скамья. Но еще можно посидеть на ней, как когда-то, сто лет назад. Сестра, и посмотреть на окна их квартиры, и загадать, кто раньше покажется в окне — отец или мама. Собственно, это все равно — важно, что они оба дома, что в окнах свет, что там ее ждут. Пусть подождут. Она-то знает, что они рядом, а они пусть подождут.

Она села на скамью, поглядела на окна. Сперва у них было три окна, потом им прибавили еще шесть. Вот тогда-то, когда им прибавили еще шесть окон, еще три новых комнаты, объединив две квартиры, вот тогда-то все и началось. Тогда-то все и начало портиться в их жизни. Тайна вошла в их жизнь. Помрачнел отец, куда-то будто отодвинулась, стала уходить от нее мама. А она-то радовалась, дура! Радовалась и гордилась. Ну вот, гляди теперь на эти окна, на этот бесконечный оконный ряд, гляди и плачь. Какой-то парень на противоположном тротуаре, остановившись, остолбенело уставился на нее. Высокий такой парень, спортивный, благополучнейший. И чем-то очень знакомый. Она отвернулась. Эти счастливые похитатели земли все друг на друга удивительно похожи. Познакомилась с одним — считай, что познакомилась с целой серией. А в серии сколько их?

— Майя? — неуверенно окликнул ее парень. — Ты ли это?

Она быстро поднялась.

— Юра! Бог мой, Юрка Родичев!

Она протянула обе руки к парню, и тот бросился через улицу, будто совершая тройной прыжок, и вмиг очутился рядом.

— Майя, глазам не верю! И ты и не ты?! Повзрослела! Ну... — Он рассматривал ее и шевелил полными губами, не находя нужных слов, чтобы истолковать свое «ну...» — Скажи, ты случайно не замуж ли вышла?

Она улыбнулась коротко.

— Нет.

— Значит, вернулась? Надолго? Ты же перевелась в какую-то глухомань. Не понравилось?

— Я вернулась, Юра, вот и все. Как ты попал на мою улицу, как наши ребята? Пойдем ко мне, расскажешь.

Она взяла его за руку и повела за собой.

— Ты не спешишь, надеюсь?

— Ну что ты! Я так рад тебе! Нет, верно, Майя, ты дьявольски изменилась. Ты всегда мне казалась девчонкой, а теперь... — Парень снова беззвучно зашевелил губами, не находя нужных слов.

— Ладно, я поняла, поняла, — сказала Майя. — Расскажи лучше про наш курс. Знаешь, я ведь перевожусь назад.

— И умница! Глухомань не для таких, как ты.

Они вошли в подъезд дома.

— Пойдем пешком, — сказала Майя. — Я ненавижу лифт.

— Почему? — изумился Юра. — Лифт ведь не роскошь, а средство передвижения.

— Там кнопки, кнопки. Я ненавижу кнопки.

Парень присвистнул.

— Психология! Ну, ясно, дочь академика, физика — ей осточертели все эти пульты управления. А что, Майя, или я недогадливый? Психолог, а?

— Я забыла, ты кто у нас — бегун, баскетболист, велогонщик?

— Занятие для детей! Я альпинист, Майечка, покоритель вершин.

— Ах, да. А побоялся на четвертый этаж подняться без лифта.

— Так это естественно. Миллионеры, например, ходят в старых пиджаках. Из скупости? Нет. Из скромности.

— Чудное объяснение. — Майя отомкнула дверь. — Входи, Юра.

2

Она ввела его в большую комнату, заставленную совсем новой мебелью. И все здесь еще не нашло своего места, стояло и так и этак, как в мебельном магазине. Странно, дом обжит давно, а можно было подумать, что новоселье.

Юра стал оглядываться. Ему тут понравилось. Он попрыгал на диванных пружинах, побоксировал со своим отражением в зеркале буфета, разбежавшись, перемахнул через журнальный столик.

— Вот это вот комнатка! — От избытка чувств он развел руки и так и застыл, продолжая поводить глазами. — Два окна, балкон. Майя, ты, наверное, и не понимаешь, как тебе фартит в жизни!

— Да, да... Юра, ну так как же наши ребята?

— Живут — не тужат. Побывали летом на целине. Не все, конечно, только избранные. Я этой чести не удостоился. — Явно наслаждаясь, Юра блуждал между стульев и кресел, быстро проигрывая маленькие сценки. Он был и джентльменом с бокалом в руке, и лакеем, несущим поднос, и даже вот кокетливой дамой, акробатически изогнувшей стан. — Майя, ты видишь перед собой восходящую звезду московского КВН. Здорово изображаю?

— Здорово. — Майя не смотрела на него. Она как вошла в комнату, как присела на краешек дивана, так и не шелохнувшись, ссутулившись, чужая у себя дома, будто оробевшая.

— Майя, что с тобой? — Юра только сейчас при-

метил, что ей не по себе.— Слушай-ка, да ты никак плачешь?

— Ага. Не обращай внимания. Сейчас пройдет.

— Что случилось, Майя?

— Случилось?..— Майя подняла голову, перемогаясь.— Все очень просто... Просто у меня умерла мама, и я вернулась домой. Да не смотри ты на меня так! Садись. Ну вот хотя бы на этот стул. Правда, он похож на заважничавшего петуха? Смешно, отец думает, что мне это все нужно— эти вот кресла, шкафы, стулья. Юрка, перестань! У тебя все равно не получается, твое лицо, знаешь ли, не приспособлено для грусти. Ну сел, улыбнулся— вот и молодец. Рассказывай, как ребята.

— Но, Майя, я прямо не могу прийти в себя... Твоя мама... Ведь она... Ведь ей было каких-нибудь...

— Да, я и не могла бы там больше жить... А тут как раз отца отозвали назад в Москву. Ну вот... вот я и вернулась... А как ребята?

— Майя...

— Молчи об этом, молчи. Ну что ты? Что ты опять сочинил себе такое грустное лицо? Соболезнуешь? Ох, какое слово скверное!

— Майя, я вот что, вот что хочу тебе сказать...

Жаль, он все время переигрывал, изображая грусть. Юра, дружок, ничего не надо изображать, тут ведь не КВН, доверься собственному чувству. Если тебе грустно, то лицо твое и само скажет об этом. Не актерствуй, Юра, прислушайся получше к самому себе. Ну что там у тебя внутри?

Майя улыбнулась ему. А может, ей показалось, что улыбнулась? Ей часто теперь кажется, что она улыбается людям, а вот люди этого не замечают и ободряют ее: «Не грусти!» «Да нет же,— говорит она, сердясь.— Я не грущу, я вот даже улыбаюсь. Разве вы не видите?» И потом, сколько ненужных слов умеет сказать человек, когда заговаривает не о собственной беде. «Чужую беду— рукой разведи». Как это верно!

Но Юра так томился, пребывая в молчании, что Майя решила помочь ему немножко.

— Что это у тебя за значок?— спросила она и улыбнулась невидимой улыбкой.

— Значок альпиниста. За восхождения. Такой значок просто-весело не добудешь.— Юра оживился, готовясь повествовать и повествовать. Уж про горы-то, про всякие там скалолазные дела говорить он мог с легкой душой хоть целый час.— Вот слушай, задумали мы прошлым летом взять в лоб одну горочку...

Майя слушать не захотела, ее иное заинтересовало.

— Смешно, почему это мужчины любят нацеплять на себя всякие там железки?— сказала она.— Ну, забрался на гору— и ладно, и будь собой доволен. А зачем же значок? Похвалиться?

— Конечно.

— Я, мол, смелый, я лучше других?

— А что, пускай попробуют.

— И математиком значки и физикам? Они, мол, умные, самые умные, самые-самые умные...

В передней щелкнул замок, послышались шаги, голоса. Мужской и женский. В комнату еще никто не вошел, слова вошедших были неразборчивы, но голоса уже начали как бы рисовать своих владельцев. У мужчины был голос сдержанно-властный и какой-то рассеянный. Ну, конечно, это голос Майиного отца, академика чуть ли не с тридцати лет, вершителя каких-то громадных дел. А женский голос был чуть-чуть веселее, чем хотел. Этот голос подбадривал, родственно опекал. И еще угадывалось, что этот голос принадлежит красивой

женщине. Голос красивой женщины всегда звучит по-особенному, в нем живет какая-то певучая нотка, которая говорит всем, возвещает о красоте своей хозяйки.

— Отец,— вставая, сказала Майя.— А с ним моя тетушка—его сестра.— Майя пошла к двери.— Юра, не проговорись, что знаешь о нашем горе. Папе тяжело... И потом... Посиди тут, я сейчас.

Она вышла, а Юра Родичев рывком поднялся из кресла и стал разминаться, как человек, освободившийся от непомерной тяжести.

— Ну и разговорчик!— пробормотал он.— Да, трагично...— Он пошел по комнате.— Господи, во что это только люди деньги не вбивают!

Подойдя к книжному шкафу, что стоял нелепо посреди комнаты, Юра приладилился, нажал плечом и начал потихоньку двигать его, направляя туда, куда и следует,— к стене. Он так увлекся этим занятием, что не заметил, как отворилась дверь и в комнату вошел Майин отец.

Он был таким, каким и ожидался Юрой: молодогохудощавый и стройный, а голова седая. Такие до старости хорошо играют в теннис. И до старости нравятся женщинам, что несправедливо. И у них твердый, упористый взгляд экзаменаторов. Академик, черт побери! Юра не умел долго смотреть в такие глаза. В экзаменующие тебя глаза. Но Юра нашелся, недаром же он был восходящей звездой московского КВН.

— Профессор,— сказал он, кланяясь и расшаркиваясь,— я забыл зачетку. Вот беда, забыл ее в другом пиджаке.

Майин отец улыбнулся. Взгляд его не смягчился, глаза знали свое дело и продолжали экзаменовать парня, но губы у профессора улыбались.

— В ваши годы, молодой человек, у меня был всего лишь один пиджак, и, может быть, поэтому я никогда не забывал зачеток.

Игра началась!

— В ваши годы, профессор, чтобы получить высшее образование, надо было знать треть того, что приходится познать нам—нынешним,—нагло заявил Юра.

— Хорошо, облюбуйте свою треть знаний и приходите ко мне через месяц.

— Но, профессор, меня снимут со стипендии.

— В ваши годы, дорогой мой, мы довольствовались третью того, что имеете теперь вы. И вообще подрабатывали на разгрузке вагонов.

— Но нынче только в стихах студенты разгружают вагоны. А в жизни это делают транспортеры.

— Транспортеры часто ломаются, ведь их конструируют инженеры вашего типа.

— При чем тут я? Я филолог.

— Проиграл! Проиграл!— В дверях стояла Майина тетка и радостно хлопала в ладоши.— Раз оправдывается, значит, проиграл! Эх, а какие были у вас возможности, юноша, без всякого риска обскатать академика! Уж я бы в этой дуэли не спавала.

И Майя тоже стояла в дверях и тоже сочувственно покивала Юре: мол, счет не в твою пользу.

Но и тут Юра попытался вывернуться:

— Я не знал, что включен эфир. Я думал, идет прикидочка.

— Прикидочка в остроумии!— возмутилась Майина тетка.— Фу, молодой человек! Ведь остроумие не репетируется.

Она подошла к Юре, царственным движением протягивая ему руку, и, так как терять ему было уже нечего, он склонился и поцеловал ее руку, демонстрируя в этом деле полную свою неумелость.

— Ну хоть тут без прикидочки, — смягчаясь, сказала Майина тетка. — А звать меня Еленой Николаевной, а брата моего — Павлом Николаевичем. Запомните?

Да, она была хороша собой, все еще хороша собой, хотя уж и немолода. А впрочем, есть женщины, которым можно простить лишний десяток лет. Елена Николаевна была как раз такой женщиной. И Юра уставился на нее, готовый влюбиться, если только посулит ему надежду. Ответный взгляд ничего ему не посулил. Как у братца глаза. Экзаме- нующие!

Юра потупился. А попробуй пересмотри такую!

— Ну, ну, не робейте. — Елена Николаевна обернулась к Майе: — Машенька, ты хоть ела что-нибудь без нас?

— Нет, не хотелось что-то.

— Ну, вот! — Елена Николаевна вдруг устало опустилась на диван. — Скажи, дружок, что мне с тобой делать?

Она обращалась к Майе, а смотрела на брата. И тот тоже понурился, стал сам на себя не похож, старым вдруг стал, несчастным. Что за беда? Девушка забыла ввести в себя лишнюю сотню калорий? И из-за этого такая мимическая сцена в духе греческих трагедий? Вот вам и обладатель стального взгляда. Вот вам и самонадеянная красавица, правда, малость старше, чем хотелось бы. Вот вам и счастливейшие из смертных. И тут Юра все вспомнил. Он, кретин, и забыл, какая беда обрушилась на этот дом. Как это он мог забыть?! А потому, что люди эти не позволяли себе раскисать. А потому, что они шутили с ним, и он, кретин, подумал, что они шутят с ним, а они только то и делали, что пытались развлечь Майю. А он-то отшучивался, оскорблялся, красовался. Ну и дурак! Наиглупейший из глупцов!

Юра ринулся спасать положение. Он погибал от стыда. Можно себе представить, что думает о нем академик и эта его зоркоглазая сестрица. О Майе и говорить нечего. Он теперь для нее не человек. Так, балбес со значком, однокурсничек из скудоумных. Юра пригорюнился самым искренним образом, не играя. Ему и себя стало жаль за дружость свою, за нетонкость, за то, что столь низко пал в глазах великого человека. Ему и этого великого человека стало жаль. Вот сидит в своем заграничном замшелом пиджачке, утонул в нем, ни плеч, ни рук будто нет, и шея у него, оказывается, тонкая, старческая, поросла седыми волосками. А красавица совсем сникла, больно на нее смотреть. Старая, уставшая тетушка — и только. А Майя, бедная Майя!..

— Да, — горестно вздохнул Юра. — Да... А знаешь, Майя, из нашей университетской группы альпинистов этим летом погибли два парня... Отличные ребята. Осып. Один сорвался, ну и другой за ним на веревочке. Их только через неделю нашли на дне пропасти. Вообще если посчитать, то горы и теперь берут свою дань людьми не хуже языческих богов. Да вот хотя бы Ташкент... Да что там Ташкент! А в Ашхабаде в сорок восьмом! Там, говорят, десятки тысяч жертв были. Горы, горы! Знаешь, я чуть было в этом году не рванул на Памир. А там, ты, наверное, читала, там тоже порядком трянуло. Судьба! Человек не знает, что его ждет...

— Увы и ах! — насмешливо сказала Елена Николаевна. — А вы, Юрочка, оказывается, грустнейшая личность. — Она вскочила, повеселев мигом, будто с любовью Райкина сняла с лица маску «безысходность» и надела маску «беззаботность». — Так что же, друзья, вы думаете, я сюда примчалась из Питера слезы лить? Представляете, Юрочка, живу я

себе не тужу в славном городе на Неве, как вдруг — бац! — телеграмма: срочно приезжай! Приказ старшего брата — закон. Мигом раздобываю отпуск, благо, я не из незаменимых, кидая дюжину платьев в саквояж, туда же фамильные драгоценности — и на аэродром. А там, сами знаете, скрежет да грохот да легкая тошнота — и вот уж и столица. Явилась! — Елена Николаевна поднесла руку ко лбу, лихо отковыряв. — Отрапортовала: жду, мол, ваших приказаний, товарищ командующий! А он командующий, мой братец, да еще какой! Вот он и скомандовал: «Будем жить теперь вместе». И весь разговор! С любимой работы — долой. Из колыбели революции — долой. Друзей-приятелей — по шапке. А зачем? Ради чего эти жертвы, если моя драгоценная племянница не желает меня слушаться даже в ничтожных пустяках? Скажите, Юрочка, должен человек есть или нет?

— Обязан! — сказал Юра.

— А спать?

— Обязан.

— А смеяться или хоть изредка улыбаться, если этому человеку всего-навсего двадцать лет?

— Обязан, — сказал Юра.

— Слышишь, Майя, это тебе не я говорю, не какая-то там устаревшая тетка, а твой товарищ по курсу говорит. Да, кстати, ведь у отца для тебя замечательная новость! Павлик, что же ты, рассказывай!

— Сейчас, сейчас. — Павел Николаевич подошел к поникшей дочери, подсел к ней близко, взял за руку. — Вот, Майя, ты и снова студентка Московского университета.

— Перевели? — спросила Майя, не поднимая головы.

— И даже не слишком долго сопротивлялись! — ликующе возвысила голос Елена Николаевна. — Павла принял сам ректор!

— А я и не сомневалась, что переведут.

— Но ты не представляешь, как это все выглядело! — Елена Николаевна не желала замечать уныния племянницы. Елена Николаевна радовалась и за нее и за себя. Она и за брата радовалась, тоже вдруг приунывшего. Она и за Юру Родичева радовалась, поскольку тот еще не успел изобразить на лице должного восторга.

— Едва была произнесена фамилия твоего отца... Я была с ним и все видела. Так вот...

Майя перебила Елену Николаевну:

— А я и не сомневалась...

— Все же следует помнить, что я тоже учился в Московском университете, а потом преподавал там некоторое время, — сказал Павел Николаевич. — Видимо, поэтому...

— Нет, отец, не поэтому.

— Мало ли кто там учился, — поддержала племянницу Елена Николаевна. — Ладно уж, не скромничай, Павлик.

— А ему нельзя не скромничать. — Майя резко поднялась, подошла к Родичеву. — Вот глядите: у Юры значок альпиниста на пиджаке, и всем ясно, что обладатель этого пиджака — альпинист. И все просто. А у моего отца все значочки, все эти ордена его и медали спрятаны навеки в шкаф. И все совсем не просто. Но если так, то...

— Майя, довольно, пожалуй, — сказал отец и тоже поднялся.

— Вот видишь, Юра, мне и слова нельзя сказать. А ты, кажется, мне позавидовал. Вот видишь...

Все сейчас смотрели на Юру, и Майя, и ее отец, и Елена Николаевна, будто Юра мог что-то такое промолвить, что всех бы выручило. И Юра напрягся,

всю свою находчивость мобилизовал, весь свой ка-
везновский опыт.

— Майя, имеется предложение звякнуть ребятиш-
кам!— бодро начал он.— Ну всем, кто есть в Моск-
ве. Зачем? Как зачем?! Надо же отметить твоё воз-
вращение в альма матер! Впрочем...— Тут Юра при-
стально посмотрел на Павла Николаевича, готовый
и снять своё предложение, если тому оно не понрав-
илось. Чуть поколебавшись, Юра понял, что его
предложение одобряется, и окончательно воодуше-
вился.— Соберемся, а?!

— Соберемся!— радостно подхватила Елена Нико-
лаевна.— Какая светлая, просто альпинистическая
идея! За мной, альпинист! За закуской и легкими на-
питками! Телефонная книжечка у вас, надеюсь, при
себе?

— Нужные номера имею обыкновение помнить на-
изусть.

— Тогда вам цены нет!— Елена Николаевна схва-
тила Юру за руку и решительно направилась с ним
к дверям.— Павлик, терпи! Таков твой удел! «Что за
комиссия, создатель, быть взрослой дочери отцом!»...

Эту фамусовскую тираду Елена Николаевна вы-
крикнула уже из коридора. Затем хлопнула дверь
на лестницу, послышались сбегающие шаги. Павел
Николаевич, наклонив голову, прислушивался ко
всем этим звукам.

3

Отец и дочь остались вдвоем.

— Какой громадный запас энергии в моей сест-
ре,— сказал Павел Николаевич.— И все это поч-
ти впустую. Обидно.

— Почему обидно?— спросила Майя, разом
вспыхнув от этих слов.— Потому, что тетя Лена ни-
когда не участвовала в каких-то там замечательных
ваших опытах и открытиях? Потому, что она обык-
новенная, самая обыкновенная женщина? Но ведь
если бы мама была такой же, она была бы сейчас
жива. Подумай, была бы жива!

— Да, да... Так, это так...— Павел Николаевич по-
брел по комнате, уходя от дочери. А она в запаль-
чивости выпрямилась и ждала, когда он обернется,
чтобы обрушить на него бог ведаёт ещё какие горь-
кие, беспощадные, сокрушительные обвинения. Он
не обернулся, он уходил все дальше. Благо, уходить
было куда. И он в самый дальний угол зашел. И сел
там на подвернувшийся стул. Сел боком, нетвердо,
жалкий и незнакомый. С длинными, худыми руками,
высунувшимися из рукавов модного пиджака, с ост-
рыми коленками неуклюже согнутых ног. Да кто это
там в углу?! Отец?! Ее герой, оракул, ее скала-опо-
ра?! Майя не поверила глазам своим, моргая, под-
бежала к отцу.

— Прости... Мы вернулись домой, и все вспомни-
лось... Все опять вспомнилось... Отец, можно, я спро-
шу тебя?

— Спрашивай.

— Скажи, зачем?..

— Что «зачем»?

— Вот все, что ты делаешь, что погубило мою ма-
му, что каждый час, каждый миг грозит и тебе?

— Ты проще, нет, легче не можешь спросить?

— Нет.

— Хорошо, я тебе отвечу.— Павел Николаевич от-
странил дочь, сел поправее, обретая себя, свой об-
лик. Иногда это совсем не просто— всего лишь вы-
прямиться на стуле и посмотреть в глаза собеседни-
ку, выдерживая его требовательный, испытующий,

обвиняющий, горький взгляд. Но ты отец, вот и дер-
жись, это ведь дочь на тебя так смотрит. Вот и дер-
жись и отвечай, забыв о собственном горе.— Хоро-
шо, я отвечу. Я берег тебя от таких разговоров. Де-
вочка и девочка. Помнишь, сколько было этих твоих
«почему»? Помнишь?

— Наверное, целый миллион,— сказала Майя, и
вдруг ей захотелось оборвать этот разговор. Повер-
нуться и убежать. Она поняла вдруг, с безнадежной
ясностью поняла, что слова, слова ничем не помо-
гут ее горю и ничего не объяснят ей, ибо это будут
всего лишь слова, слова...— Папочка, ничего не нуж-
но говорить! Прошу тебя, не нужно!

Но слова, слова иногда необходимо произносить
даже и самым умным людям, которые уже давно
поняли всю тщету слов, когда наступает тебя несча-
стье. Даже самые умные люди, самые мужествен-
ные, самые одержимые своим делом подвержены
иногда слабости словоговорения. Это от усталости,
пожалуй. Майин отец устал.

— Нет, слушай,— сказал он.— Нет уж, теперь слу-
шай. Ты хочешь знать, зачем я, человек науки, чело-
век, которому дано было созидать, занялся делом
разрушения, созданием самого смертоносного в
истории людей оружия? Ты спрашиваешь, не безу-
мие ли все это? Спрашиваешь, потому что имеешь
право на этот вопрос. Тебя уже обездолило это ору-
жие. И ты обращаешь ко мне свое «почему», свое
«зачем», вкладывая в эти вопросы и свое «обви-
няя».— Павел Николаевич поморщился. Слова, сло-
ва!

Майя видела, что отец мучается, что ему трудно
говорить. Так зачем же? И ей был труден этот раз-
говор, нестерпимо труден. Но он уже начался, этот
разговор, и теперь его невозможно было остановить.

— Отец, пойми!...

— И у тебя есть союзник в этих обвинениях. Убеж-
денный союзник.

— Кто он?

— Я твой союзник, Майя, я сам...

— Это правда?

— Правда.

— Тогда зачем же все это продолжается? Отка-
жись! Ну прошу тебя, откажись! Тебя отпустят! Ты
столько уже всего сделал, ты столько лишился—
тебя отпустят!

— Кто, доченька, кто должен меня отпускать? Я
на привязи у самого себя.

— Долг?

Майя увидела, как вздрогнуло лицо отца от этого
ее вопроса, замкнулось. Что так? Или иные вопросы
и задавать нельзя, поскольку наперед известен от-
вет? Или, может быть, есть такое правило из непи-
санных между близкими людьми, по которому нельзя
слишком уж к горлу подступать со своими вопро-
сами?

— И куда, скажи, куда этот долг тебя приведет?—
спросила Майя, дивясь, что спрашивает, хотя вовсе
не хочет больше ни о чем спрашивать отца, видя,
как ему трудно отвечать. Не хочет, а спрашивает.

— Не знаю,— сказал Павел Николаевич.— Вот это-
го я не знаю.

— О чем же вы думали, вы, ученые, когда изобре-
тали свои бомбы?! О чем вы думали?!

— О разном, Майя. Каждый из нас думал о сво-
ем и по-своему. Супруги Кюри думали о науке, о
самом притягательном в науке да и во всяком че-
ловеческом деянии: об открытии нового. Опленгей-
мер думал уже о бомбе, и только о бомбе, ибо его
страна тогда воевала. Он думал о победе, может
быть, о возмездии. Он был еще ученым. Кончилась
война, и он остановился. Не бог весть какой челове-

колюбец, но и он остановился. И тогда появился Теллер — этот нацист в Америке. Теллер думал уже о супербомбе, он думал о мировом господстве. Даже своим приверженцам он казался одержимым. И он сделал эту бомбу, Майя. Видишь ли, он ее сделал. Павел Николаевич посмотрел на дочь, жалея ее, жалея, что затеялся у них этот тягчайший разговор. О чем разговор? У девочки погибла мать, она спрашивает: «Почему?! За что?!» — а он толкует ей о каком-то одержимом из Соединенных Штатов. А иначе ничего не объяснишь. Ни ей, ни себе самому.

— А ты о чем думал, отец? — спросила Майя.

— Я думал о защите. И твоя мама тоже. Мы шли вместе...

— Но ведь война давно кончилась. Почему же вы не остановились?

— Потому, что появился Теллер. И еще кое-кто. И там и тут — успевай только оглядываться.

Павел Николаевич поднялся и пошел из комнаты, зная, что дочь смотрит ему в спину, и чувствуя себя старым, усталым, беспомощным что-либо объяснить до конца. И когда он притворил дверь, ему почувствовалось, что Майя протяжно проговорила ему вслед: «Слова! Слова!» Ему, конечно, это только почувствовалось. Дочь не могла произнести такое...

4

Вот они, ее университетские друзья. Все собрались, кто оказался в Москве, чтобы развлечь, утешить ее, как сможет. Юра, конечно, им все рассказал, взяв клятву, что не проболтаются. И они не пробалтываются, они ведут себя, как на настоящей студенческой вечеринке, где магнитофон, где есть что выпить, где одни танцуют, а другие беседуют, где в общем и в целом должно быть весело. Но вот что-то невесело на этой вечеринке. Да, все тут есть: и разговоры, и танцы, и улыбки, — а веселья не получается. Эх, зря ты, Юра, проболтался!

Майя подошла к своей самой близкой подруге той еще счастливой поры, которая оборвалась год назад. Совсем не переменялась ее Галка за этот год. Будто вчера только расстались. И платье, кажется, на ней все то же. Нет, платье другое, но покроя все тот же. Ее Галка консервативна. На третий курс переклалась, а все школьница. У школьниц свой, особый почерк в жизни. Школьницы категоричны, самонадеянны, правдолюбивы. Если, конечно, это школьницы из первых в своей школе. А Галка была из первых. И в университете осталась из первых. И сразу же ее выбрали там комсоргом. И она сразу же освоилась в громадном старом доме, во всех его комнатах и коридорах и на лестницах. Маленькая, щупленькая, с бантиками в косичках — ну школяр, да и только, — Галина Демина стала заметной на их курсе личностью. Просто загадкой было, когда Галка все-таки успела среди всех своих общественных дел влюбиться в очкастого шахматиста Сашу и выскочить за него замуж. Сашка был тоже здесь. Вон засел в уголок, достал карманные шахматы и что-то там бормочет под нос, сам себя обыгрывая. Не от мира сего? Как бы не так! И он личность. Отличный шахматист — раз. Полиглот, знает, кажется, с десятков языков — два. И еще даже на рояле играет, и вполне сносно для филолога. Гармоничная личность! Жаль только вот, слишком сутулая и очкастая. Милые вы мои, как хорошо, что вы пришли!

— Сядь, Майя, посиди со мной, — сказала Галя. — Что ты все бродишь из угла в угол и оглядываешься? Не узнаешь нас? Изменились?

Майя, понурившись, покорно села рядом с подругой.

— Нет, моя милая, так у нас не пойдет! — решительно сказала Галя. — Возьми себя в руки, слышишь? Я на тебя миллион дел с первого же семестра навалю. Тебе просто некогда станет голову опускать. Что за хандра? Майка, постыдись! Девахе двадцать лет, а она...

— Не притворяйся, ты же все знаешь, — сказала Майя. — И молчи, пожалуйста, молчи, мой бодрый комсомольский вождь.

— Юра! — позвала Галя, быстро опуская глаза. — Да Юра же! Ну где твое хваленое умение развлекать?

— А оно еще проявится, дай срок! — Юра Родичев, танцуя, приблизился к ним. — Такой сюрприз вам подготовил, что ахнете! Зиночка, умоляю, танцуй оживленнее. Это же твист, а не танго эпохи Леонида Утесова.

— Убирайся! — Партнерша Юры, высокая и, верно, медлительная в движениях девушка, остановилась, обиженно уронив руки. Подумала чуть, следует ли ей обидеться всерьез, и вдруг улыбнулась, глянув на Юру такими прощающими, такими лучистыми глазами, будто это был вовсе не шалопут Юрка Родичев, а некая светлая личность, достойная обожания.

— Любит, а? — хвастая перед Майей и Галей, кивнул на Зину Родичев. — На поводочке, а?

— Дурачок ты, — сказала Зина, и синие ее глаза сердито потемнели. — Но ведь известно: русские бабы любят дурачков. — Она опять надулась, раздумывая, обижаться ей всерьез или не стоит, и решила: не стоит.

— Счастливые, — сказала Майя. — Какие вы все счастливые!

Она поднялась, взяв Галю под руку, и они пошли через комнату, обходя танцующих, которые, конечно, не пробалтывались, что все знают, но слишком уж поспешно угасали, когда Майя взглядывала на них, и даже переставали танцевать, уступая ей дорогу.

Майя подошла к балконной двери, распахнула ее и сразу озябла, свела плечи.

— Холодно! Вот и осень... Золотая осень... — Она запрокинула голову, чтобы слезы не выкатились из глаз, и быстро шагнула за балконную дверь, чтобы никому не мешать. — Пойди потанцуй со своим Сашей, — сказала она подруге. — Иди, иди, я сейчас вернусь.

Она вышла на балкон и плотно притворила за собою дверь, спиной упершись в нее. В холодноватом ночном небе плавали, покачивались звезды. Майя тряхнула головой, слезы вылились из глаз, и звезды в небе перестали плавать и покачиваться.

А внизу тянули гусиные шеи фонари. Их матовый свет казался облаком. Майя на балконе была над облаком, а там, внизу, жила вечерняя улица, Майина улица, неведомая ей, хоть это и была ее родная улица. Майя наклонилась и стала смотреть, что же там за жизнь идет в этот вечерний час. И странно, ей показалось, что перед глазами поплыл какой-то фильм. И ей показалось, что и она играет в этом фильме. Но только забыла его сюжет и не знает, что будет в фильме через минуту. Но фильм шел, и она узнавала. И сама участвовала в нем, и те, что сейчас танцевали за балконной дверью, они тоже участвовали в этом фильме. И что-то должно было сейчас произойти, ибо в фильмах так не бывает, что бежит пленка, а ничего не происходит.

Но улица была пустыня. Это вообще была улица не из шумных, сюда хорошо было по вечерам забредать влюбленным. Нет, не было и влюбленных. Всего-навсего одного только человека увидела Майя под своим балконом. Она знала этого толстого, бодрого еще старика с круглой лысой головой. Не знакома была с ним, а знала в лицо. И он ее знал. Он даже ей кивал при встрече. Весьма сдержанно, покровительственно, но и уважительно. Сдержанно — потому что незнакомы, покровительственно — потому что девчонка еще, уважительно — потому что наверняка знал, кто ее отец. Вот как он кивал. Румянощекий, коренастый, крепкий, этот человек, по-видимому, сейчас уже был на пенсии. Сил в нем чувствовалось премного, но он уже был на пенсии. А то, что он был на пенсии, это угадывалось сразу. Он ходко шел по улице, но никуда не спешил. И он за все цеплялся взглядом. И транзистор у него висел на плече, прирос как бы к нему. Транзистор этот и сейчас был в руках у своего хозяина. И Майя даже услышала его негромкий голосок. Про что это он там бубнит? Она перегнулась через балконные перила, чтобы услышать. Маленький ящикек выкрикивал что-то сердитое. Слов было не разобрать, но они были явно сердитые. Пьеса какая-нибудь? Майе вдруг стало жаль своего соседа. Она посочувствовала ему: одинокий, наверное, не с кем даже словом перемолвиться, вот и слушает часами своего лилипута на ремешке, про что бы тот ни болтал.

Но фильм идет, лента сматывается, а ничего не происходит. Так не бывает в фильмах...

Майя увидела, как пересек улицу, направляясь к ее соседу, какой-то человек, судя по стройной тени, молодой и высокий. Человек этот шел медленно и озираясь, он что-то тут искал, на их улице. Вот он поравнялся с пенсионером. Круглая тень и длинная поклонились друг другу, и длинная тень, поведя рукой, о чем-то спросила. А круглая вдруг замерла и насторожилась. Ага, вот и началась драматургия!

Но Майя не могла услышать, о чем разговаривают молодой человек и пенсионер. Она только знала, что разговор этот не может быть совсем уж пустяковым: ведь шел фильм.

С балкона Майя увидела, как тени суховато поклонились друг другу и затем длинная тень исчезла в ее подъезде. Фильм продолжался. Этот незнакомец, конечно же, держал путь к ней, к Майе. А как же иначе? Фильмы не обрываются ни на чем.

Майя вернулась в комнату. Там танцевали. Ах, это веселье, когда невесело, когда какое-то общее смущение владеет всеми! Притворство, притворство. И тетя Лена тоже танцевала. С Юрой. Тетушка стара-



тельно извивалась, приседая, и старательно улыбалась, устало сутулая и старенькая. Увидев Майю, она бросилась к ней.

— Ты там не заledenела, девочка?

— Что это ты танцевала? — спросила Майя.

— Твист. Совсем нетрудно, оказывается.

— Нет, трудно, — сказала Майя. — Ага, вот и лифт остановился! — Она нервно выпрямилась. — Сейчас будет звонок.

И верно, в прихожей прозвучал звонок. Ну просто звонок. Чего же так пугаться, вздрагивать?

— Кого еще бог послал? — Елена Николаевна пошла отворять.

Ее опередил Юра.

— Я, я открою! Это, надо думать, мой сюрприз явился. Народ, приосанься! — И он выбежал в коридор.

Фильм, продолжал идти фильм... Все вокруг игра-

ли свои роли, и Юра вот играл свою роль, и человек, которого Майя видела с балкона, теперь должен был явиться перед ней и тоже сыграть свою роль. Майя приготовилась: и у нее в этом фильме была какая-то роль. Но она еще не знала, какая. Она замерла в ожидании.

Распахнулась дверь, и, как герольд, встал в дверях с поднятой рукой Юра Родичев.

— Дэвид Лэм! Соединенные Штаты Америки! — провозгласил он.

Сутулясь, застенчиво улыбаясь, в комнату вошел молодой человек лет двадцати двух, длинный до нескладности, какой-то мило-неуклюжий, с простодушным, умным, серьезным лицом. Рыжеватый и синеглазый. Он был в строгом вечернем костюме, который не шел ему. Воротничок и галстук слишком подчеркивали его длинную шею.

Майя глянула на заокеанского пришельца, и ей захотелось подбежать к нему и сдернуть галстук, растегнуть тугой ворот рубахи. Это было первым из движений, первой ее мыслью, когда она увидела Лэма.

А он тем временем раскланивался, делая это с непринужденностью светского юноши и с милой неуклюжестью длинноногого подростка.

— Здравствуйте. Простите, я несколько запоздал. Незнакомый город... — Он хорошо говорил по-русски, просто отлично говорил, но в каждом слове его жил чужой язык, иная, нерусская музыка слова, и, может быть, потому Майе почудилось, что он говорит на своем родном языке и в переводе говорит вот что: «Я смущен, я очень взволнован... Я совсем один здесь, в этом чужом, незнакомом мире...»

Магнитофон забыли выключить, и битлсы продолжали изнывать в крике. Майе стало страшно за них, они уже заступили черту, зашли за тот звук в голосе, который еще выдерживает горло. А они тянули все дальше, изнемогая, погубительно, пугающе.

Майя решила и шагнула к Лэму. Обмерев от неловкости и бессильная себя удержать, она вскинула руки, жалко улыбнулась ему и сдернула с него галстук, непослушными пальцами растегнула негнущийся ворот.

— Вам так будет проще! — услышала Майя свой голос, смелый и самонадеянный, и не поверила, что это ее собственный голос. Ей было стыдно, она растерялась, она заплакать была готова от скованной неловкости.

К счастью, он все понял. Он благодарно улыбнулся ей и смешно покрутил шейю, показывая, как рад обретенной свободе.

— Спасибо! — сказал он.

Майя тотчас перевела его русское «спасибо» с английского на русский. «Вот мне и не так уж стало боязно у вас», — перевела она. И еще: «А вы милая...» Майя отвела глаза, а то бы этот перевод одного-единственного слова все длился б и длился.

На выручку племяннице поспешила Елена Николаевна.

— А мы вот тут твистом занимаемся, — весело сказала она и протянула руку Лэму. — Сергеева. Знакомьтесь: моя племянница Майя. Или вы уже познакомились?

Лэм, как и должно светскому молодому человеку, поцеловал Елене Николаевне руку. Но он небоек был в своих движениях, он не заучил еще их, он оставался все еще мальчишкой. Мальчишкой из города Нью-Йорка, или Чикаго, или какого-нибудь совсем маленького городка, как водится у них там, с громким именем.

— Да, мы уже познакомились, — сказал Лэм и посмотрел на Майю, а она опять начала переводить

его русские слова на свой лад: «Да, мы, кажется, станем друзьями...» Перевела и возмутилась. С чего бы это вдруг? Что за самонадеянный рыжий парень? Как он смеет так смотреть на нее, говорить такое?! Она холодно, отчужденно глянула на него. У каждой девушки припасен такой взгляд. Ну на случай, если кто-нибудь пристанет на улице. О, этот пронизывающий холодом взгляд! Лэм опешил, смутился. Что он сделал? Почему на него так сурово смотрят? Он умоляюще свел ладони. Совсем как Том Сойер, когда его отчитывала тетюшка Полли. Майя сжалась над ним и улыбнулась. «Ладно, Том, — захотелось ей сказать. — Я прощаю тебя...»

— А это мои университетские друзья, — сказала она вслух, поведя рукой. — Сейчас, знаете ли, многих не соберешь, еще каникулы. Мы не виделись больше года. Ну и вот...

— Я очень рад, мне очень приятно попасть в среду студентов Московского университета, — раскланиваясь, сказал Лэм. — До сих пор мое знакомство с этой средой ограничивалось любезным Юрием Родичевым. — Лэм дружески улыбнулся Юре. — Между тем я и сам в какой-то мере уже студент или практикант, как вам будет угодно, Московского университета.

— Мы познакомились с Дэви у одного американского корреспондента, — небрежно обронил Юра. — Милейший дядька. Да вы слышали, наверное, его имя — Генри Бенсон. Он болтается у нас на Руси уже два десятка лет.

— О, да, да, конечно! — сказала Галя в тон Юре. — Как же, как же! Друг посла, приятель президента, наследник Дюпона-младшего и твой хороший знакомый. Юрка, зря все-таки мы не уволокли тебя на целину. Ты, брат, явно скоропортящийся продукт.

— Есть, есть немножко, — благодушно согласился Юра. — Но я ведь не безнадежен? Зина, скажи, я безнадежен?

— Кто тебя знает, — сказала Зина, внимательно поглядев на Юру, будто вопрос его был совсем не шуточный.

— Вам нужно переводить эти слова — «безнадежен», «скоропортящийся»? — спросила Майя у Лэма.

Он не расслышал ее или не понял, хотя не сводил с нее глаз.

— Вот я и в Москве, — сказал он, безмерно чем-то удивленный. — Невероятно... В Москве... — Он поклонился. — Итак, здравствуйте, Майя... Я верно говорю ваше имя? Да?

— Да. Только оно не такое длинное, оно короче. Ничего, так даже забавнее.

— Простите... Мой русский язык... Я приехал...

— Да, да, я запомнила, вы приехали практиковаться в русском языке.

— Не совсем только. Я изучаю творчество Тютчева. Я окончил факультет славистики.

Разговаривая, они не стояли на месте. Медленно, шаг за шагом отступала от Лэма Майя, а он, как на коротком поводке, шел следом, делая непривычные для себя маленькие шажки.

Смешно было на них смотреть со стороны. Уж очень они казались детьми сейчас. Вскинутые, замершие лица — девчоночье и мальчишечье. Бесконечно занятые друг другом мальчик и девочка. Взрослые не бывают так откровенны.

— Дети, — умиляясь, шепнула Елена Николаевна. И вдруг нахмурилась, встревожилась, слсжила губы, чтобы окликнуть племянницу. Но сдержалась: ведь дети же...

— Станцевали бы, что ли! — крикнул Юра. — Майка, практикуйся, пока практикант из Штатов под рукой!

Зина потянула его за руку.

— Не кричи, дурачок, они тебя не слышат.

Верно, когда в комнате много людей, когда кругом танцуют, когда орет магнитофон в четыре молодых глотки, может показаться, что в комнате совсем тихо и вообще никого нет, кроме тебя и твоего собеседника. Майе так, наверное, и казалось.

— А почему Тютчев? — спросила она. — Почему именно Тютчев?

— Может быть, поэтому... — Лэм прочел:

Умом Россию не понять.
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать —
В Россию можно только верить:

Или, может быть, поэтому:

Когда пробьет последний час природы,
Состав частей разрушится земных:
Все зримое опять покроют воды,
И божий лик изобразится в них.

Галя громко захлопала в ладоши:

— Он знает Тютчева! Какой умница!

— При чем на пятерочку знает, — сказал Юра. — Побывал даже в Мюнхене и Турине. Вот это изучение творчества писателя! Размах! Куда писатель, туда и изучатель.

В разговор вмешался Галин муж, сутулый, очкастый и гениальный ее Саша, весь вечер просидевший в уголке за шахматной доской. Но тут заговорили о литературе, о науке, и он тоже подал голос:

— Рекомендую тебе, Юра, изучить творчество Чернышевского, периода его пребывания в Петропавловке.

— Проснулся? Остришь? — Юра радостно изговаривался для долгого словесного боя. — Нет уж, Сашенька, на кой мне твой Чернышевский! В русской литературе, слава богу, есть писатели и побойчее. Вот, к примеру, Иван Алексеевич Бунин. Он и во Франции жил и в Швейцарии, где только не был. Значит, что? А то, что и изучатель должен по тем же местам катануть. Изучать так изучать!

— Ну и катись, — рассмеялся Саша. — Только скажи наперед: на каком языке станешь в Париже разговаривать? На своем ресторанном эсперанто? Коктейль... Виски... Пляс Пигаль... О, ля, ля... Аржан... тре маль...

— Галина, напости своему мужу, что у нас разные весовые категории, — сказал Юра и угрожающе потряс своими кулачками.

— Самый мой любимый рассказ у Джека Лондона — «Мексиканец», — сказала Галя.

— Если ты такой же боксер, как и альпинист, то я готов принять бой, — сказал Саша.

— Беру на левую! — радостно кинулся к нему Юра.

Парни сцепились, и сразу же началась всеобщая куча мала.

Посмеиваясь, наблюдала за этой возней Елена Николаевна. Ну дети еще, чего с них взять?..

Майя и Лэм не слышали веселой перепалки, не оглянувшись: они стояли у балконной двери, когда началась борьба, они были заняты друг другом и своими мыслями.

— «Когда пробьет последний час природы...» — Майя распахнула балконную дверь, холодом повеяло. Она зябко поежилась. — Страшно!

— О, не думайте об этом, прошу вас! — Лэм просительно свел ладони. — И у меня дома очень много думают об этом. Так нельзя! Простите, я совсем неудачно вспомнил эти стихи. Я неловко пошутил, простите меня. А Тютчев, Тютчев мне понравился еще с детства, когда моя матушка читала мне его. Моя матушка родилась в России.

— Матушка... Она жива?

— Да.

— А моя умерла. — Майя недобро поглядела на Лэма. Ну, что он стоит в этой глупой позе, сведя, как нашкодивший Том, ладони? Ну, что он стоит тут перед ней, этот чужой человек? И откуда он взялся? Почему он здесь? — А моя умерла! — повторила она, и вдруг этот Дэвид Лэм, этот рыжий длинноногий американец, стал ей ненавистен. Он только прикидывался таким славным, застенчивым, добрым. А был он такой же, как те парни, что бомбили Вьетнам, а был он чужим, а был он врагом, одним из тех, что вынудили ее маму... Мысль не завершилась, мысль уперлась в какую-то преграду, в какой-то угол, где ни света, ни воздуха, где страх и удушье. И Майя крикнула, чтобы выбраться из этого угла, как вскрикивают во сне, когда привидится кошмар: — Ее нет, нет! Ее больше нет!

Она вскрикнула и пробудилась. Но этот сон можно прогнать из глаз, а горе, оно все равно с тобой, как громко ни кричи. И Майя заплакала навзрыд, ненавистно повернувшись к Лэму спиной.

К ним подбежала Елена Николаевна, обняла Майю, прижала к себе.

— Что вы такое ей сказали? — сердито спросила она у Лэма.

Тот стоял, безмерно удрученный, длинные руки его повисли.

— Простите меня... Прошу вас... Я не знал... — Он быстро повернулся и, низко наклонив голову, вышел из комнаты.

Юра кинулся за ним.

— Надо проводить!

— Пойдем, пожалуй, и мы, — сказал Саша.

— Майя, я завтра позвоню тебе, ладно? — сказала Галя. — И чего это Юрка притащил его? И в какой дом! Вот непутевый.

— Какой смешной этот американец, — сказала Зина. — Я не думала, что они бывают такими застенчивыми. Майя, я тоже тебе завтра позвоню. Условились?

Елена Николаевна, оставив Майю, пошла провожать ее друзей.

— Не огорчайтесь, ребятки, и наведывайтесь к нам, — говорила она бодрым голосом и улыбалась. — Обязательно, обязательно. — И целовалась с девушками и пожимала энергично руки парням. — Обещаете? Обещаете? Это у Майи сегодня такой день...

Наконец передняя опустела, дверь за гостями затворилась, и можно было согнать с лица эту проклятую оживленную улыбочку, фальшивые эти морщинки, изображающие веселье. Можно было дать отдых лицу. Елена Николаевна вернулась в комнату и первым делом выключила магнитофон.

— Хватит орать, мальчики, — сказала она, наклоняясь над магнитофоном. — Ну плохо людям, а зачем же орать, будто весело? Заврались, мальчики. — Она поискала глазами племянницу. — Майя, где ты? — Она увидела ее за стеклом балконной двери и пошла к ней. — Ты что тут делаешь?

— Смотрю на улицу, — не оглянувшись, сказала Майя. — Просто смотрю на улицу. Тетя Лена, а ты знаешь эти стихи:

Когда пробьет последний час природы,
Состав частей разрушится земных:
Все зримое опять покроют воды,
И божий лик изобразится в них.

— Что ж, стихи хорошие, — сказала Елена Николаевна. — Да только холодно тут. Пошли, девочка, чай пить. На кухню. Там тепло. — И она взяла Майю за руку и повела, как маленькую, приговаривая: — Чай, чай пошли пить. С вареньем.

А наутро было вот что... Наутро Дэвид Лэм позвонил Майе. Он не сразу до нее добрался. К телефону все время подходила Елена Николаевна, и Лэм не решался с ней заговорить. Тогда Елена Николаевна сказала:

— Майя, это, наверное, к тебе. Кто-то дышит и помалкивает. Бери трубку сама.

И тут же зазвонил телефон. Майя подняла трубку и спросила сердито:

— Ну, что вам?

— Я хочу вас видеть...

Майя узнала голос Лэма.

— Где вы? — Она вдруг страшно чего-то испугалась, почувствовала, как бледнеет, почувствовала свой страх.

— Я на вашей улице, на углу, в телефонной кабине.

Голос Лэма прерывался, слова звучали невнятно, будто находился он за тысячи верст отсюда, а ведь был он где-то совсем рядом, его даже в окно можно было увидеть.

— Хорошо, я сейчас выйду, — сказала Майя.

На улице из последних сил светило солнце. Майя любила это осеннее солнце, оно не очень жгло и не мешало смотреть, не слепило. И все вокруг открывалось глазам в подробностях своих, и даль далекая тоже открывалась глазам, и мысли вдруг становились широкими. Но сейчас у Майи никаких не было мыслей. Она вышла на улицу и направилась к углу, торопясь зачем-то, будто опаздывала, и без единой мысли в голове. Совсем как перед экзаменом, когда переступаешь порог аудитории, а в голове ни единой мысли, и только что-то гудит там и в сердце гудит. Глупый страх. Ведь нечего, совсем нечего бояться. И все-таки страх.

На том углу, куда направлялась Майя, был разбит чахлый сквер. А за этим сквером возносились вдали купола Новодевичьего монастыря. А над этими куполами растворялись в небе и исчезали куда-то голуби. И синим было небо, небывало синим, как на соборных фресках.

Майя подошла к углу. На пропыленной скамье, рядом с громадной урной и тоненьким, квелым деревцем, сидел Дэвид Лэм.

Он услышал шаги, вскочил, бросился к Майе. Скамья, квелое деревце и громадная урна стали свидетелями их встречи.

— Я позвонил вам потому...

— А я пришла потому...

Майя протянула ему руку, и они умолкли, всматриваясь друг в друга.

— Я позвонил вам, чтобы сказать...

— А я пришла, чтобы вы не подумали...

Рассмеявшись, так и не разъединив рук, они сели на скамью.

— Чтобы сказать, как мне было горько вчера, когда я...

— Не нужно об этом. Так почему же все-таки Тютчев? Расскажите мне о вашей маме... О вашей матушке... Она русская?

— Да. Ей было пятнадцать лет, когда ее родители эмигрировали в Париж. О, не подумайте, они не были какими-то миллионерами. Ее отец был врачом. Кажется, да, это так, он потом жалел, что покинул Россию. Матушка рассказывала... — Лэм замолчал.

— Ваша мама родилась в Москве?

— Да. Она говорила мне, что если я буду жить в Москве, пусть я навещу ее гимназию. Я запомнил, где-то между Пречистенкой и Остоженкой. Маленький проулок...

— Пречистенка... Остоженка... Таких названий теперь нет. И не проулок, а переулок. — Майя поднялась. — Мне пора, я отпущена тетужкой лишь на минутку. Она вам понравилась?

Лэм тоже поднялся.

— Не знаю.

— А мои друзья?

— Не знаю. Мы еще встретимся, Майя? Пожалуйста...

— Не знаю...

Майя торопливо пошла к дому, глядя под ноги, боясь поднять глаза, боясь о чем-либо подумать. «Домой! Скорей, скорей домой!» — это была единственная сейчас ее мысль, единственная цель.

У подъезда она столкнулась с соседом по дому, с тем самым румянощеким пенсионером, которого видела вчера с балкона. Он, как водится, слушал, наклонив голову, свой приемничек. Но и поглядывал зорко по сторонам. Видел ли он ее с Лэмом? Давно ли он тут? Он проводил ее преследующим взглядом, неотступным, как луч прожектора, поймавший в себе самолет.

Войдя в подъезд, Майя оглянулась. Круглый человек теперь направил свой взгляд-прожектор на угол, туда, где все еще стоял у чахлого деревца Дэвид Лэм.

В тот же день, несколькими часами позже, Майя и Лэм встретились снова. Уже сумерки пришли на улицу, и улица переменялась, обрела какую-то таинственность, а жалкий сквер, на котором они опять встретились, чуть будто погустел листвою, пригложее стал.

Дэвид Лэм, казалось, и не уходил отсюда, все долгие часы до вечера пробыл здесь, каждый миг готовый позвонить вновь Майе, но и робя сделать это. У него было измученное лицо, он был всклокоченный и несчастный. Он тут все дорожки, должно быть, обегал не один десяток раз, на всех скамейках посидел. У него были пыльные башмаки, мятые брюки. Бедняга, как же он все-таки решился ей позвонить?

Они встретились у той же скамьи, у той же урны, у того же квелого деревца. Но небо над ними было уже не синим, а фиолетовым, с серо-мрачными тучами — того и гляди начнется дождь.

— Я не мог не позвонить вам снова, Майя, — сказал Лэм и жалко улыбнулся, мятый, всклокоченный, пыльный, будто побывал вот столько что в далеком путешествии. — Не мог, потому что...

Майя оглянулась, ее какой-то шорох встревожил. Ах, вот что! За кустом, в нескольких всего шагах, стоял все тот же ее сосед по дому, все с тем же приемничком в руке. Он вроде бы их еще не заметил? Нет, заметил! И когда Майя оглянулась, он и это заметил. Он вдруг засуетился, включил свой приемничек, оповещая вырвавшейся из него песней, что ему ни до кого дела нет, что он тут сам по себе, отдыхает, дышит, слушает музыку. Он уселся на палку-стул, крепкой спиной сминая куст, твердо уперев ноги в траву.

Песня оборвалась, и зазвучал голос диктора, успокаивающе знакомый, как голос приятеля: «Вы слушали концерт «Здравствуй, будущее». А сейчас, товарищи, вы можете проверить часы. Последний,

шестой, сигнал дается в восемнадцать часов по московскому времени». И только отзвучал голос диктора, как громко зазвучали удары секундомера.

— Майя, почему вы молчите? — спросил Лэм. — Вам мешает этот человек? Он мне тоже мешает. Уйдем отсюда. Пойдемте, здесь я заметил маленькое кафе. Может быть, туда?

— Нет, нет! — Майя все оглядывалась на круглую, крепкую спину. — Тетя отпустила меня на одну только минутку. Она сказала: «Пользуйся моей легкомысленностью, но вообще-то этот американец слишком агрессивен». — Майя улыбнулась. — Вот что она сказала. Слышите, наша минуточка проходит... Тин... тин... тин... А вот и ту-у... ту-у... ту-у... ту-у... Прощайте.

— Нет! — Лэм умоляюще свел руки.

— Прощайте, прощайте, Том Сойер. — Майя печально покивала ему. — Знаете, вы очень похожи на Тома Сойера и еще на Вана Клиберна. И еще... — Майя задумалась, вспоминая. — И еще на кого-то... А вот на кого? Не могу вспомнить. Может быть, я видела такого же на какой-нибудь картинке? Или в кино? Не могу вспомнить... Прощайте!

Она быстро пошла от него. Но Лэм не остался на месте, он пошел за ней.

— Я тоже, я тоже где-то вас видел раньше, давно. — Он пытался заглянуть ей в лицо. — Вот такую же... Но где, когда?..

Они поравнялись с пенсионером, его никак было не обойти, и он в упор глянул на них. Глянул и повел вслед за ними глаза, поворачиваясь всем телом, как прожектор на оси. А когда они завернули за угол, он поднялся и потянулся всем телом туда же, за угол, и заспешил, заспешил на коротких, сильных ногах, чтобы не отстать от пойманной в зрачки цели.

Вдруг начался дождь. Удача! В дождь никого не удивит, если припустишь бегом. Все бегут, все спасаются. Майя схватила Лэма за руку.

— Побежали!

Они побежали, и Майя торжествующе оглянулась на круглого человека. Куда этому коротышке угнаться за ними! А он и не гнался, он сразу отстал.

Майя и Лэм свернули за угол.

— Сюда, сюда! — крикнул Лэм и потащил Майю за собой, к распахнутым дверям крошечного павильона-кафе.

Майя не упиралась: ведь дождь, все спасаются от дождя где только могут.

— Добились все-таки своего, — сказала она.

В павильоне была лишь толстуха буфетчица и больше ни души. Майя обрадовалась этому. И ей понравилось, что здесь чисто, а за большим окном до самой земли, за косой штриховкой дождя все те же далекие купола Новодевичьего. Над монастырем еще светло было, сумеречно, но светло, там дождя не было.

— Входите, хорошие, входите, — приветливо проговорила буфетчица. — Ой, да какие же вы нарядные, какие милые! — Она внимательно оглядела Лэма. — Не из наших... Ну ничего, застенчивый...

У этой женщины было одутловатое лицо. Она была непомерно толста, прическа у нее раздвинулась, халат был не очень чист, но у нее была добрая улыбка. И Майя откликнулась на эту улыбку тоже улыбкой, ей понравилось здесь.

Странно, что она никогда раньше не бывала в этом кафе, до которого от ее дома и ста шагов не было. Впрочем, что ж тут странного? Она вообще не бывала в подобного рода заведениях. Это было неприлично — в них бывать. Так установилось. Для девушки ее круга, ее семьи существовало множество запретов, ограничений.

И вот Майя новичком оказалась в этом кафе в ста шагах от своего дома. И она не знала, как себя вести тут, и даже оробела, хотя не сробела бы в большом ресторане, в громадном каком-нибудь выставочном зале, на людях. Она обозлилась на себя за это чувство неловкости, робости. Весь день с утра не отпускало ее какое-то беспокойство. С чего бы? Нельзя быть такой трусихой, вздрагивать от каждого звонка, от каждого шороха, бояться даже вот этих стеклянных стен и радоваться только тому, что никого тут нет, а у буфетчицы добрая улыбка.

Майя решительно уселась за стол, хоть и был он чем-то залит, решительно глянула на выставку бутербродов за стеклом, наперед готовая съесть любой из них, пусть даже самый несъедобный.

Лэм тоже сел и уставился на нее. Господи, в каком-то значном месте да еще с американцем, о господи, что же это она творит?!

А Лэм, кажется, был сейчас на седьмом небе. Он смотрел на нее и улыбался, он даже робеть перестал, не отводил глаз. Ну, понятно, здесь его стихия — эти ряды бутылок, эти утлые столики, этот пряный воздух кафе, которым, наверное, он привык дышать чуть ли не с младенчества.

Майя тоже прямо смотрела на Лэма. Он смотрит, и она будет смотреть. Кстати, какой он? До этой минуты она только коротко взглядывала на него. Словно украдкой. Она взглядывала на него, и сразу же отводила глаза, и сразу же начинала что-то вспоминать, другого кого-то вспоминать, кого видела раньше и на кого был похож этот американец. А похож ли? И на кого все-таки, на кого? Майя попыталась вспомнить и не смогла. Да ее и другая мысль сейчас беспокоила: ее беспокоило, какой видит ее сейчас Лэм. Она скосила глаза, отыскивая зеркало. Куда там, не было здесь зеркала. Здесь все было простым стеклом, здесь все просвечивало. Майя погляделась в полированную поверхность стола. Она мало что увидела, разве что блеск собственных глаз. Чего это они так блестят, так светятся? К ним подошла буфетчица.

Лэм встрепенулся.

— Коктейль? — вопросительно глянул он на Майю.

— Я бы выпила стакан воды, — сказала Майя.

— Вот это с пониманием. Умница! — Буфетчица направила к стойке и тотчас вернулась, прихватив вместе с бутылкой воды еще и плитку шоколада. — Потянешь, за граница? — Добро улыбнувшись Майе, она торопливо отошла от стола.

Лэм проводил ее глазами.

— Удивительно, совсем такую, совсем такую же я мог бы указать вам на своей улице в Нью-Йорке, — негромко сказал он Майе.

Но его слова услышала и буфетчица.

— Толстух везде хватает, это точно, — подхватила она.

Лэм налил воды Майе и себе и поднял свой стакан.

— Здравствуй, Майя...

— Но водой, кажется, не чокаются?

— Это не имеет значения. Здравствуйте... Майя...

— Здравствуйте... А как вас зовут дома?

— Дэви.

— Дэви...

— А вас как — всегда Майя?

— Иногда, очень не часто, меня называют Машей.

— Маша... Если позволите, я тоже... Иногда...

Майя внезапно весело засмеялась.

— Я посмотрела в словаре: Лэм — это же ягненок, барашек, овечка. Транскрипция совсем та же, что и у вашей фамилии.

Лэм тоже рассмеялся, счастливый, что Майя повеселела. Он не сводил с нее глаз.

— Итак, вы намереваетесь именовать меня ягненком, овечкой, барашком?

К ним снова подошла буфетчица. Она подошла, торжественно ступая, неся на ладони поднос, на котором стоял крошечный графинчик и позванивали две ликерные рюмки.

— Только для друзей, — сказала буфетчица. — Коньячишко вот... С этих капель не одуреешь, а как-никак хоть чокнитесь по-людски... Ой, ребятки, накличете вы на себя беду! — Женщина вдруг округлила глаза, глядя на Майю, словно испытала внезапный испуг, углядев что-то грозное для нее, какой-то зловеющий знак над ее головой. Она даже рукой замаяхала, как машут, гоня нечистую силу, а когда шла назад к стойке, неприметно плюнула три раза через плечо.

Лэм налил коньяк в рюмки.

— Здравствуйте, Маша...

Майю смутили слова буфетчицы, она задумалась и не ответила Лэму.

— Давайте познакомимся, — сказала Майя буфетчице. — Меня зовут Майей. А вас?

— Марьей Герасимовной. По-ихнему — Мэри. Верно говорю, заграница?

— She seems to be kind and not very happy¹, — сказал Лэм, не обращаясь к Майе, а сам для себя.

— Чего, чего? — спросила буфетчица.

— Он говорит, что вы очень добрая, — сказала Майя.

— Добрая? — Буфетчица с сомнением качнула головой. — Это как когда. Добрый, что глупый. Ну, отдыхайте, отдыхайте...

— Так вы знаете английский? — спросил Лэм.

— Чуть-чуть. И французский. И тоже чуть-чуть. Играю на рояле. И тоже чуть-чуть. Словом, классическое воспитание единственной дочки.

— Ваш папа...

Майя насторожилась.

— Что?

— Простите, никаких вопросов! — Лэм смутился. — Простите...

— Нет, отчего же, спрашивайте. — Майя с вызовом смотрела на него. — Вам, должно быть, известно: мой папа — академик. И к тому же...

— Не надо! Ничего не надо! — Лэм умоляюще сгорбил, словно ему холодно стало. — Я знаю, Россия очень насторожена... Прошу вас, будем говорить о самом невинном...

— Это про что же — о невинном? — поинтересовалась Марья Герасимовна, выходя из-за стойки. — Я извиняюсь, тут у меня такой зал, что всякий шепот слышать. — Общительный ее нрав не давал ей долго хранить молчание.

— Охотно отвечу вам, Марья Герасимовна. — Лэм обрадовался, что может разбавить легкими словами вдруг трудно сложившийся для него разговор. — О невинном — это когда... ну, не обязательно помнить, что ты американец, а собеседница твоя русская. Вообще когда...

Какой-то прохожий остановился в дверях.

— Ой, прогорю я с вами, интеллигенция, — усмешливо сказала Марья Герасимовна и вдруг возвысила голос: — Нельзя! Учет!

Но тот, к кому были обращены эти преграждающие слова, не внял им. Он спокойно переступил порог, невозмутимо уселся за один из столиков, водрузив на нем свой крошечный приемник. Да, это

¹ Она кажется доброй, но не очень счастливой.

был он, румянощекий, круглый человек, Майин сосед по дому. Усевшись, он начал поворачивать на оси свое крепкое туловище, вместе со стулом поворачивать. Прищуренные его глаза смотрели прямо и твердо. Сперва в их луч попала Марья Герасимовна, и как-то ей скучно стало, и она вдруг рассердилась на что-то и зашлепала с ожесточением мокрой тряпкой по столам. Потом в этот луч попали Майя и Лэм.

Майя вскочила.

— Уйдем отсюда!

Она не стала дожидаться, когда Лэм расплатится с буфетчицей, и выбежала на улицу.

Дождь еще не перестал, но вечернее небо просветлело, и в первой же луже под ногами Майя увидела отблески выкатившейся на небе луны.

7

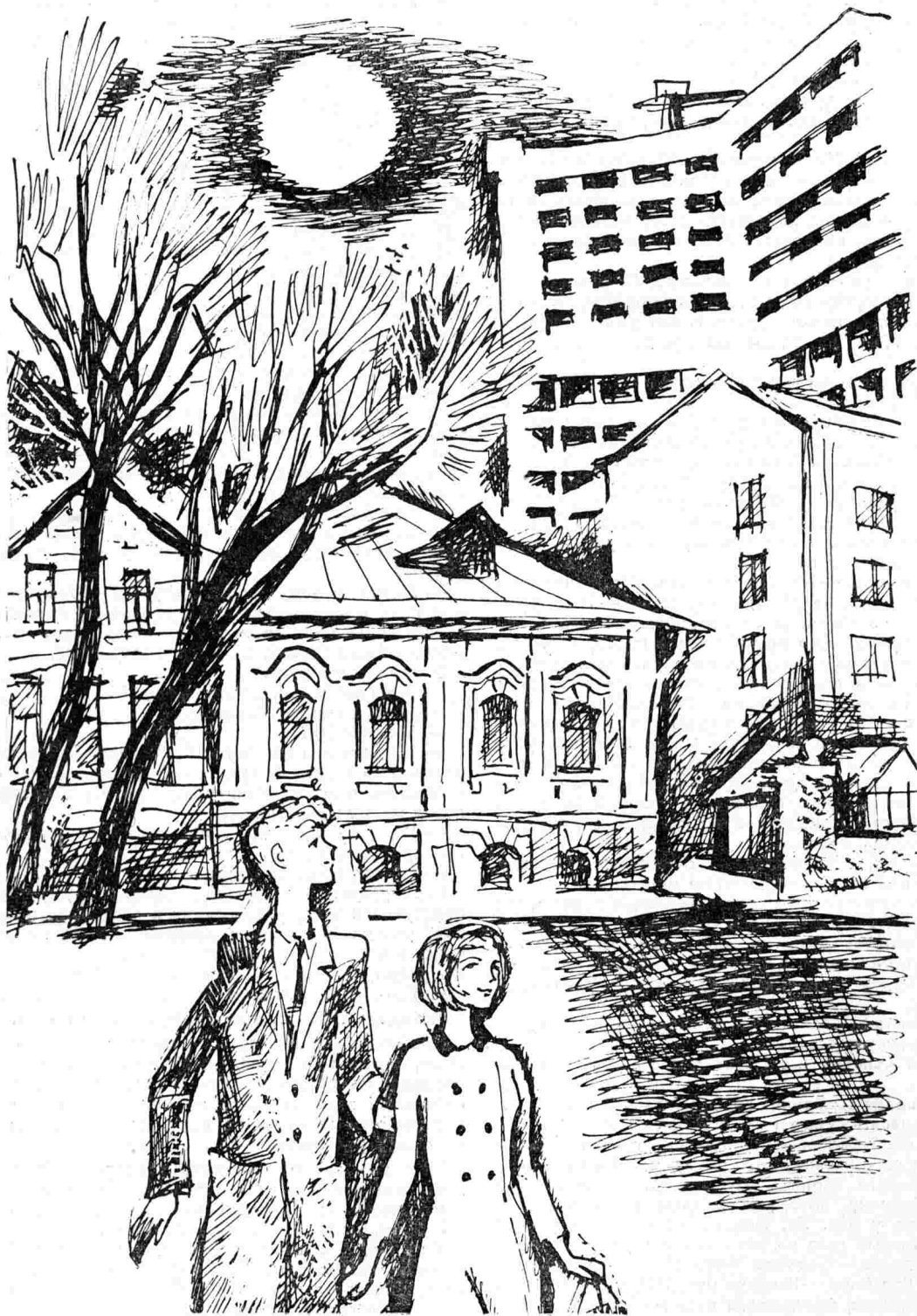
Тревога в доме: Майя исчезла. Она ушла в шестом часу, пообещав Елене Николаевне вернуться через десять, ну, пятнадцать минут, но прошло уже три часа, четвертый пошел, а ее все нет.

Елена Николаевна начала тревожиться, когда минул час. Она не на шутку испугалась, когда прошел еще час. Теперь же ее охватил ужас, просто ужас. Ведь Майя ушла из дому, чтобы встретиться с этим Лэмом, с американцем. Он позвонил ей — второй раз на дню — и умолил выйти на минуточку, ему, видите ли, что-то необходимо было ей сказать. Вот вам и минуточка! Вот вам и приглядела за племянницей! В голову лезли самые невероятные предположения. Какие-то нелепейшие истории, вычитанные где-то когда-то. Истории с похищениями, автомобильными катастрофами. Елена Николаевна одну за другой разрушала эти истории, потешаясь над собственной дуростью, мнительностью, но истории все лезли в голову и наконец ввергли Елену Николаевну в настоящую панику. Страх, давно казалось бы забытый страх — тот самый, из прошлых лет, — завладел ею, скверным белесым лицом замаячив перед глазами. Ведь Лэм-то был американцем. Милый? Интеллигентный? О, знаем мы этих милых и интеллигентных! Страх, белесый страх, кивая, согласился: «Да, конечно, все это — притворство...» А Майя, боже ты мой, ведь Майя была дочерью академика Сергеева — физика, оружейника! И вот она и американец... И уже четвертый час, как ее нет... И куда позвонить! Нельзя звонить! Ну что она скажет, начав розыски, ну что?! Племянница пропала? А с кем? А почему? И, как нарочно, не было дома брата, и неведомо было, где его искать. У себя в Ленинграде Елена Николаевна нашлась бы, что делать, но тут, в этой громадной, чужой Москве, она растерялась.

И вдруг звонок в прихожей. Есть ли еще радостнее звук, чем звонок в прихожей?! Елена Николаевна кинулась открывать.

Нет, то не Майя вернулась. В дверях стоял сияющий Юра Родичев. Тот самый Родичев, который привел к ним в дом этого Лэма. Чего ему еще понадобилось? И какая противная, нахальная у него рожа! А она-то с ним была так добра! Нельзя быть доброй. Нельзя впускать в дом первого встречного и поручать ему вдобавок созывать гостей. Дура ты дура, сколько еще тебе учиться уму-разуму?!

— Что вам угодно? — спросила Елена Николаевна таким ледяным голосом, что даже толстокожий Юра почувствовал этот лед.



— Да вот забрели на огонек,— пробормотал он, отступая.

Только теперь Елена Николаевна заметила, что он не один явился. С ним была Зина.

— Здравствуйте, Елена Николаевна,— сказала девушка, робко выступая из-за спины Юры.— Что-нибудь случилось? У вас такое встревоженное лицо.

— Случилось?— Елена Николаевна заставила себя улыбнуться.— Не думаю... Просто я никак не пойму, где Майя. Ушла на десять минут, а нет ее четвертый час.

— Ну и что? Ну и ничего особенного!— бодро сказал Юра.— Заскочила к какой-нибудь подружке.

Елена Николаевна вовсе не хотела выдавать свою тревогу и не хотела вмешивать в эту историю кого бы то ни было, но тревога сама прорвалась, а слова сами сказались:

— Но она ушла с этим Лэмом... Понимаете, он позвонил и попросил ее на минуточку выйти, он ждал ее где-то возле нашего дома. И вот уже четвертый час... Ох, Юра, ну зачем вы привели его к нам в дом?

— Но он хороший парень!— сказал Юра.— Ей-богу, он хороший парень.

— Все у тебя хорошие парни!— зло вырвалось у Зины.— С кем только ты не знаешься! Какой-то Генри, какой-то Бенсон! А то был еще прыщавый жокей по кличке «Сэм», а по паспорту Семен! Ну где, скажи, где теперь искать Майю?— Тревога Елены Николаевны мигом передалась Зине, и, может быть, и Зине стали чудиться какие-то страхи и ужасы, тоже вычитанные где-то когда-то.

— Где искать?— Юра задумался. Но ненадолго. Он быстрый был на решения.— Пошли!— И он бросился вниз по лестнице со стремительностью человека, который во имя дружбы готов голову сломить, а уж рук и ног ему заведомо не жаль. Такая стремительность была еще и тем хороша, что избавляла Юру от тягостного разговора с Еленой Николаевной.

Очтившись на улице, Юра сразу же притормозил, спокойно уселся на скамеечку у подъезда, закурил, дожидаясь, когда появится Зина. На скамеечке рядом с ним оказался круглый, крепкий старик с транзистором на коленях. Транзистор что-то бубнил, какие-то новости, пришедшие из далеких с диковинным названием городов.

— Дышите?— дружелюбно обратился к соседу Юра.— Я вам своей сигаретой не мешаю?

Круглый человек всем телом медленно повернулся к нему, глянул пристально и запоминая и ничего не ответил, занялся своим приемником. Негодующий голос диктора возрос, диктор почти на крик перешел, вещая о бедах человеческих где-то в Африке, где-то в Азии.

— Горластый,— кивнул на приемник Юра.— Новую батарейку поставили?

Круглый человек и на этот раз не удостоил его ответом.

Из подъезда выскочила запыхавшаяся Зина.

— Ты здесь?! Куда ты так помчался?!

— От вас сбежал,— поднимаясь, сказал Юра.— Вот беседую с уважаемым товарищем. Не вам чета, слово—золото. Молчит. Ну двинули искать нашу милую Майечку, которую умыкнул американец. А быстро это у них. Эх, молодежь, молодежь!— Он скосил лукавый глаз на застывшего на скамье круглого человека.— Падение нравов! То ли было в прежние времена!— Вскинув руку, Юра выбежал на середину улицы, преграждая путь мелькавшей зеленым огоньком машине.— Зина, садись!

— Куда мы?— Зина с опаской двинулась к машине.

— Садись, садись.— И, только когда Зина села в машину и машина тронулась, Юра небрежно бросил шоферу:— К Охотному, шеф. На уголок. Знаешь?

— Да ну тебя, я не поеду!— запротестовала Зина.— Ненавижу этот твой валютный рай!

— А чувство товарищества?— Юра помахал в окно круглому человеку, цепко схватившему в свои зрачки отъезжающий автомобиль.— Привет, златоуст! Ну как там, в Африке?..

8

Такси остановилось в машинной и людской суете перед рестораном, и Юра Родичев, расплачиваясь с шофером, тотчас же перестал быть самим собой, а начал кого-то из себя изображать, а кого—он бы и сам сказать не смог. Сына богатых родителей, может быть? Преуспевающего юного бизнесмена? Актера, снявшегося в боевике? Знаменитого футболиста? Словом, Юра изображал успех, самоутверждаясь даже перед шофером.

— Сдачи не надо!— сказал он шоферу и вышел из машины, потяжелевший на десяток килограммов, с иной вдруг походкой, враскачку этак. Тяжеловатый, грубоватый, но с дамами сама любезность. Он предупредительно распахнул дверцу машины, помог Зине ступить на тротуар.

А Зина была подавлена.

— Зачем ты притащил меня сюда?— Она попыталась пошутить:— Наследство получил от дядюшки Джона?

— Ладно, ладно, пошли, старушка.— Юра взял ее под руку и, отстраняясь, глянул на нее, оценивая и как бы сравнивая со всеми прочими здесь женщинами.— Выше голову, ты здесь смотришься.

Зина вырвала руку.

— А ты вот нет. Я дальше не иду!

— Зина, а как же Майя?

— Что «Майя»?

— Но ведь мы ее ищем. Я убежден, Лэм затащил ее именно сюда. А куда еще? Он только и знает в Москве, что наш университет да эту вот забегаловку на доллары. Пошли.

— Юра, не шути, ведь там же только на валюту. Нас просто не пустят.

— Пустят, не беспокойся.

Юра уверенно повел Зину через толпу, уверенно подступил к парадной двери в гостиницу, и швейцар, увидев Юру через дверное стекло, не усомнился в его праве переступить сей священный порог. Но двери отворять перед ним не стал, сам отворит.

— Почтение, почтение,— сказал Юра швейцару.

Тот сдержанно поклонился, будто бы узнавая.

Прошли. Зина ничего не видела, ничего не слышала, страшась позора, если их вдруг остановят и повернут назад. Но прошли. И поднялись без помех на второй этаж. И никто не преградил им дороги в коридоре. И никто не встал на пути, когда они вошли в ресторанный зал.

Зина все-таки остановилась в дверях. Ей показалось, что все поглядели на нее, а народу в зале было много. И все глядели на нее, уставились. Те, что сидели спиной, обернулись. И ей показалось, что это не люди, а сам зал вытаращился на нее и рассмеялся, сверкнув множеством зубов. Но надо было идти, нельзя было стоять на месте, стыдно было труситься. Зина смело подняла голову. Что значит одно хотя бы смелое движение! Все вдруг стало совсем нестрашным. Люди как люди, и никто особенно на нее не смотрит, никому до нее нет дела.

— Ага, вот и они! — радостно вскрикнул Юра. — Ну что, кто оказался прав?

Верно, в углу у окна Зина увидела Майю и Лэма. С ними за столом и еще кто-то был, но все равно казалось, что они там вдвоем. Они сидели близко друг к другу, склонив головы, занятые только друг другом.

— Пошли! — Юра повел Зину через зал. Идти было далеко. К счастью, заиграл оркестр, многие поднялись, собираясь танцевать, и в этом шуме и суете Зина совсем оправилась от смущения.

Майя увидела ее и не удивилась.

— Ах, это ты? Садись. Знакомься. Мистер Бенсон, это моя подруга Зина. А это Юра Родичев.

— О, с Юрой мы давние друзья, давние друзья. — Седоватый, очень высокий, юношески поджарый и быстрый в движениях человек поднялся, чтобы поздороваться с Зиной.

— Генри Бенсон, — приязненно улыбнулся он ей. — Счастливы с вами познакомиться. Юра, вы просто молодчина, что появились здесь с такой очаровательной спутницей.

Зина протянула Бенсону руку, поздоровалась и с Лэмом, который тоже встал, приветствуя ее, но ни слова не сказал ей, только поклонился и опять сел подле Майи, и опять эти двое отгородились от всех будто стеной и занялись друг другом, склонив друг к другу головы. Зина ждала, что они о чем-нибудь заговорят, но они ни о чем не говорили, вслух по крайней мере.

— А вы хорошо говорите по-русски, — сказала Зина Бенсону, садясь на предложенный им стул.

Бенсон тоже сел и дружески усадил рядом с собой Юру. Втроем они образовали свой кружок за столом. А те двое, те так и остались по ту сторону стены, безучастные ко всему, что происходило вокруг.

— Видите ли, я уже двадцать лет, как в России. — Отвечая Зине, Бенсон наклонился к ней — само внимание. Он был очень вежлив, умело вежлив, и это сразу бросалось в глаза. — Юра, налейте нам что-нибудь. Распоряжайтесь, мой друг, по своему усмотрению.

Обратившись к Юре, Бенсон поглядел на него, и теплой дружественностью засветились чуть повыше, но живые еще глаза. Но вот они снова обращены к Зине. А для нее в них иной уже свет. Это уже не просто дружественность, это и восхищение. Зина почувствовала себя преотлично. Ей сразу и легко стало и весело. Молодец Юра, что пригласил ее сюда. Молодчина! И ничего тут нет такого... Ах да, но надо же сказать Майе, зачем они пришли. Надо сказать ей, что Елена Николаевна страшно встревожена. А как сказать? Вон она сидит, глухая и слепая. Неужели это любовь? Ой, Майка, ой, что же это ты делаешь?! А что, и ничего тут такого... Этот ее Лэм — очень милый мальчик. И пускай, пускай любят друг друга. Ну, недельку там, две. Это так, наверное, необычно. Столько они могут друг другу порассказать! Вот Юре ничего не расскажешь. Он все знает. Родились в одном городе, на одной почти улице, учатся вместе, в столовку ходят вместе, фильмы смотрят одни и те же, даже болеют за одну и ту же команду — «Торпедо». А у этих все разное, все новое, можно говорить и говорить, рассказывать и рассказывать. Но вот что забавно, они все время молчат. Наговорились уж? Стесняются нас? Обязательно надо будет спросить у Майи, о чем они весь день сегодня разговаривали. И вообще, что это такое: влюбленный в тебя американец?..

— Зина, можно я отвлеку вас от ваших мыслей? — Это голос Бенсона. Бенсон протянул ей бокал с ка-

кой-то красной жидкостью. — Надо чуть-чуть и выпить. Мы же в ресторане, не так ли? — Он снова поглядел на нее, восхищаясь ею, но не нахально как-нибудь, не прилипая взглядом. Просто он восхищался ее красотой, не умел скрыть своих чувств. Имеет же право человек восхищаться, если ему кто-то нравится. А вот Юра, он никогда так на нее не смотрел, ни разу. Он и сейчас смотрит во все стороны, но только не на нее. Хорошо бы проучить его, хорошо бы, чтоб он поревновал ее немножко, она слишком добра с ним. Жаль, очень жаль, что этот Бенсон все-таки слишком стар.

— А что это? — спросила Зина, беря бокал. — Что это за красная жидкость?

— Не пугайтесь, эта жидкость легче пива. Это крошон. У нас пьют его маленькие дети. — Сам Бенсон взял себе большую рюмку коньяку. — Ну выпьем за них, согласны? — И он протянул руку и как бы постучался своей рюмкой в стенку, за которой продолжали пребывать Майя и Лэм. — Вы не завидуете им, Зина?

— Немножко. Юрка, перестань вертеться. Чего ты там не видел? Смотри, ты останешься за столом в полном одиночестве. — Зина глянула на Бенсона, оценил ли он ее шутку. О, он все понял! Он мудро улыбнулся ей, добро кивнул, в чуть блеклых его глазах, не угасая, светилось восхищение.

— Все-таки, — сказал он, — а все-таки самые красивые женщины живут в России.

— Это говорят все иностранцы, — сказала Зина насмешливо. — Вот уж не думала...

— А я и не стремлюсь тут быть оригинальным. К чему придумывать нечто оригинальное, если истина на устах у всех? Вы не согласны?

— Пожалуй. Вообще не надо ничего придумывать. Вот наш Юрочка, он вечно что-то придумывает.

— А вы, вы никогда? Вы сама правда?

— Я не знаю.

— И не нужно, не узнавайте. Хорошо жить, когда не все про себя знаешь. Поверьте мне. И чудесно, когда жизнь не совсем прямая дорожка, когда вдруг поведет тебя куда-то неведомая тропа.

Бенсон снова протянул руку, прикоснулся бокалом к незримой стенке, за которой сидели Майя и Лэм. И Зине даже послышался звон стекла — так явно обозначилась эта стенка. Счастливые, какие же они сейчас счастливые! Ну пусть, пусть посидят еще минуточку. А потом она постучится к ним и скажет Майе, что ей надо бежать домой, что тетка заждалась, очень тревожится. А кстати, чего было тревожиться?..

— Зинок, не вздумай только усыпить Майю домой, — наклоняясь через стол, шепнул Юра. — Не беда, пусть старички чуть-чуть поволнуются. Такой вечер! Слышишь, что говорю?

— Ты эгоист, Юрка. Нет, так нельзя. Даю им еще одну минуточку.

— Но ведь мы бы могли их и не найти.

— Но ведь мы нашли их.

Зине стало неловко, что они шепчутся при Бенсоне. Впрочем, он не слышал их, его что-то отвлекло, он смотрел в сторону. Притворяется. Он не мог не слышать. Нет, это не притворство. Это воспитание, хорошее воспитание — вот что это такое. Люди шепчутся, и он не желает мешать им, всем своим видом он говорит: я оглох, шепчитесь на здоровье, молодые люди. А ведь это очень невежливо — шептаться через человека. Он-то вежлив, он-то воспитан, а они — нет.

— Вы знаете... — Зина потянула его за рукав, возвращая в их кружок. — Мы вот не можем никак решить, что делать.

— Да-да, слушаю вас! — Бенсон оценил Зинину деликатность, еще как-то, совсем по-новому и совсем уж дружески улыбнувшись ей. — Да-да, друзья мои?

— Знаете, ведь мы пришли за Майей. У нее дома страшный переполох. Она ушла в двенадцать, а сейчас...

Зина с надеждой поглядела на Майю: хорошо, если бы та услышала, о чем говорит она Бенсону. Нет, Майя не услышала. И Лэм не услышал. Но они поднялись вдруг. Куда это еще? Господи помилуй, да они идут танцевать! Ну, Майя, ну и бесстрашная же ты! Разговор за столом прервался, надо было посмотреть, как Майя и Лэм будут танцевать.

Возле оркестра толкучка началась, какой уж там танец! И что за танец? Мешанина какая-то. Кто начал танцевать твист, а кто и обыкновенный вальс. Ни Майя, ни Лэм не почувствовали этой толкучки. Они, казалось, прихватили с собой свою стенку, огородились ею со всех сторон и танцевали сейчас, не замечая других. И вот чудеса: все толкались, а их не толкали.

— Вы хотите все это разрушить? — наклоняясь к Зине, спросил Бенсон. — Вам не жаль будет сломать их хрустальный дворец?

— Жаль, — кивнула Зина.

Она смотрела на подругу, замороженная. У Майи вовсе не счастливым было лицо, оно было задумчивым и даже печальным. Оно было отсутствующим. Видела ли она эту пьяную толпу вокруг? Нет, конечно. И Зина вдруг испугалась.

— Так что же, что же теперь будет?! — вырвалось у нее.

Майя и Лэм вернулись. Майя все-таки поглядела на Зину и от щедрости душевной собралась было заговорить с ней. Ну, о том, о сем, хоть несколько слов, прежде чем снова уйти за свою стену. Но ей помешали. Какая-то девица, из тех, что толклись возле ресторана, возбужденная и пьяноватая, похвалила ее, проходя мимо:

— Хелло, птишка! Здорово это у тебя выходит! Умеешь!

Майя обернулась, еще не веря, что это ей было сказано. Девица, усаживаясь, дружески подмигнула Майе. Валяй, валяй, мол, получается! И рукой еще что-то подсказала, каким-то особым, выверенным жестом, бесстыдным, но притаенным. Своя своей послала сигнал.

Майя остолбенела. Она не рассердилась, не устыдилась, она остолбенела. И только глаза у нее жили, они двигались, смотрели, они пробуждались. И Зина тоже посмотрела так, как Майя, поведя глазами. И увидела то, что увидела Майя и чего не видела минутой раньше, слишком взволнованная, чтобы быть зоркой. Она увидела — они вдвоем увидели, — что очутились в каком-то очень уж странном месте, в каком-то не из жизни, а из голливудского будто фильма.

Майя проснулась, у нее губы задрожали и выступили слезы на глазах — так тягостно было ее пробуждение.

— Уйдем отсюда, — сказала она Зине.

— Уйдем! — вскопчила Зина. — Знаешь, а ведь мы за тобой и пришли. Знаешь, мы были у тебя...

Лэм нагнал их в дверях.

— Я провожу вас. Можно?

А уже на улице их нагнали Бенсон и Юра.

— У меня машина, — сказал Бенсон. — Я развезу вас по домам.

Он подвел их к своей маленькой, похожей на жука малолитражке, предупредительно распахнул дверцу.

— Бога ради, не сердитесь на Дэви, — сказал он Майе, когда все уселись. — Он еще совсем новичок в Москве.

— Я не сержусь, — сказала Майя. — Только скорей, пожалуйста, прошу вас, скорей.

— Она у нас привыкла к скоростям «Чайки», — сказал Юра, намереваясь положить начало легкому разговору.

— Молчи! — зло покосилась на него Зина.

— А что, собственно, случилось?

— А ты, оказывается, глупый, — огорчилась Зина. Воцарилось молчание. Маленький жучок неся в потоке больших жуков, самоотверженно трудясь и обгоняя их.

Неподалеку от дома Майя начала указывать дорогу:

— Направо... Теперь налево... Снова направо... Остановитесь.

Лэм помог ей выбраться из машины.

— Можно, я провожу вас до дверей? О, прошу вас!

— Можно, — сказала Майя. — Эх вы, ягненок, барашек, овечка...

Притык жучок приветливо посигналил им и покатиł прочь.

9

Елена Николаевна и Майя молча сидели друг перед другом. Майя все еще была в плаще да и мыслями все еще была не дома, смотрела куда-то за стену и еще дальше, дальше, вовсе не видя встревоженно обращенного к ней лица.

Елена Николаевна поднялась.

— Молчишь? Вместо минуточки пропадала бесконечные часы и молчишь? Счастье наше, что отца все еще нет. Заработался! Отец заработался, а дочь любимая загулялась. А я, а старая дура тетка, заливалась валерьянкой. Противно! Пойми, я сама себе противна! За свой страх, за свою беспомощность. И что же, ты полагаешь, что так и будет продолжаться? О чем ты думаешь?

— Ни о чем, тетя Лена. Обо всем и ни о чем.

— Ну, ясно, ясно, ты не хочешь мне отвечать.

Елена Николаевна вдруг энергичным движением пододвинула к Майе кресло, потом пошла в угол и принесла оттуда торшер, включила его, пошла к двери и выключила большой свет, вернулась к Майе, села напротив.

— К чему все эти приготовления? — спросила Майя.

— Надо создать более интимную обстановку для разговора, — чуть улыбнулась Елена Николаевна. — Знаешь, ночной разговор по душам при свете ночника? «Ах, няня, няня...»

Майя наклонилась и поцеловала ее:

— Хорошая ты моя!

— Поцелуй полагаются в самом конце. Сперва излияния. — Елена Николаевна огляделась. — Ну, кажется, все как надо. Свет торшера освещает твое лицо, всей этой громадной комнаты не видно. Отлично! Признаюсь, меня угнетают эти излишние квадратные метры. Как это?.. Надо, чтобы в жизни было тесно, а в сердце просторно... Или что-то в этом роде. Я всегда забываю умные изречения. Может быть, потому, что умные изречения не очень-то помогают жить? Как думаешь?

Весело звучал голос Елены Николаевны, напористо, бойко произносила она слова, а какое у нее лицо сейчас было — этого Майя не видела. Лицо бы-

ло в тени, за пятном света. Но, конечно же, не так уж Елена Николаевна была беззаботна, как беззаботен был ее голос. Да и не о том она говорила, о чем хотела. Это она все еще только подбиралась к главному разговору.

— Ну, спрашивай, тетя Лена, — сказала Майя и упрямо наклонила голову, вовсе не готовясь к исповеди.

— Да ты ведь не скажешь, не станешь говорить.

— Смотри о чем ты спросишь.

— О нем спрошу, Майя. Что за человек?

— Ты считаешь его плохим?

— Я ничего не считаю. Я пока думаю. Я тут все эти часы так и сяду кроила свои мыслишки. И, знаешь, все время заступалась за твоего парня. Сама перед собой. Разделила себя на две половинки и заспорила. Одна половинка кричит: он скверный, он утащил куда-то твою племянницу, он хитрый, коварный, не верю ему! А другая половинка знает себе твердит: он милый, он добрый, доверься первому чувству. Замучилась я, споря, извелась совсем. Ну, пособи, растолкуй, какая из моих половинок права.

— Он хороший, — сказала Майя. — Та твоя половинка, тетя Лена, которая верит, не ошиблась.

— Не знаю, не знаю. Ох, не знаю. А почему утащил тебя? Что это за поведение? И разве у них там так водится? Ведь ты не шлюшка какая-нибудь, прости меня, дружок. Нет, сомневаюсь я что-то.

— Не ты, тетя, не ты, а другая твоя половинка.

— Пусть так, но она побеждает. Когда к полночи время подошло, я уж не двоилась, а целиком усомнилась.

— Только в нем? Все только он виноват? А я и в расчет не берусь? Я ведь тоже с головой, тетя Лена.

— Ты девушка. И потом, что там ни говори, ты дочь академика Сергеева. Пойми и не отмахивайся от этого, а пойми.

— Я не отмахиваюсь. Я бы рада отмахнуться, но не могу. Что ж, да, я забылась. Вот и все, я забылась, я час-другой была счастлива, ни о чем не вспоминала. Вот и все. Потом вспомнила. А ему и вспоминать было нечего. Он просто был счастлив. Мне кажется... Вот и все. А ты уж, тетя, бог весть чего заподозрила. Знаешь, мы просто не заметили, что вечер, что поздно. Мы не заметили.



— Он обязан был заметить. Он мужчина, он отвечал за тебя.

— А он не заметил! Вот и все! Пойми, тетя Лена, мы слишком насторожены, это у нас от старого. И даже отец... Пойми!

— Павлик наш неглупый, Машенька. Ты не спеши, не торопись с выводами.

— Вот видишь, вот и слились твои половинки в одну, в ту, что подозревает. Как жаль, тетя Лена... Я думала, ты другая.

— А почему это я должна быть какой-то другой? С чего бы это?

— Потому что... потому что, я знаю, ты любила...

— А, вспомнила эту историю? Ты же тогда была еще несмышленишем.

— Мне рассказывала мама. Да и ты мне рассказывала.

— Я? Никогда!

— Всякий день почти, когда гостила тогда у нас. То вдруг задумаешься, а я уж знаю — это ты о нем задумалась. То вдруг фразу странную обронишь, про трудное что-то. А я уж знаю — это ты о нем опять. Я все про тебя знаю.

— Все ли? Двадцать лет, как вы спешите решать! Двадцать лет... Нет, Машенька, я тебе не судья. Но молю, молю тебя: остерегись! Я тоже кинулась тогда, как с обрыва в речку. А речка-то повысохла. И я очень ушиблась тогда. Очень! Пожалуй, знаешь ли, на всю жизнь...

Елена Николаевна поднялась, досадливо провела пальцами по набрякшим для слез щекам. Не вышел разговор, не туда свернул. Чего там вспоминать о старом, когда и новых забот и новых горестей хоть отбавляй. Не вышел разговор!

— Спать, спать, — сказала Елена Николаевна. — Приму лошадиную дозу снотворного и попробую заснуть. — Сутулась, несчастная, она обернулась уже от двери и твердым голосом, мучительно трудно раздобывая в себе этот твердый голос, сказала: — Майя, ты все же не броди со своим американцем по целым часам где-то там по улицам. Пусть пожалует к нам в дом. Как водится, как у них, кстати, водится. Да, пусть пожалует к нам в дом! — Она с силой, сердито прихлопнула за собой дверь. Не вышел разговор!

А Майя поднялась, сняла плащ, зажгла верхний свет и медленно начала кружиться по комнате, танцуя, как танцевала с Лэмом. Но вот остановилась, покачнулась, будто очень уж закружилась, и вдруг упала на диван, изо всех сил сжимая ладонями голову. Что-то она увидела, должно быть, что-то помешало ей, страшное что-то, горестное.

Да, все снова встало перед глазами — все вспомнилось, сразу вдруг вспомнилось... Мамино лицо, странно маленькое, странно помолодевшее, и ее рука на простыне, белее простыни, и серое лицо отца в изголовье. И сумрак этой комнаты, где не было стен, окон, неба за окнами, а был только сумрак, сумрак. «Мама, почему?!» — закричала тогда Майя, и сумрак, сумрак заслепил ей глаза...

— Мама, почему?! — снова повторились, вырвались вслух у Майи эти слова.

Она вскочила, вытянула вперед руки, ничего не видя в своей ярко освещенной комнате.

Ее привел в себя шум подъехавшей к дому машины. Ночью всякий звук узнается, и Майя узнала его. Это был добрый звук, радостный, он мягко прошуршал ей свое доброе известие: приехал отец. Майя выбежала на балкон, перегнулась через перила. Отец усталое шел от машины, провожаемый Владимиром Ивановичем, его помощником. Майя собралась окликнуть отца. Ей важно было услышать его голос, не дожидаясь, когда он поднимется в дом. Услышать, чтобы убедиться, что с ним все в порядке. Но она не оклинула отца, не успела. Какой-то человек отделился от стены, и его тень заступила дорогу отцу и Владимиру Ивановичу. Круглая тень, вытянутая и все равно круглая. А-а, это тот самый! Он о чем-то заговорил с отцом, он мешал ему и Владимиру Ивановичу пройти в подъезд. Мерзкий, мерзкий человек! Прилипла! Майе захотелось крикнуть отцу: «Да не слушай его! Иди скорей домой!» Она едва удержалась, чтобы не закричать этих слов на всю уснувшую улицу. Отец слушал, значит, так надо было, не ей было учить его, как поступать. А круглая тень все говорила, говорила, короткие выбрасывая в сторону отроки. Это были руки. Круглый человек размахивал ими, горячился. А отец слушал его спокойно, его тень была неподвижной. Но было в ней что-то и иное, не одно

только спокойствие. Было в ней и какое-то напряжение, будто отец, слушая, выпрямился во весь рост, будто стиснул, слушая, кулаки. О, она знала его таким! Он бывал таким очень редко, но он бывал и таким, и тогда она его боялась. И все в доме боялись. Что-то не получалось у него, что-то злило, угнетало, и он вдруг сжимал кулаки. Но сейчас-то почему? Сейчас-то что заставило его так напрячься?..

— Добрый вечер, Павел Николаевич, вернее сказать, добрая ночь, — вкрадчиво произнес круглый человек, отделяясь от стены, едва только Павел Николаевич вышел из машины.

— Здравствуйте, здравствуйте. — Павел Николаевич устало кивнул и обернулся к молодому, коренастому, военной выправки человеку, провожавшему его от машины. — Владимир Иванович, завтра заезжайте за мной часам к десяти.

— Хорошо.

Молодой человек встал между своим академиком и румянощеким пенсионером с явным намерением оградить Павла Николаевича от докучливой ночной беседы с праздным соседом.

— Спать, спать пора, папаша, — сказал он ему. — Вышел на пенсию, ну и спи.

— Да вот не спится, дорогой товарищ. Может, кто из ваших и спит, а я вот посему вынужден бодрствовать. Павел Николаевич, у меня к вам конфиденциальный есть разговорчик.

— Потом, потом как-нибудь, — сказал Владимир Иванович. — Товарищ академик устал. — Владимир Иванович легонько нажал прочным плечом на круглого человека. Но тот уперся. И, кстати, у него тоже прочным оказалось плечо, даром что пенсионер. Владимир Иванович не без удивления обнаружил, что не может сдвинуть этого пенсионера с места.

— Что тут у вас происходит? — спросил Павел Николаевич. — Что у вас за дело ко мне, товарищ?

— Да вот, не дают сказать. — Круглый человек чуть задохнулся от досады. — А дело-то не мое, не моя забота, а ваша.

— Забота? Я вас слушаю.

— С глазу на глаз хотелось бы... Ввиду особых обстоятельств. По-соседски...

— Хорошо, я вас выслушаю. Владимир Иванович, поезжайте.

— Павел Николаевич, да он же вам голову заморочит. Я ведь знаю этих деятелей. Начнет сейчас сплетни разводить про весь дом...

— Ничего, ничего, поезжайте.

Они остались вдвоем — Павел Николаевич и круглый человек, но машина, в которую сел Владимир Иванович, продолжала стоять на месте. Владимир Иванович издали охранял своего академика.

— Так что за забота? — спросил Павел Николаевич. — Только покороче.

Круглый человек озлился: он с добром, а ему грубят.

— Могу и покороче. — Он взмахнул короткими своими руками. — Хотел как деликатнее, но могу и напрямик. Так что, товарищ академик, дочка ваша тревожно себя ведет.

— Как?

— Прогуливается от утра до полуночи с иностранцем. Похоже, американец, акцент соответственный да и их сложения.

— Вы все сказали?

— Не верите?

Круглый человек задрал голову, чтобы получше рассмотреть в лицо своего высокого собеседника,

чтобы уловить в этом лице растерянность, испуг, может быть. Он ничего такого не разглядел, не повезло ему: лампа в подъезде светила хоть и ярко, но свет ее косил, не попадал на лицо Павла Николаевича. Свет ее, как назло, бил в лицо ему самому. Круглый человек попытался, чтобы выбрать более выгодную позицию.

— У вас все? — Павел Николаевич шагнул было вперед, но круглый человек продолжал стоять на пути.

— Ясно, вы мне не верите, — сказал он. — Что же, я это предвидел. Могу доложить про все действия вашей дочери минута в минуту. — Он выхватил из кармана листок, начал читать, протокольную придав голосу сухость: — Вчера вечером, в двадцать один ноль-ноль, иностранец появился у вашего дома, спросил меня, верно ли нашел подъезд, поднялся в лифте на четвертый этаж и был впущен в вашу квартиру. Раз! Сегодня утром, в десять утра, ваша дочь вышла из дому, быстро проследовала за угол в имеющийся там сквер и была встречена все тем же иностранцем. Два! Сегодня же, в восемнадцать часов ровно, ваша дочь снова встретилась с этим иностранцем на том же сквере, а затем они проследовали в близлежащее кафе, где пробыли недолгое время и исчезли по направлению к центру. Возвратилась ваша дочь домой только около двадцати четырех часов, провожаемая группой лиц, ехавших на машине, иностранной марки, с номером для иностранцев. Тот самый, с кем она провела весь день, после и провожал ее до подъезда и до лифта. Вот вам три, и четыре, и даже пять. Все это факты! — Круглый человек протянул Павлу Николаевичу листок. — Могу вручить вам этот документик. Для памяти!

Павел Николаевич взял листок, поглядел в него, потом сложил и медленно разорвал, сложил и опять разорвал, сложил и снова разорвал, а потом отбросил от себя брезгливо горстку растерзанных клочков. Он был спокоен, совершенно спокоен, если не считать этой вот расправы над листком, этих вот побелевших от натури пальцев.

— Сочувствую, сочувствую вам, как отцу, — сказал круглый человек, носком ботинка загоня бумажные клочки в уголок, к водосточной трубе, — он был человеком аккуратным, его раздражал этот не-порядок. — И как крупному ученому. Я же понимаю, не маленький, какая тут может быть неприятность. Сочувствую. Жаль, супруги вашей что-то давно не видно. Я бы лучше ей рассказал. Женщины — они с большим подходом в таких делах, да и вас бы поберег. Я понимаю... Такая работа, понимаю...

— Ну, мне можно идти?

— Так я разве вас держу? Не моя забота, ваша забота. Я только просигнализировал. По-соседски. Хуже будет, если по другой линии начнут сигнализировать... Там пока спят, похоже, что спят, но ведь не век же им спать...

— Не вы ли их разбудите? — Павел Николаевич завел руку, чтобы отстранить со своего пути прочного этого, как тумба, человека, но тот опередил руку и сам подался в сторону.

— Как знаете, как знаете, — сказал он в спину Павлу Николаевичу и недоуменно вобрал голову в плечи. — Академик!.. Эх, времечко!.. Тень его совсем теперь стала круглой. И тень эта медленно вкапталась в соседний подъезд и сгинула там.

Только теперь тронулась с места машина, увозя Владимира Ивановича. Улица опустела.

Майя услышала, как защелкнулась дверь лифта. Наконец-то! Она пробежала через комнату в пе-

реднюю и стала ждать, вслушиваясь в натужное гудение стального каната. Она считала: «Раз! Два! Три! Четыре!..» Лифт замер на их этаже, щелкнул замок лифта, послышались шаги отца.

— Наконец-то! — Майя распахнула дверь.

— Ты ждала меня?

— Очень!

— Но ведь поздно.

— Я недавно вернулась. Папа, мне нужно рассказать тебе...

— О чем?

— Знаешь, я познакомилась с одним американцем. Он очень славный, поверь. Он приехал изучать творчество Тютчева. Представляешь, американец изучает творчество Тютчева! Впрочем, он не чистый американец, мать у него русская. А отец — врач.

— Врач — это тоже национальность?

— Ну, какой ты! Я просто хотела сказать, что Дэви не из каких-нибудь там миллионеров.

— Дэви?

— Да, это его имя. Если покороче. Вообще-то он Дэвид. А фамилия у него пресмешная: Лэм. Та же транскрипция, что и у слов «ягненок», «барашек», «овечка».

— Я вижу, ты уже немало знаешь о своем ягненке, барашке, овечке. Когда же вы познакомились?

— Вчера вечером.

— О, порядочный срок. Ну, пошли спать, доченька.

— Ты осуждаешь меня? Ты мной недоволен? Поверь, он хороший.

— Нет, я доволен тобой, дочь. А теперь спать, спать, утро вечера мудренее.

10

Елена Николаевна после ночного своего разговора с племянницей не на шутку пала духом.

— Павлик, ты хоть поговори со мной, — сказала она, придя поутру к брату в кабинет. — Ты хоть дай мне руководящие указания.

— Какие еще указания? Вы с Майей дружите, как я заметил, вот и продолжайте в том же духе.

— Я плохая наставница, Павел. — Скверную ночь провела Елена Николаевна, худо, видимо, спала, хоть и приняла лошадиную дозу снотворного. Она стояла у окна, хмуро глядя на улицу, где скверный, осенний разыгрывался денек. — Смотри-ка, погода совсем как в моем разлюбезном Ленинграде.

— Вот и развеселились. Говорят, ленинградцы только в такую погоду и начинают чувствовать себя счастливыми. — Павел Николаевич подошел к сестре, ободряя, улыбнулся ей, близко заглянув в глаза. — Ну что, сестра? Что тебя гложет?

— Ответственность, Павлик. Я привыкла жить безответственно. Когда нет мужа, когда нет детей, когда работенка совсем плевая — все это ужасно. Но есть у всего этого и одно преимущество: живешь вот именно безответственно, днем одним, сама собой. Хоть град, хоть хлад — тебе все ни-почем.

— А сейчас?

— А сейчас ты взвалил на меня тяжеленькую ношу. Шутка ли, девке двадцать лет. А что, если влюбится в кого-нибудь ненароком? А что, если причуда какая-нибудь взбредет в голову?

— Тебя что-нибудь тревожит? Что-нибудь определенное?

— Трудный вопрос, Павел. Скажу — вроде как нажаловалась, наябедничала. Худо это. Не скажу — вроде как утаила, прикрыла. Опять худо.

— Это ты про американца?

— Так ты знаешь, уже донесли?!

— Донесли, вот именно. Но я доносы не запоминаю. Мне Майя сама вчера рассказала об этом парне. Знаешь, я был просто счастлив.

— Что рассказала?

— Да. Раньше она ничего мне не рассказывала. Разве что какие-нибудь пустяки, походя. А тут...

— Раньше, Павел, у нее была мама.

— Да-да, была мама... Ты полагаешь, у Майи с этим молодым человеком начинается что-то серьезное? Ты мне подскажи, я ведь могу и не понять. Ольга бы поняла, а вот я... Так ты полагаешь, что это серьезно?

— Павлик, Павлик, кто тут что может полагать? Она очень взволнованна, она сама в себе какая-то. Это хорошо, что она с тобой была откровенна. И это, думается мне, грозный признак. Да, я полагаю, девочка захвачена сильным чувством. А вот серьезно ли это, велика ли беда — вот этого сказать не могу.

— Но почему беда?

— А тебе неясно? Мне тебе, что ли, растолковывать?

— Да, неясно. То, что я физик, что на секретной состою работе, — это вовсе не означает, что моя дочь не вправе полюбить, не вправе быть счастливой. Нет, не означает!

— Но она полюбила, боюсь, что полюбила американца.

— Что же, если полюбила, если действительно полюбила, я не стану у нее на дороге.

— Ты позволишь ей выйти за него замуж? Может быть, даже уехать с ним?

— Сама, пусть сама решает. Приказать, запретить, запереть — это легче всего. Но эти запреты от века не приносили людям добра. А я хочу, чтобы моя дочь была счастлива. Сама, пусть сама решает.

— Какой ты смелый, Павел.

— Я стараюсь быть справедливым, только и всего. Дочь не виновата, что ее отцу и матери пришлось включиться в соревнование с теллерами. Не виновата, а уже стала сиротой. Не виновата, а имя отца, как некое табу, преграждает ей путь к свободному выбору своей судьбы. Я не допущу этого. Мой путь — не ее путь.

— Так что же прикажешь делать?

— Быть ее другом, вот и все, быть ее другом, родным ей человеком.

— Павлик, я что-то оробела. Прости меня, я не такая смелая, как ты, я, признаться тебе, трусиха. Это у меня с тех пор, ну, с довоенных еще лет. Злюсь на себя, потешаюсь над собой, а ничего поделать не могу.

— Время ведь другое, Лена.

— А страх старый. Так что вот, особенно на меня не надейся... — Елена Николаевна порывисто обняла брата, поцеловала его в щеку, всхлипнув вдруг. — А ты смелый, ты справедливый, я горжусь тобой.

Павел Николаевич наклонился и тоже поцеловал сестру, задержал свои губы у ее лба. Они постояли так недолго, у сестры слезы стояли в глазах, а губы улыбались. А брат зажмурился, будто вспомнил что-то далекое, миновавшее. Потом он выпрямился, строго и отрешенно глядя перед собой.

— Что же это я? — спохватилась Елена Николаевна, направляясь поспешно к двери. — Тебе ведь на работу пора.

На пороге она встретилась с Владимиром Ивановичем. Он почтительно поздоровался с ней, улыбочкой, оживленный.

— Здравствуйте, здравствуйте, — приветливо сказала Елена Николаевна. — Вы такой весь сияющий, словно собираетесь с нашим Павлом Николаевичем не на работу, а на футбольный матч. Где, скажите, вы зарядились в этот пасмурный денек своим весельем? Или вам по долгу службы полагается улыбаться?

— Конечно, служба обязывает, — рассмеялся Владимир Иванович. — Вместе с уроками самбо и бокса я ходил еще на лекции хорошего настроения. Здравствуйте, Павел Николаевич, машина у подъезда.

Елена Николаевна вышла, притворив за собой дверь.

— Садитесь, Владимир Иванович, время еще есть. — Павел Николаевич подвинул кресло своему помощнику, подождал, когда тот сядет. Сам он остался на ногах. И заходил по комнате, бесцельно задерживаясь то у окна, то у стола, то у книжных полок. Ходил и молчал, хотя губы у него нервно подергивались от подступивших слов.

Помощник, который среди прочих наук прошел, должно быть, и науку терпеливого ожидания, невозмутимо сидел в кресле, улыбочкой и отсутствующий. Академик размышлял, и следовало беречь его размышления. Ограждать от всяческих помех, оберегать, а надо — так и загородить своим телом — в этом и заключалась работа помощника академика.

Павел Николаевич заговорил наконец:

— Знаете, о чем мне поведал вчера тот пузатый гражданин? Он, оказывается, выяснил, что моя дочь познакомилась с неким молодым человеком из Соединенных Штатов. Точнейший график их знакомства мне представил, по минутам. Этот мой округлый сосед — это день вчерашний, который смердит. Я порвал его график. Дело в том, что о знакомствах моей дочери я хочу узнавать лишь от нее самой. Иначе это будет подсматриванием и подслушиванием. Нет ничего отвратительней подобных отношений между близкими людьми. И я был счастлив, я был просто счастлив, когда дочь, едва я только вернулся домой, сама мне обо всем рассказала. Понимаете, сама! Я безмерно дорожу ее доверием. Я буду в отчаянии, если это доверие прервется, если его спугнут. Вы понимаете, о чем я?

— Понимаю, Павел Николаевич. И я рад, очень рад, что Майя Павловна сама вам обо всем рассказала...

11

Отец уехал. Шуршащий звук шин казался Майе добрым, когда машина привозила отца, но не когда увозила. Тогда этот звук был злым и не шуршал он вовсе, а шипел. Отца не принято было провожать, но Майя все же вышла на балкон и помахала отцу рукой, когда он сел в машину. И машина умчалась. Куда? Там, куда умчался отец, нет адреса, а взамен имени тому месту дан номер: почтовый ящик номер такой-то. И в этом почтовом ящике работают люди, что-то там делают, что-то испытывают, и у ее отца там громкое имя. Но за что, но каков он в работе, — Майе не узнать никогда, никогда. Ей не увидеть отца в минуту самого его большого душевного подъема, не замереть, гордясь, слушая, как он отдает какие-то самые важные распоряжения. Он сокрыт от нее, она только догадывается о его силе, могуществе, высоком его ра-

зуме. Горько! Как горько! И страшно, как страшно за него теперь, когда они остались вдвоем!..

Машина скрылась за углом. Елена Николаевна позвала Майю с балкона: начал накрапывать дождь.

— Я поброжу немножко, — вдруг решила Майя.

— Дождь ведь.

— Он нестрашный.

Майя повязала косынку, подняла ворот у плаща и выбежала на лестницу.

На улице Майя вскинула глаза: так и есть, тетя Лена стояла на балконе и смотрела на нее, так тревожно подавшись вперед, словно Майя отправилась не по улицам побродить, а бог весть куда, на край пропасти, например.

Тетя Лена подняла руку и помахала Майе, совсем так, как только что Майя махала отцу. Но отец уехал в опасное, в таинственное, а Майя всего только шла по тихой московской улице. Ну, не глупо ли тревожиться за всякий ее шаг?

Майя свернула за угол. Смешно, ноги сами по себе повели ее на этот вымерший под дождем, чахлый скверик. Незачем ей туда было идти, она и не собиралась туда сворачивать, но ноги вот сами свернули. Да и какая разница, куда идти...

Нет, сквер все-таки был не совсем безлюден, кто-то сидел, нахохлившись, на их скамье. На какой это еще — на их? Что за глупая мысль?! Оттого, что она посидела минуту на этой скамейке с Лэмом, — это уже ее и его скамья? Очень глупая, жалкая мысль! А где он, кстати, этот ягненок, барашек, овечка?..

Майя поравнялась с сидевшим на скамье человеком, и он поднял голову. И это был Дэвид Лэм. В смешной какой-то кепочке из того же материала, что и плащ, в кепочке, которая невероятно ему не шла, просто удивительно, как не шла. Какой-то мальчуган, длинноногий, лупоглазый мальчуган с капельками дождя и веснушками на носу.

— Но я могла бы ведь не прийти сюда, — сказала Майя, протягивая ему руку. — Вообще никогда, никогда.

Он вскочил, устоял на ней, будто на чудо.

— Я молился, чтобы вы пришли.

Она глянула на него: он ничуть не шутил.

— И долго бы вы тут просидели?

— Не знаю.

— Но не прощайте ли было позвонить мне?

— О нет, не прощайте! Я боялся, что вы откажете мне.

— Напротив, я бы позвала вас в гости. Моя тетушка велела мне звать вас в дом. Она сказала: «Как водится, как у них, кстати, водится». А как у вас, кстати, водится?

— Не знаю. Наверное, ваша тетушка права.

— У меня к вам просьба, — сказала Майя.

— Пожалуйста.

Лэм насторожился, напрягся, наперед готовый на все, о чем бы его ни попросили. Эта отчаянная готовность рассмешила Майю.

— Нет, нет, прыгать в пропасть я вас не попрошу, мой рыцарь. Я хочу только, чтобы вы сняли свою кепку. Если, конечно, вы не боитесь простуды.

Лэм судорожным движением сдернул кепку и сразу стал совсем другим. А каким? Такой, пожалуй, мог бы и в пропасть кинуться. Отчаянный он какой-то сделался. Ветер поднял его волосы, открыл высокий лоб.

— О чем вы думаете? — спросила Майя.

— Не знаю. Я не думаю, я смотрю на вас.

Майя смутилась, отвела глаза.

— Так и будем стоять под дождем? — Она взяла

Лэма под руку. — Пошли ко мне, Дэви, я напою вас чаем. Вы давно здесь?

— О нет. Какой-нибудь час. Прошу вас, походите по улицам. — Он виновато вобрал голову в плечи. — Я немного страшусь вашего дома. Прошу вас...

— Но только недолго, совсем недолго.

— Совсем недолго.

Они вышли из сквера, и Майя вдруг побежала, потянув Лэма за руку. Как тогда, как вчера вечером. Но разве это было вчера вечером? Совсем недавно так? И разве они познакомились с Лэмом еще одним днем раньше? А Майе казалось, что они знакомы долго-долго. Как обманчиво бывает время, каким оно порой бывает емким...

Они выбежали к стеклянному кубу кафе Марьи Герасимовны. Как тогда, давным-давно когда-то, вчера вечером.

— Зайдем? — предложил Лэм.

— Добились все-таки своего?

Они рассмеялись, поглядев друг на друга.

Марья Герасимовна встретила их, как старых знакомых.

— А я все думаю, не придут ли мои ребята. Пришли! А ведь куда вам и деваться?.. — Переваливаясь, вышла Марья Герасимовна из-за стойки, подошла к двери, замкнула ее, повесив объявление, что кафе закрыто. — Вот так-то лучше будет, — сказала она. — Да и дождь, все равно никого нет. Устраивайтесь, устраивайтесь, ребята. Заказ вчерашний?

Майя выбрала тот же столик, что и вчера, села на тот же стул.

— Заказ вчерашний, — улыбаясь, сказал Лэм. — Не правда ли, Майя?

Она кивнула.

И вот уже поплыли на подносе к ним крошечный графин с коньяком, крошечные ликерные рюмки, бутылка фруктовой воды, плитка шоколада. Выставив все это на стол, Марья Герасимовна отошла в сторонку, подперла по-деревенски ладонью щеку и стала глядеть, сумрачная, как погода за стеклами, на своих юных посетителей. А те, не прикасаясь ни к чему, что принесла им Марья Герасимовна, сидели молча друг против друга, наклонившись друг к другу, и глядели — он на нее, она на него, глядели, словно прощались на веки вечные.

Марья Герасимовна не выдержала этого молчания.

— Выпили бы, что ли, страшно на вас смотреть. Ну, хоть и я с вами за компанию. — Она вернулась к стойке, извлекла початую бутылку «Столичной», взяла стакан, какой-то закуски и со всем этим припасом явилась к столику Майи и Лэма.

— Садитесь, пожалуйста. — Лэм встал, выдвинул ей стул.

— Нет, я на минуточку. Да и не люблю я эти стулья колченогие. Это у вас там, в Америке, на таких стульях привыкли сидеть. Ну, голуби, мне бы ваши заботы! Хлебнем! — Марья Герасимовна чокнулась с Майей и Лэмом и не спеша выпила содержимое своего стакана, будто то вода была.

— Какие у вас заботы, Марья Герасимовна? — сочувственно спросила Майя.

— Э-э, начну рассказывать — разревусь. Не обо мне речь — о вдовой да одинокой. О вас моя сейчас печаль. Совет хочу вам дать. Не погоните?

— Говорите, — сказала Майя и села попрямей.

Марья Герасимовна заглянула в пустой стакан, поколебалась, добавить ли еще, но решила не добавлять, потом призадумалась, а стоит ли говорить, и решила все же, что стоит:

— Ну, хорошо, скажу... Любим это мы друг дружке советы давать. Умные это мы для других. А сами-

то, сами... Ну, вот что, голуби, если это у вас всерьез, так обрывайте ниточку. Почему? Да потому, что ты, деточка, здешняя, а ты, сынок, тамошний. Разделенные вы.— Задумалась, глянула опять на свой стакан и все-таки долила в него, пригубила.— Грамотность моя небольшая, но университет и я прошла. На войне. Не дай господи, если умные да грамотные опять сгруппят. А крику нынче много. И стрельбы хоть отбавляй.— Марья Герасимовна печально взмахнула рукой и вдруг этак лукаво подмигнула Майе: — Ну, а ежели позабавиться — так отчего ж... Ухожу! Ухожу! — И, подхватив свою бутылку, она поспешно отошла от стола, снова водворилась за стойкой.

— Да, Дэви, Марья Герасимовна права, она права, — печально сказала Майя. — Нам надо порвать эту ниточку, Дэвид Лэм.

— Но почему, почему?

— А потому... потому, что я здешняя, а вы, Дэви, тамошний. Да, это так.

— Но я не умею этого понять! Не хочу понять! — Лэм вскопился. — Это страшное заблуждение, Майя, горькое заблуждение! — Он улыбнулся, он захотел смягчить боль своих слов. — В конце концов мы соседи. На космической ракете от Москвы до Нью-Йорка каких-нибудь тридцать — сорок минут.

— Смотрите! — Майя быстро протянула руку. — Смотрите! Опять он!

Лэм оглянулся: за стеклом, за дождевым туманом медленно приближался к ним круглый человек. На нем был плащ с капюшоном, и он был похож в своем плаще на сторожевую будку.

— Как думаете, он нас не видел? — Майя быстро вышла из-за стола. — Дэви, мне пора, мне пора домой. Пойдемте!

— Но почему, почему? Вас испугал этот человек?

— Идемте, идемте!..

12

В тихом московском переулке, в старом московском доме, из тех, что некогда назывались «доходными», жил с женой, занимая одну из небольших квартир, Генри Бенсон. Он почти ничем не отличался от прочих жителей дома, от коренных москвичей. Да он и сам был, по сути, коренным москвичом, он сжился с Москвой, здесь доживал он уже двадцатый год, лишь изредка, в отпуск, наезжая в свои Штаты. Он и женился в Москве, и женился на русской. Он почти никогда, даже и дома у себя, не говорил на своем родном языке, предпочитая ему язык жены, язык страны, где он работал, куда приехал, думая, что на год, а застрял на два десятилетия. И что уж там хитрить с собой, он застрял здесь до самого конца, до того дня, когда старость заставит бросить работу. Да, вот тогда, может быть, Генри Бенсон возвратится на свою забытую родину. А пока, и надолго, он стал москвичом, мало чем отличаясь от своих соседей по дому, все меньше и меньше от них отличаясь. Разве что среди прочих машин его машина была всегда иностранной марки. То «форд», то вот «фольксваген». Разве что одет он был всегда во все иностранное. Но эти различия нынче все менее бросались в глаза, москвичей уже нелегко было по одежде отличить от иностранцев. У иных и машины завелись иностранные. И Генри Бенсон, досадуя несколько, все чаще убеждался, что он совсем стал таким, как и все вокруг, что никто на него уже не оглядывается, как когда-то, что он перестает казаться для окружающих иностран-

цем. Даже и акцент его становился все неприметнее, а русская речь стала утверждать свой собственный акцент в его английском на американский лад языке. Порой это огорчало Бенсона: уж очень он укоренился на чужой земле. А своя земля, а не потерял ли он ее?

Проводив Майю, Дэвид Лэм направился к Генри Бенсону, зная, что у того всегда отворены двери, надеясь, что найдет там сочувствие и сможет отвести душу в нетрудном разговоре, когда собеседник ни о чем тебя не спрашивает, не назойлив, не поучает, а хорошо умеет слушать и прелестные сбивает коктейли. Собственно, квартира Бенсона — это и был пока для Дэви единственный, если не считать Майино, дом в Москве, куда он мог поступаться. Нет, дом Майи был закрыт для него. Она звала его к себе, она и сейчас позвала, когда прощалась с ним в подъезде, но он робел к ней идти. Уж очень памятной была первая встреча с ней там, с этой девушкой, вдруг протянувшей к нему руки и вдруг оттолкнувшей. Чужая, в чужой стране и родная, знакомая, ожидаемая — и вот встреченная. И где же? В Москве, в тысячах миль от родного дома. Не предназначение ли это всевышнего? Ведь его мама тоже русская и тоже из Москвы. И эта девушка, которая сразу же заговорила с ним о том, жива ли его мать, и вскрикнула вдруг, убитая горем, вспоминая о своей умершей матери. Непонятный дом. Там царил веселье, но люди были печальны. Теперь-то он знает, почему, но тогда он подумал, что такой уж это дом, такие уж в нем законы существования, ибо он знал, ему Юра рассказал, что за профессия была у хозяина этого дома.

Бедная девочка, она чем-то скована, нелепый страх преследует ее, она боится какого-то вот назойливого старика, просто скверного, подсматривающего, праздного старика. Но почему? Почему? Ах, как было бы замечательно взять да и увести ее! Увести? Дэви Лэм, ты не оговорился, ты это серьезно? А что? Да, я это серьезно. Да, увести, да, назвать ее своей женой. И открыть ей мир, целый мир, стать для нее волшебным принцем из сказки. Поехать, куда она пожелает. Во Францию — ведь она чуть-чуть знает французский. В Англию — ведь она чуть-чуть знает английский. Может быть, в Индию? Майя, пожелай только, и мы отправимся в Индию или в Японию. А есть еще и Италия и Испания. Перед тобой весь мир. Папа-Дик даст денег. Он будет рад такой партии. Он не станет много распространяться про это, но он будет рад, что его мальчик пошел по стопам отца и вот вам — выкинул номер: привез жену из красной Москвы. Красавицу, умницу, дочь ученого. А мама будет просто счастлива. У нее появится дочь с ее далекой родины, она станет говорить с ней по-русски, станет жадно слушать каждое слово девочки, впитывая в себя настоящий, чистейший, родной и уже далекий язык. Да, увести, да, это было бы замечательно!

Но она еще ни разу не позволила тебе поцеловать себя, чудак. Откуда ты взял, что она согласится? Ты слишком размахнулся. Проснись! Очнись!

Бенсон встретил Лэма, сияя радушием. Лэм по пути позвонил ему, сказал, что зайдет, и Генри уже приготовил коктейль и прямо в дверях вручил Дэви его бокал.

— Согрейтесь, согрейтесь, мой мальчик. Вот и нагрянула на Москву осень. Вы не промокли? Привыкайте, привыкайте. Дождливых дней теперь будет множество. А потом пойдет снег, и это будет тянуть-ся целую вечность.

Следом за хозяином, скинув плащ, Лэм вошел в гостиную, довольно большую комнату, которую Генри превратил в настоящий бар. Вот уж где ничто не напоминало Москву. Самая настоящая стойка бара была здесь, и высокие вращающиеся сиденья, и целая стена в полках, уставленных всевозможнейшими бутылками, бутылками и бутылочками в пестрой россыпи этикеток. Два окна, за которыми — Лэм не раз уже стоял у этих окон — бесконечные протянулись крыши, особенно скучные сейчас, должно быть, под дождем, были задернуты шторами. А на шторах были наклеены те самые солнечные жаркие, смеющиеся до ушей солнца, при взгляде на которые и самому нетрудно было улыбнуться. И свет в комнате горел ярко, празднично, жаркий рождая в комнате день, побуждая к жажде, как летом. Хорошо было у Генри. Вот бы привести сюда Майю — в этот крошечный уголок его, Дэвида Лэма, мира и спросить ее: «Девочка, тебе здесь нравится?» Но она не пойдет сюда, о, она не пойдет сюда, бедная девочка, настороженная, предубежденная, так согласно наклонившая голову, когда женщина в кафе сказала им: «Разделенные вы...» Почему, но почему?! Политика не должна мешать человеку быть счастливым. Как объяснить ей это?..

— Дэви, вы все еще там, все еще прощаетесь? — услышал Лэм смеющийся голос Генри. — Выпейте, это помогает при спуске на землю. И, кстати, познакомьтесь.

Только теперь Лэм увидел, что они не вдвоем в комнате, что в углу, в кресле, спиной к двери, сидит какой-то плотного сложения человек с сигарой в одной руке, с бокалом в другой, вскинув ноги на край журнального столика. Милая Америка, как ты вдруг вспомнилась по одному этому джентльмену! Милая сердцу родина!

Джентльмен обернулся вместе с креслом, все еще цепляясь одной ногой за край стола. Джентльмен оказался не молод. Он был тучен, краснолиц — видно, уже не первый бокал пропустил сегодня — и беспрдельно благожелателен. Что там улыбка Генри — у толстяка улыбка была куда щедрее, она могла посоперничать с техасскими солнцами на шторах.

— Приветствую вас, сэр, — сказал Лэм.

— Хэллоу, Дэви! Вудд. Ирвинг Вудд. — Толстяк швырнул на стол сигару и протянул Лэму мясистую, но твердую в пожатии руку. — Говорят, ты приехал к ним практиковаться в их языке, не так ли?

— Я приехал изучать творчество Тютчева.

— А, Тютчев! Что еще такое он изобрел, этот старик?

— Тютчев — гениальный русский поэт.

— Да-да, припоминаю... У этих русских все поэты — гении.

Соотечественник, увы, оказался не таким уж милым, едва только он заговорил. Громковатый, как у старого вояки, голос, и уж слишком этот Вудд был круглым каким-то и сияющим. Либо он очень был добрым человеком, либо прескверным.

— Специально притащился к старине Генри, чтобы встретиться с тобой, сынок, — сказал он и поднялся наконец, чуть не опрокинув утлый стол. — Выпьем за встречу, Дэви, в этой далекой, холодной Москве. — Он азартно поднес бокал к губам, но отпил из него осторожно, губы лишь замочил.

Лэм же с радостью выпил свою порцию. У него скверно было на душе, еще хуже стало на душе, чем до той минуты, когда вошел сюда. И уже не помогали ни яркий свет в комнате, ни подмигивающие, смеющиеся солнца на шторах. Пожалуй, их

можно было и отдернуть, эти шторы. К чему обман, зачем превращать московскую осень в техасское лето, пасмурный день в солнечный?

— Хотел бы я знать, сэр, чему обязан чести беседовать с вами? — спросил Лэм и направился к окну, чтобы отодвинуть хоть одну штору и удостовериться, что он в Москве, в осенней Москве. Условный мир этой комнаты, сияющий этот толстяк, его из железа выгнутые слова — все это просто необходимо было разбавить сереньким московским днем, ввести в действительность.

Толстяк последовал за Лэмом. А Генри куда-то вдруг исчез. Без него Лэму и совсем стало невмogu. Этот толстяк, пожалуй, был не из добрых, а был он... А кто он?..

— А кто вы? — вырвалось у Лэма.

Толстяк благожелательно смотрел на него. Он с готовностью и весело ответил:

— Наш друг Генри называет меня техасским ястребом в московском небе. — Толстяк расхохотался. — Милая шуточка, а?! Это я-то ястреб, парящий в небе! Вам не кажется, что наш Бенсон слишком засиделся в России? Он не красный, как думаете?

Лэм отдернул штору, и в комнату серый, не спеша, вступил день. И крыши, крыши увидел Лэм, им не было числа. И где-то там, под одной из этих мокрых, озлявших крыш, сейчас находилась Майя.

— Итак, слушаю вас, сэр.

— Но я ничего особенного не собирался тебе говорить, сынок. — Толстяк не замечал холода Лэма, его настороженности. — Я хотел только взглянуть на парня, который всего месяц в Москве, а такие уже знакомства, связи... Дочь такого человека... Другой на твоём месте успел бы только разложить сорочки в шкафу. Молодчина!

— И это все?

— О, конечно! А что же еще? Продолжай, продолжай в том же духе, мой друг. Изучай своего старика. У этих русских все поэты — гении. — Вудд залпом осушил свой бокал, показывая этим, что разговор действительно окончен. Да и какой, собственно, разговор? Просто мимолетная беседа мимолетно познакомившихся на чужбине соотечественников.

Вдруг толстяк усмехнулся, совсем как-то по-новому для себя, усмешкой этой стирая с лица улыбку добряка, и, как бес лукавый, сразу обрел иную личину. Скинул маску, надел новую. И это была маска начальника. И начальник спросил начальнически построжающим голосом:

— Не подумал ли ты, что я стану требовать от тебя каких-то там шпионских сведений? — Толстяк рассердился и стал даже величественным. — Какая чепуха! Мы в России, но мы американцы, и мы никогда не посягнем на личную свободу друг друга! — Кивнув сухо Лэму, Вудд повернулся и торжественно удалился из комнаты.

— Генри, проводите меня! — крикнул он.

Через комнату быстро прошел Бенсон. Почему он ушел, когда начался этот разговор? А какой разговор? Никакого, собственно, разговора и не было. Лэм с тоской посмотрел в окно. Ах, как худо ему сейчас было! Неужели же так может действовать на человека дождь, этот русский осенний дождь? Крыши, крыши... И где-то под одной из них Майя. Почему он не послушался ее и не поднялся к ней? Не было бы тогда встречи с этим Вуддом. Какой скверный толстяк! Так худо на душе.

Вернулся Генри.

— Уф, проводил! Трудно с ним. Очень громкий. Лэм шагнул к нему от окна:

— Скажите, Генри, зачем вы напустили на меня этого Вудда?

— А-а, я вижу, вы собираетесь меня в чем-то упрекать? Не делайте этого, мой мальчик. Вудд — это такой человек, который сам все знает и сам первый всюду сует свой нос. Просто ему было удобно выбрать мой скромный дом, чтобы поглядеть на вас. Только и всего. Гневайтесь на мой дом, но ради бога не на меня.

— Зачем я ему понадобился?

— А дьявол его знает! Это такой человек... Ну, Дэви, не всем же изучать творчество Тютчева или писать статьи, оповещая людей о новостях, до которых им нет никакого дела. Словом, это такой человек... Впрочем, в России он всего лишь турист, всего лишь турист... Но, кажется, вам повезло, и вы сумели отделаться от этого туриста.

Генри был сердечен, и ему тоже досадила своим приходом Вудд. Генри, как это часто бывает с людьми, уже начинающими опускать плечи, уже покорились своей судьбе, чуть что — и тянулся рукой к рюмке, которая, как известно, помогает если не повеселеть, то забыться. Вот и сейчас Генри Бенсон потянулся к рюмке, вернее сказать, к стакану, куда щедро плеснул себе виски, а затем быстро поднес стакан к губам, торопясь покончить и с Вуддом и с мыслями о нем.

Лэму стало жаль Бенсона, он посочувствовал ему, вдруг угадав по торопливому этому движению руки со стаканом, что Бенсон пьет, и давно пьет, и много пьет.

— Вам плохо здесь живется, Генри?

— Не скажу, чтобы очень хорошо. Но к черту меня! Излагайте, Дэви, что у вас там за неприятности?

— Я пришел просто поговорить, Генри. Веселого мало. Я встретил девушку, которую, кажется, полюбил. Да-да, не улыбайтесь, мне действительно так кажется. Но... вот говорят: я тамошний, а она здешняя, говорят, что мы разделенные. И так же думает и она, Майя. Что мне делать, Генри?

Бенсон снова налил себе, снова выпил. Когда твой собеседник пьет, а ты не пьешь, так кажется, что твой собеседник раз за разом, глоток за глотком делается все открытее перед тобой, делается все искреннее. Вот тут-то и слушай его. Вот теперь-то он не солжет, не схитрит, не увернется от ответа, не даст коварный совет. Бенсон пил и пьянел. Лэм больше не притрагивался к спиртному, он ждал как откровения, что скажет ему его пьянеющий собеседник.

— Вы правильно сделали, Дэви, что пришли ко мне за советом, — заговорил Генри, и голос у него был уже иным, он мягче стал и глуше, он перестал быть трезвым. Самый подходящий голос для такого разговора. — Да, вы правильно сделали, что пришли, хотя бы уже потому, что я скажу вам: не слушайте никаких советов, мой мальчик. И не валийте дурака, вот что. Если это любовь, то ее не пропускают сквозь пальцы, как горсть песка.

— Но... — начал было Лэм.

Бенсон не дал ему ничего сказать. Он сам хотел говорить, его захватила какая-то великолепная идея, которую немедленно же следовало обратить в слово:

— Рискуйте! Делайте глупости! Совершайте любые безрассудства! Если это любовь, если это любовь... На вашем бы месте, Дэвид Лэм, я бы попросту позабыл, что я американец, а она русская, что я верующий, а она безбожница, что я сын бизнесмена, а она дочь коммуниста. Если это любовь, если это любовь...

Необычайно одушевился Генри Бенсон, произнося все эти слова. Он стоял посреди комнаты, широко размахнув руки, и он мечтал, зажмурившись, мечтал за другого, и был он искренен, и несчастен, и добр.

Лэм кинулся к нему и крепко сжал его плечи, эти уже дрябловатые, осевшие плечи, но сейчас снова вскинувшиеся во имя дружбы.

— Спасибо вам, Генри. Я так и не знаю, что мне делать, но спасибо вам... Да, ведь и вы тоже женаты на русской. Да-да, я совсем забыл!

— Да, я женат на русской. — Бенсон невесело улыбнулся Лэму. — Но, Дэви, послушайте меня, во все не обязательно перенимать мой опыт. Жить на чужбине, все время подозреваемый людьми, а не шпион ли ты, жить без настоящих друзей, а только в кругу собутыльников — нет, Дэви, вас не должна прельщать моя участь!

— Но что же мне делать?

— Если это любовь, если это любовь?..

Генри опять потянулся к стакану. Он осел, он больше не рвался говорить, его одушевление прошло, сменяясь тягостным опьянением.

Бедняга Генри Бенсон, и жалкая эта комната, где все должно напоминать родину, но небо за окнами чужое, крыши чужие, а впереди бесконечная снежная зима.

13

Лэм не звонил день и другой. Неделя прошла — он не звонил. Сперва Майя готовилась сказать ему, когда позвонит: «Нет, нет, я не могу сейчас с вами увидеться. Потом когда-нибудь...» Ведь они решили порвать эту ниточку, она так решила. Но Лэм не звонил, и Майя смягчилась. Она была готова сказать иное: «Хорошо, мы встретимся, но только на минуточку...» А Лэм не звонил. Что с ним, с этим рыжим чудаком, с этим барашком, ягненком, с этой овечкой? Ну почему он исчез? Майя в эти дни прочла всего Тютчева. Он помог ей, удивительно как помог ей своими старинными и прекрасными словами понять самое себя, заглянуть в самое себя. Она спрашивала себя: «Это любовь?» Оца робела, медлила с ответом. А старый Тютчев отвечал: «Да, любовь». Он был смелее ее, отчаянее, этот старик с презрительной гримасой рта, с далеким взглядом за съезжающими очками, седой и хилый. Его стихи были так не похожи на него, что Майя запретила себе смотреть на портрет старика. Лицо его, лицо придворного остроумца, обманывало. Тютчев был не таким, он был нежным, несчастным, он любил, его убивала любовь. И как же он был безрассуден в своей любви и щедр! И больше всего на свете он страшился разлуки. Майю поразило его коротенькое, грозное стихотворение:

Увы, что нашего незнанья
И беспомощней и грустней?
Кто смеет молвить: до свиданья!
Чрез бездну двух или трех дней?

«Чрез бездну двух или трех дней...» Дэвид Лэм не звонил, он исчез.

Майя искала его. Робко, конечно, стыдась спрашивать о нем. Она просто ходила по коридорам университета — ведь он же приехал практикантом к ним в университет — и ждала, что вон за тем поворотом коридора она увидит его. Или вот войдет в аудиторию, а он там. Или вдруг сбежит по

умятым ногами старым ступеням, поднимет глаза, а перед ней он. Нет, его нигде не было. Майя решилась и спросила о нем у Юры Родичева. И тот с ним эти дни не встречался. Господи, да не уехал ли он назад в свою Америку?! Но почему, почему?! Хоть простился бы... Она не могла заставить себя попросить Юру разузнать что-либо о Лэме, на это она не могла решиться. Ведь Юра все шутит, все посмеивается, ему трудно довериться.

Уже шел сентябрь, но начало занятий откладывалось: большая часть их курса еще не вернулась с целины. Но Майя все равно каждый день ходила в университет. Она объясняла тете Лене: «Я опять к нему привыкаю, дышу его воздухом, разговариваю с ребятами». Все так, но главное было не в этом: она ходила в университет, надеясь встретить там Дэвида Лэма. Если бы она призналась в этом тете Лене, та бы выбранила ее, наверное. Но Майя и сама себя бранила, она хуже кого другого себя бранила. Да только не помогало это. И она вставала каждое утро, торопясь, словно опаздывала на занятия, и убегала в свой университет, в лабиринт его коридоров и аудиторий, где всякий миг мог встретиться ей Лэм. О, если она встретит его, она даже не кивнет ему. Она пройдет мимо, не заметив его.

Но Дэви не было, его нигде не было. Может быть, он просиживает целыми днями с Бенсоном в ресторане? Пойти туда? Нет, это нелепо! Да и что она ему скажет? Ведь она вообще не хочет с ним говорить. Ведь решено: встретив его, она пройдет мимо. Только и всего, пройдет мимо, и успокоится, и выбросит этого длинноногого парня из головы. Но, может быть, он болен? Может быть, он нуждается в ее помощи? Что делать, что делать?..

И снова утро, и снова бегом-бегом, словно опаздывала на занятия, умчалась Майя в университет.

Утро выдалось хорошее, без дождя, с горячим солнцем. В сквере перед Огаревым было полно студентов с филфака. Кто мог, кто был свободен, пришел сюда, чтобы еще чуть-чуть пожить в лете, проводить последний солнечный денек.

Майя вошла в сквер и вдруг увидела Сашу, Галкиного Сашу, который играл неподалеку на скамейке в шахматы. Чудной, вечно он со своими шахматами! Майе было безразлично, куда идти, она свернула к скамье шахматистов. Там и Галка была, наблюдала, гордо выпрямившись, за победными действиями своего Сашеньки. Он был неизменно победоносен в шахматах. За эту победоносность честолюбивая Галка, должно быть, его и любила. «Первая доска» — называли Сашу на курсе. С кем это он сражается, эта «первая доска»?

Майя подошла, партнер Саши сутулился над ходом, вокруг было много зрителей. Майя поздоровалась с Галиной, встала с ней рядом, обняв ее.

— Смотри-ка, а он умеет играть в шахматы, — ревниво сказала Галя.

— Кто? — спросила Майя.

— Да этот твой американец. Слушай, это правда, что у тебя с ним чуть ли не роман? — Галя понизила, конечно, голос, задавая этот вопрос. — Ну, девонька, ты меня изумляешь. И где ты все бродишь? Слушай, мне необходимо с тобой поговорить...

Отстранив рукой Галю, отстранив какого-то паренька, вставшего на пути, Майя шагнула к скамье. И тут ее увидел Лэм. Он вскочил и рванулся к ней.

— Майя!

— Дэви!

Никого не было кругом. И солнце не светило полетному ярко. Никого не было, ничего они не ви-

дели. Они видели только друг друга. Они взялись за руки и пошли.

Что-то кричал Лэму Саша, что-то говорила, нагоняя, Галя — они не слышали. Они держались за руки и уходили. А куда — они и сами не знали. Так очутились они за университетской оградой, потом свернули за угол. Теперь они и действительно были одни, совсем одни на людной улице Герцена.

— Вы не смели, не смели так долго пропадать, — сказала Майя и умолкла, испугавшись, что заплачет.

— Я боялся, — сказал Лэм.

— Чего?

Он не ответил.

Нет, им не удалось поговорить, их настигла все-таки Галя, лучшая Майина подруга, а у лучших подруг и у лучших друзей есть особые права, которыми они не могут не воспользоваться. Не во благо себе — во благо друга.

— Майя, мне очень, очень нужно с тобой поговорить, — сказала Галя и властно взяла Майю за руку. — Вы нас простите, надеюсь? — Она строго глянула на Лэма, кивнула ему, отпуская.

Лэм покосился и шагнул в сторону от Майи.

— Позвоните мне! — сказала Майя. — Сегодня же. Галя увлекла ее.

— Да ты не сходишь ли с ума, подружка моя?

— Пусты меня! — Майя вырвала руку. — Иди, Галя, я ни о чем не хочу говорить. Прости, я хочу побыть одна.

Троллейбус неподалеку остановился, распахнув свои загроможденные двери. Какая удача, что он тут остановился! Майя рванулась и вскочила в троллейбус. И двери захлопнулись за ней, отгородив ее от дружеского участия, дружеских советов. Троллейбус покотился.

14

По Москве, мимо Манежа, шел пьяный иностранец. Он смешно взмахивал длинными руками, он бормотал что-то, он озирался, часто останавливаясь, словно искал знакомого, чтобы заговорить с ним. Это был Дэвид Лэм, и он не был пьян. Он, пожалуй, был счастлив. Если бы его спросили сейчас, что с ним, он так бы и ответил: «Я счастлив». Ему очень хотелось заговорить с кем-нибудь, излить душу — и это верный признак счастливого человека. И ему все нравилось вокруг. Множество раз проходил Лэм мимо Кремля; он привык уже к этим стенам, и он знал, что это чужие стены в чужом городе и в чужой стране. А с чужим знакомым настороженно, не отдаешь чужому всего себя. Но сейчас Лэм как-то по-новому смотрел на кремлевские стены, на светлые купола и хмуроватые башни. Он изумленно смотрел и доверчиво. И вся Москва, какую он мог охватить взглядом, вся эта далекая для него Москва стала сейчас для глаз совсем иной, наново он ее увидел. Она не приобрела в красоте, она подобрела в его глазах, перестала быть чужой. И все потому, что Майя сказала ему: «Вы не смели, не смели так долго пропадать»? Да, поэтому. И еще потому, что она сказала: «Позвоните мне! Сегодня же!» Оказывается, этих слов вполне достаточно, чтобы перевернуть человеку душу, чтобы шел он, позабыв себя, размахивая руками и бормоча что-то, как пьяный. Пьяный от счастья. Вот, оказывается, какая колдовская сила таилась в этой девочке, в этой русской девочке Маше.

Но надо было все же и заговорить с кем-то, рассказать хоть кому-нибудь, какой ты счастливый, черт

побери, человек. Лэм вскочил в будку автомата, торопливо набрал номер.

— Генри! Дорогой Генри! — закричал он, едва только Бенсон поднял трубку. — Как здорово, что вы дома! Старина, мне необходимо повидать вас! Что стряслось?! Мне кажется, что я очень счастливый человек, только и всего! Вы принимаете счастливых соотечественников, Генри?! Чудесно! Хватаю машину и мчусь к вам!

Когда человеку везет в большом, ему начинает везти и в пустяках. Вот оказался же дома Бенсон. И вот оно и такси с зеленым огоньком, едва только Лэм вышагнул из будки. И вот и шофер из тех, что любят быструю езду.

Пяти минут не прошло, а Лэм уже вбегал в подъезд дома Бенсона.

Генри встретил его еще у лифта и с традиционным бокалом в руке.

— Счастливым я сбиваю покрепче, — сказал он, вручая бокал Лэму. — Но прежде чем мы станем пить, скажите все-таки, что с вами стряслось.

— Знаете, Генри, мне кажется, Майя ко мне безразлична.

— И это все?

— Но если это так, Генри, если она скажет мне «да!», то это будет означать, что ваш покорный слуга Дэвид Лэм решил последовать вашему примеру.

— Не совсем понимаю вас, Дэви.

— Я женюсь на ней, Генри. Я женюсь на русской.

— И увезете ее в Штаты? Она согласится, вы думаете?

— И останусь с ней в России. Совсем как вы, Генри.

— Ах, вот как, совсем как я?

— Учтите, Генри, что я занимался на факультете славистики. Собственно говоря, это даже логично, если я свяжу свою судьбу с Россией.

— Ах, вот как, это даже логично? Дэвид, мой мальчик, вы еще моложе, чем кажется. Ну-ну, не сердитесь. И пошли в дом. Лестничная площадка не место для принятия таких глобальных решений.

Бенсон выждал, когда Лэм переступит порог, и, дружески, легонько подталкивая в спину, провел его по коридору, ввел в гостиную, усадил в кресло.

— Сидите и пейте. В иных случаях спиртное проясняет мозги. — Бенсон взялся за телефонную трубку. — Хочу пригласить на нашу беседу еще одного соотечественника, — пояснил он Лэму.

Тот протестующе приподнялся:

— Генри, ни в коем случае!

Но Бенсон уже соединился, уже говорил:

— Слушайте, Ирвинг, садитесь в машину и приезжайте. У меня Дэвид Лэм. Он решил остаться в России, представьте себе. Но прежде он хочет с вами поговорить.

— Нет, я вовсе не хочу с ним разговаривать! — возмутился Лэм.

Бенсон повесил трубку, подошел к Лэму, наклонился и, как маленького, погладил по голове.

— Вам придется, Дэви, вам придется.

Лэм встал.

— Я немедленно ухожу.

— Что ж, идите. Но разговора этого вам не миновать, поверьте. Вудд такой человек, такой человек...

— Зачем вы его вызвали?! Зачем вы рассказали ему о моих планах?!

— Он бы узнал о них часом позже, днем позже. Дэви, я хочу помочь вам. Я хочу удержать вас от безрассудного шага.

— Но ведь вы сами советовали мне быть безрассудным! Вспомните: «Если это любовь, если это любовь...» Разве это не ваши слова?

— Мои. Но я не помню, чтобы я советовал вам остаться в России. Это уже не любовь, Дэви, а политика. Любите, добивайтесь любви, рискуйте, совершайте безрассудства — вот что я вам советовал. И это все — по законам любви. Собственно, у любви нет законов. Любовник — всегда захватчик. Вот я вам и советовал быть захватчиком. Ну, а вы, Дэви, вы, кажется, готовы сами отдаться в плен. Вы еще мальчик, мой друг, вы еще дитя. О Америке, каких же ты все еще наивных воспитываешь сынов! Не сердитесь, вы мне нравитесь, даю слово. Я не хочу вам зла. Ну скажите, а вы не подумали, что лучше бы было увезти эту самую Майю к нам в Штаты? О такой возможности вы не подумали?

— Мне рано еще о чем-либо таком думать. Я еще не говорил с ней. Я не знаю ее решения.

— Но уже о себе вы все решили?

— Да. Иначе бы я не смог заговорить с ней. Поймите, Генри, она совсем недавно похоронила мать. Могу ли я помыслить даже, что она бросит отца, едва только я попрошу ее об этом? Это было бы чудовищно с моей стороны.

— Но если это любовь, если это любовь?..

— Она не была бы счастлива, бросив отца. Нет, это невозможно. — Лэм горестно задумался, но вдруг встрепенулся, посветлел. — Вы сами, Генри, вы сами опровергаете себя собственным опытом. Вы женились на русской, и вы остались в России. Но это не все. Вы часто бываете на родине, вы там бываете каждый год, не правда ли? Но и это не все. Вы рассказывали мне, что с вами часто уезжает в Штаты ваша супруга. Разве это не так? А, вы молчите, вам нечего ответить! Ну так вот что я вам скажу: я намерен так же строить жизнь, как и вы. Россия — это будет моя профессия, я стану изучать ее литературу, ее язык. Но я не порву с родиной, о нет! Ну, скажите, так ли уж мой план бессмыслен и безрассуден?

— Чудесный план! Прямо-таки счастливые идеи, Дэви.

— Вы подшучиваете надо мной? Вы не хотите меня понять?

— Вот что, Дэви, давайте выпьем еще чего-нибудь, давайте подождем этого Вудда. Боюсь, вам все-таки придется с ним потолковать.

Бенсон подошел к стойке, он откладывался продолжать разговор, он занялся своими коктейлями. Он что-то отмерял, что-то сливал, яростно взбалтывал. Он был похож сейчас на какого-то алхимика, в тысячный раз пытающегося изготовить золото и в тысячный раз уверовавшего, что уж теперь-то он это золото добудет.

Но вот напиток разлит по бокалам. И алхимик жадно глотает свою смесь и вслушивается в себя. А верю, а не золото ли разлилось в нем? И улыбается, он доволен. Нет, это опять не золото — то, что он изготовил, но это нечто такое, что помогает забыть. Что забыть? Многое.

Дэвид не стал пить, Дэвид смотрел на Генри и дивился странной перемене в его лице. То один человек, то другой, то третий. Он, этот третий, был жалковат, мелковат, пьянчужкой был, которому уже море по колено. Что ему чужая судьба! Он проморгал свою.

— Зачем вы так много пьете, Генри? — участливо спросил Лэм.

— Зачем? — Бенсон встрепенулся, прислушиваясь. — А, вот и наш друг.

Бенсон зашепшил в переднюю, опережая дверной звонок. Щелкнул замок, послышался напористый голос Вудда. Лэм поднялся, намереваясь лишь поздороваться с ним и тотчас уйти.

— Хеллоу, Дэви! — Вудд ввалился в комнату радостный, благожелательный, этаким папаша Вудд. — Итак, если я верно понял, ты желаешь просить у Советов политического убежища?

Лэм не собирался вступать с Вуддом в разговор, но уж слишком провокационный тот ему задал вопрос. На такой вопрос все же следовало ответить:

— Почему — убежища? Почему — политического? Просто я намереваюсь жениться на русской, только и всего. А поскольку это очень сложно, когда муж «тамошний», а жена «здешняя», я и решил стать «здешним». И это все.

Лэм попытался выйти из комнаты, но Вудд преградил ему путь, а Вудда обойти было не просто.

— Боюсь, мой мальчик, что это только начало. — Это сказал за спиной Бенсон.

Что было делать: Вудд накрепко встал в дверях. Оттолкнуть его? Ударить?

— Спокойнее, сынок, спокойнее.

Вудд и не заметил, что Дэви отталкивает его, пытаясь пройти в коридор.

— Меня никто и ничто не сможет удержать! — Дэви оставил жалкие попытки сдвинуть в сторону эту тушу. Дэви взмолился, ведь он же имел дело с людьми. — Поймите вы, я люблю! Разве бог не дал людям это право — любить?!

— Спокойнее, сынок, спокойнее. Мы не на небе, а на земле. Я выяснял: у твоего отца обширная практика, он хороший врач, не так ли? Отвечай.

— Да. Но какое это имеет отношение?..

— У тебя два старших брата, я не ошибаюсь? И они адвокаты? Так?

— Так. Но, повторяю, какое это ко всему имеет отношение?.. Я решил... Отец и братья поймут меня...

— Не уверен, вот в этом я не уверен. — Вудду наскучило изображать из себя этакое круглощекого добряка, он сжал губы, давая им отдых. — Сядем, поговорим спокойно. — Вудд прошел в комнату, сел в кресло, толкнув ногой другое, для Лэма.

Путь для бегства был открыт, но для бегства. Лэм решил остаться.

— Выкладывайте, что вам от меня нужно, — сказал он, повернувшись к Вудду.

Сесть в предложенное кресло Лэм отказался. Он стоял выпрямившись, как на допросе. Он уразумел, что его допрашивают, и он решил соответственно себя держать.

— Мне нужно от тебя, Дэвид, чтобы ты пораскинул немного мозгами, — сказал Вудд. — Учти, твой отец будет разорен: пациенты не пойдут к отцу коммуниста и перебежчика. Твои братья будут разорены и опозорены, их карьера будет перечеркнута. Про них станут говорить: «Это те Лэмы, чей брат сбежал к красным». Что же касается твоей матери, то она проклянет тебя. Ее отец бежал из России, а ты, ее сын, вернулся туда. Нелепость! Дикость!

— Отец и братья поймут меня, — сказал Лэм. — А мама, о, мама не осудит меня!

— Ты забываешь, сынок, что мы не будем сидеть сложа руки. Мы будем действовать, Дэви. — Вудд не угрожал, нет, он излагал лишь свои соображения, и был он спокоен. Не благодушен, как недавно, но и не злобен, не криклив. Что ему этот мальчишка? Он управится с ним да и с его семейством без всякого усилия — это совсем нетрудное дело. И Лэм понял, что управится, тут уж сомневаться

ся нельзя было: Вудд потому и страшен был, что чувствовал за собой силу, куда большую, чем вмещала в себя его туша, куда более страшную.

— Тут какая-то ловушка, — сказал Лэм. — Мне еще неясно, в чем дело, но тут какая-то ловушка. — Он умоляюще сложил ладони. — Прошу вас, объясните же мне наконец, что это все означает?!

— Успокойся, прежде всего успокойся. — Вудд снова пододвинул Лэму кресло. — Садись, лучше будет, если ты все-таки присядешь. Так... Хочешь хлебнуть чего-нибудь? Нет? И правильно делаешь, этому, наверное, научил тебя отец. Не пей, мой сын, наверное, советовал он, когда тебе предстоит серьезный разговор и особенно если ты разговариваешь с неприятными тебе людьми. — Вудд рассмеялся, он снова начал склоняться к благодушию, он не умел долго хмуриться, у него лицо было оборудовано для улыбки. — Пройдет год, сынок, пройдут два-три года, и ты еще поблаговаришь старика Вудда. Люби, кто тебе мешает? Но если ты вздумаете остаться в России, ты многим рискуешь. Кстати, а почему бы тебе не уговорить свою милую поехать к нам в Штаты? У вас уже далеко зашло? Ты уже уверен в ее чувствах?

Дэвид Лэм не ответил. Он смотрел на Вудда, он вцепился в него глазами, стараясь понять, стараясь разгадать, что задумал этот страшный человек, какая же уготовлена им для него ловушка.

— Вы хотите, чтобы я уговорил Майю поехать со мной в Штаты? — спросил Лэм. — Вы этого хотите?

— Это было бы лучше всего, сынок.

— Но зачем это вам нужно? Зачем?

— О, святая наивность! — Это Бенсон за спиной подал голос, и в нем прозвучало сочувствие.

— Верно, он мальчик, он совсем еще мальчик, — согласился Вудд. — Но вот для того, чтобы мальчики наши не делали глупостей, и существуют такие люди, как Ирвинг Вудд. Клянусь, у меня нелегкая работа!

— А кто вы? — спросил Лэм. — Кто вы? Вы из разведки?

— Ну, тебе угодно, Дэвид, чтобы я сам разжевал твой кусок? — Вудд сморщился, ему просто больно стало за этого парня, который так долго валял дурака, не желая понять, о чем разговор. — Тебе угодно, чтобы я был с тобой откровенен до самого дна?

— Слушаю вас, сэр.

— А что, мой друг, разве ты не знал, знакомясь с этой милой леди, что ее отец — один из виднейших русских физиков? Знал что-то об этом, не так ли? Бенсон знал от кого-то там из ваших русских знакомых, стало быть, знал и ты.

— Да, он это знал, — неохотно подтвердил Бенсон.

— А что, мой друг, разве тебе было не ясно, что такое знакомство могло заинтересовать и других? — продолжал Вудд, все более одушевляясь, ибо уж тут-то, как он считал, правда была на его стороне, правда человека, стоящего на страже интересов своего государства против крохотной правды человека, занятого лишь устройством своего счастья. — Так вот, я и заинтересовался. Не скрою, нам очень трудно проникать в дома этих русских, которые что-то там творят на погибель свободного мира. Их двери плотно закрыты для нас. Согласись, что я не мог не обрадоваться, когда узнал, как легко ты отворил одну из таких дверей. Все! Теперь можешь идти к своему Тютчеву. И не вздумай глупить! Все!

Вудд устало прикрыл глаза. Все-таки трудная у него работа, неблагодарная у него работа. Разве он старается для себя? Разве он не на посту?

В разговор счел нужным вмешаться Бенсон, он счел нужным все растолковать Лэму, чтобы тот хоть не блуждал в тумане:

— Вас тревожит, Дэви, что она немножко плачет, эта милая леди? Но бывает ли любовь без слез? Или, может быть, вас тревожит, что ее отец, узнав что-то про роман своей дочери, потеряет душевный покой?

— И отлично! — Вудд радостно принялся колотить кулаками по ручкам кресла. — Пускай его терзает! Пусть мозги этого мудреца от русской бомбы начнут буксовать, пусть он думает о чем угодно, но только не о своей физике!

Лэм с трудом выбрался из кресла. Он словно увяз в нем, и он все силы напряг, чтобы выбраться, чтобы встать на ноги.

— Вот! — сказал он. — Наконец-то я вас понял! Так вот зачем я вам понадобился, вот зачем...

— Первый шаг вы сделали сами, Дэви. Случай... Бенсону не понадобилось играть в сочувствие, он явно искренне сочувствовал Лэму. Но что поделаешь, что поделаешь — такова логика борьбы, такова жизнь. Этих слов он не сказал, эти слова под-разумевались, слышались — не обязательно именно такие, но такие по смыслу.

— Я понял, понял... Случай... Так кто же я для вас, мои соотечественники? Говорите, кто?!

— Случай... Слепой случай! — Вудд не церемонился, его голос был начальственно неумолим.

Но Бенсон продолжал держать сторону Лэма, пытался смягчить удар:

— Не огорчайтесь, Дэви. Вы тут ни при чем. Так вышло. Может быть, вам не следовало так далеко уезжать из дому, забираться в эту Россию? Знаете, Дэви, как называется мина, сорвавшаяся с якоря и получившая полную свободу плавать по воле волн и течений? Не знаете? Она называется «слепой миной».

Лэм в ужасе поглядел на Бенсона, этот вкрадчивый Генри вдруг показался ему еще страшнее, чем Вудд.

— Так я?... Голос Лэма прервался.

— Да-да, мой мальчик... Бывает, случается, что такая вот «слепая мина» подплывает к борту громадного корабля. И тогда...

— И тогда... все гибнет... Вы не люди!.. Нет, вы не люди!

Лэм побрел к выходу. Путь был теперь свободен, теперь не надо было убежать, никто его не удерживал. Ступай, Дэвид Лэм, путь свободен. Да что толку: Лэм не знал, куда идти.

Дверь за ним захлопнулась, и Генри Бенсон сказал, сочувственно причмокивая губами, потому что он только что опять выпил и губы у него были мокрые:

— Я не сержусь на мальчика, нет, я на него не сержусь. Мы не слишком резко с ним разговаривали, Ирвинг, как думаете?

— Я говорил с ним как раз так, как надо говорить с мальчишкой, потерявшим голову.

— А все-таки сдастся мне, что он хороший сын Америки... Хороших сыновей не отталкивают, Ирвинг.

— Бросьте, бросьте! — Вудд досадливо взмахнул мясистой могучей рукой. — Он витает в облаках, этот ваш замечательный сын. Он слишком мягкотел по нынешним суровым временам.

— Не слишком ли хитроумными дорожками мы стали ходить, Ирвинг? Мы плетем последнее время какие-то кружева.

— Согласен, кружева. К сожалению, нас вынуждают заниматься этой тонкой дамской работой. И

не только здесь, но и там, дома, где все эти умные юнцы, все эти духовные наследники Кеннеди просто носятся со своим миролюбием. — Вудд стал торжествен. Видно, снова припомнил, что он на посту. — А надо работать, кому-то надо работать... Родина не простит нам благодушия! Вы верите, Генри, в возможность мира на нашей грешной земле?

— Какое там!.. — Бенсон снова пошел к стойке, готовясь опять заняться смешиванием чего-то там с чем-то. Алхимик снова принялся добывать для себя золото, то самое золото, имя которому забвение. До чего же скверно у него было на душе! У него даже губы дрожали, похватывая воздух, — так он жаждал испить своего забвения.

15

Дэвид брел по Москве. Сколько же времени прошло с той минуты, когда он играл в шахматы и вдруг увидел Майю? Час? Два, может быть? Все погибло за этот час или два. Он потерял Майю, он потерял веру. Во что веру? Он потерял веру в то, что он свободный человек. А он веровал в эту свою свободу, как сын верит матери — не раздумывая. Все погибло, обрушилось, как при землетрясении. И гудит, гудит в голове. Говорят, когда сотрясается земля, слышится гул. И утверждают, что нет ничего страшнее этого гула, он ни на что не похож, ни на какие знакомые звуки, он голос несчастья. И путаются мысли, исчезает воля, рушится земля, и рушится сам по себе человек.

Часом раньше шел по Москве пьяный иностранец, пьяный от счастья. А сейчас его шатало от горя. И не было ни единой спасительной мысли в голове. И думалось лишь о том, что все рухнуло, все вокруг тебя и в самом тебе валится, подламывается, обращается в пыль. Год землетрясений. Год ураганов и наводнений. Год взрывов на Солнце. Год катастрофы Дэвида Лэма. Господи, о чем это он? Ведь он всего лишь песчинка в мироздании. Ну, нет Лэма, ну, есть он, ну, нет песчинки, ну, есть. Итак, как же поступить? Покончить с этой песчинкой?.. Да вот именно, покончить, разрушить ее, умертвить.

Но стоп, стоп, прежде еще множество нужно сделать дел, у тебя еще множество осталось дел на земле, Дэвид Лэм. Что за дела? А это все дела твоей совести. Ты должен проститься с Майей и сказать ей, что уезжаешь. И ты действительно уедешь, проделаешь весь этот длинный путь от Москвы до родного дома затем только, чтобы рассказать отцу, матери и братьям, что сделали с ним, с их сыном и братом, их соотечественники. А потом ты свободен в своих поступках. Ты человек, у которого отняли свободу, ты все еще будешь свободен в выборе: жить или умереть. К черту, одной своей песчинки Штаты не досчитаются! Это решено, они ее потеряют, они ее уже потеряли.

«Слепая мина»... А сам-то ты, Генри Бенсон, не «слепая мина», не жалкая «слепая мина», обреченная губить и погибать? А ведь думалось и тебе, конечно, иначе прожить жизнь. Честно, достойно ее прожить. И в Россию ты приехал, должно быть, чтобы не слепой здесь стать миной, о нет, а чтобы стать здесь другом русских, другом из Америки. Ты и женился на русской, наверно, потому, что захотел сродниться с этим народом, на земле которого остался жить. Так отчего же?.. И был день

и был час, когда ты смалодушничал, Генри Бенсон. Не так ли, всего лишь смалодушничал? И был день, когда господь отвернулся от тебя...

Итак, надо действовать! Итак, прежде всего надо достать билет на самолет до Нью-Йорка. Но есть и еще какое-то дело, вспомни, подумай — у тебя есть и еще какое-то дело здесь, в Москве. Ах да, это тоже дело твоей совести: ты должен предупредить Юру Родичева, русского этого паренька, который первый заговорил здесь с тобой как с другом, что и ему грозит обвал, землетрясение, катастрофа. Ты должен рассказать ему, что за дом у Генри Бенсона, что за люди к нему ходят, как омерзительна их роль на земле. Ты обязан это сделать. Так велит тебе совесть. Действуй же, действуй, Дэвид Лэм, хоть и гудит, гудит в голове и рушится земля под ногами и сам в себе ты тоже рушишься.

16

Майя извелась, ожидая, что вот сейчас, через минуту позвонит Лэм. Но минуты шли, складывались в часы, а Дэвид Лэм не звонил. Звонили все, кому не лень, телефон просто не переставал звонить, но все это были не его звонки, и Майя быстро сбрасывала разговор, чтобы телефон не был занят, чтобы Дэви не пришлось ждать. А он не звонил.

Сначала Майя и не беспокоилась. У нее дел было много. Надо было одеться к вечеру, надо было накрыть на стол.

Елена Николаевна помогала ей. Елена Николаевна была рада-радешенька, что вот наконец этот Лэм явится к ним в дом, что они втроем чинно усядутся за парадный стол, и пойдет у них чинная беседа. Как у людей, как заведено, как у них там, кстати, заведено в хороших домах.

— Ведь Лэм, твой Лэм, надеюсь, из хорошей семьи?

— Из хорошей. Тетя Лена, ну какое это имеет значение?

— Глупенькая, все имеет значение, когда у ухаже-ра иностранный паспорт в кармане.

— Фу, тетя Лена, какое противное слово — «ухажер»!

— А тебе какое больше слово нравится?

— Любимый...



— Ох, Маша, как ты решительно шутишь!

Они накрывали на стол, так вот переговариваясь, и Майя сперва совсем не тревожилась, что Лэм не позвонит. Разве она не сказала ему: «Позвоните мне! Сегодня же!» Разве этого мало — этих слов? Он позвонит, конечно. Его что-то задерживает, но он позвонит.

В новом платье Майя не узнавала себя. Она то и дело проходила мимо большого зеркала в передней и взглядывала на себя, дивясь себе и не узнавая. «Мила, мила, ничего не скажешь», — одобрительно кивала она самой себе в зеркало. И вдруг ей делалось грустно, и она близко придвигала лицо к холодному стеклу, так близко, что дыхание проступало на стекле и надо было отбираться с него туман. Майя давно в себя не всматривалась, ей не до этого было. И вот всмотрелась и изумилась. Отошла на несколько шагов — и опять изумилась. Про-

шла мимо — и снова будто это не она сама промелькнула перед глазами. Изменилась, повзрослела и не заметила когда. И эта прическа идет ей. Лицо бледное, глаза громадные и не поймешь какие. Что в них там, в самой, самой глубине? Ничего сама про себя не поймешь. Собственных мыслей не ухватить. Собственные плечи нравятся, как будто смотришь на какую-то пришлую женщину, на гостью, и уже готова позавидовать этим ее плечам. А они твои, эти плечи, твои! Странно, все странно: это ты, и ты сама себя не узнаешь.

А время шло, вечер пришел и стал уже склоняться к ночи. Лэм не звонил.

Вот и отец вернулся откуда-то из-за города, уставший, замкнувшийся, погруженный в свои мысли. Что там было, нынешним днем в его «почтовом ящике»? Тяжело ли был его труд сегодня? Видно, тяжело.

Отец не стал спрашивать Майю, по какому случаю празднично накрыт стол, а она в новом платье. Он только улыбнулся дочери, поцеловал ее в лоб, сказал как бы невзначай: «А ты все хорошеешь, Маша» — и ушел к себе.

Елена Николаевна отнесла ему ужин в кабинет, надолго задержалась там. Должно быть, советовалась с братом. И вот вернулась, твердо ступая и с готовым решением:

— Хватит нам ждать! Разве воспитанные люди так ведут себя? Вот тебе и из хорошей семьи...

— Он позвонит, — сказала Майя. — Он обязательно позвонит.

— Ну, ты как хочешь, а я иду спать. Приму свои таблетки и завалюсь спать. Много чести этому американцу, чтобы из-за него сразу две бабы не спали.

— Иди, тетя Лена. А я еще подожду, я почитаю.

Майя пододвинула к столику, на котором стоял телефон, кресло, села в него и стала листать, не глядя в страницы, какой-то журнал. Отбросила журнал, потянулась к полке, взяла томик Тютчева, раскрыла наугад, сразу же узнавая знакомые строки, в которые не надо было всматриваться, она их знала наизусть.

Елена Николаевна ушла, распорядившись строго: — Через час чтобы и ты шла спать! Нечего! Надо быть гордой!

— Да-да, тетя Лена, надо быть гордой...

Вот она и осталась одна. За окнами темнеет, часы на стене подло торопятся, подло ухмыляются своими тонкими стрелками, похожими на губы сплетниц. И говорят будто этими губами затасканные, замусоленные, но все равно зловещие слова: «Уж полночь близится, а Германа все нет...»

А у Тютчева вот какое открылось стихотворение... Нарочно не сыскать, а это случайно открылось, как будто Майя решила погадать и вот нагадалось:

Как дымный столп светлеет в вышине!
Как тень внизу скользит неуловимо!..
«Вот наша жизнь, — промолвила ты мне: —
Не светлый дым, блестящий при луне,
А эта тень, бегущая от дыма!»

Что это? Про что это? Эти стихи так печальны! И так прекрасны самым звуком своим... А Дэвид Лэм не звонил, он не звонил. И надо быть гордой и идти спать. Нет, он должен позвонить, он не может не позвонить.

И тут вздрогнул звонок и зазвенел так громко, так тревожно, как никогда бы не смог зазвенеть днем. Майя взяла трубку:

— Да, Дэви, это я. Нет, я не сплю, я жду вас. Я знаю, откуда вы звоните. С угла, да? Ну вот видите, я все знаю про вас. Поднимайтесь ко мне. Четвертый этаж, помните? Я вас встречу. Нет, нет, не поздно.

Майя повесила трубку, медленно поднялась, проговорила вслух, поднимая руки к лицу:

— Почему у него такой голос?.. Что с ним?..

Вскоре хлопнула дверь подъезда, и вот уже загудел натужно стальной канат лифта, а вот уж и оборвался этот звук. Майя распахнула дверь.

— Что с вами? Почему у вас был такой голос?

— Майя, я пришел проститься... Я долго собирался с силами и вот пришел... Вы должны знать...

— Входите, входите. — Майя радушно улыбалась ему, она, кажется, не услышала его.

Лэм переступил порог, и Майя затворила за собой дверь.

— Вы должны знать...

— Тише, мои уже спят. Идемте, идемте. — Майя ввела Лэма в столовую, огляделась, жмурясь от света, поморщившись, когда взгляд ее упал на празднично накрытый стол. — Нет, не сюда, не сюда. — Она взяла Лэма за руку и повела его по коридору. — Вот, вот моя комната. — Она толкнула дверь, заглянула свет. — Входите, Дэви, входите.

В ее комнате все было совсем по-другому, чем там, в столовой. В этой комнате ничего не готовили к приему гостя, в ней все было так, как и обычно. Здесь Майя жила, вот на этой узкой тахте она спала, вот этот маленький столик в чернильных пятнах помнил ее еще школьницей. И книги на полке были уже не из тех, что читают, а из тех, что хранят, как хранят все, что было дорого в детстве.

— Вот теперь говорите, — сказала Майя. — Вы уезжаете, Дэви? Почему?

— Да, завтра в полдень я лечу в Париж. Там я пересажу на самолет до Нью-Йорка. К счастью, мой паспорт, все мои документы были в порядке, и мне удалось сразу же заказать билет.

— К счастью?

— Майя, та женщина, та добрая женщина из кафе оказалась права. Мы разделены, Майя. Это так, так.

— И вы уезжаете? Вы испугались, и вы уезжаете?

— Мне стало страшно за вас, Майя.

— За меня!

— Да... Вы... Ваш отец... Все оказалось совсем не просто, Майя, боже праведный, как не просто! Знаете, кто я? Я слепая мина, слепая мина... Она плывет, сорвавшись с якоря, куда ветер дует, по воле волн... Но если с ней встретится большой корабль, то все гибнет... Мы встретились... И нашлись люди, решившие, что вы и ваш отец — это как раз и есть тот большой корабль, который надо взорвать мной — слепой миной. Они так решили, но я решаю иначе. Я люблю вас, и я уезжаю...

— Так вы любите меня, вы любите?

— Да. Я был бы счастлив назвать вас своей женой. Но...

— Тогда поцелуйте меня, Дэви. Ведь мы ни разу еще не поцеловались.

— Но, Майя!..

— Я вам верю, Дэви... Не нужно больше об этом, я вам верю...

— Маша... Маша... — Он вдруг разучился говорить по-русски, он забыл все слова, кроме одного только этого имени: — Маша...

— Да, Дэви... Да...

Вот и сказке конец. Или только начало?..

— III —



СЛОВО
ВЕТЕРАНАМ
РЕВОЛЮЦИИ

Анастас Микоян

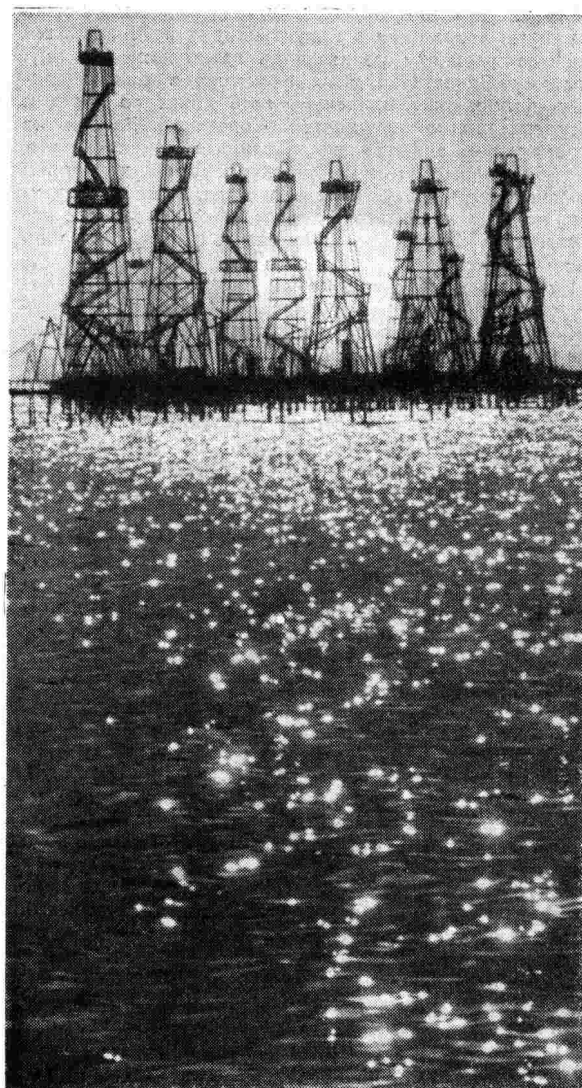
0 днях Бакинской коммуны

(Из воспоминаний)

III

Придя на пристань, я узнал, что пароходы с отрядом Петрова, не успев даже выйти из бухты, были остановлены и возвращены к причалу. В море, к пароходу, на котором находился Шаумян, подошел катер с представителями Центрокаспия, которые потребовали выдачи и ареста Шаумяна, Джапаридзе и Шеболдаева. Джапаридзе на этом пароходе не было, а Шеболдаеву удалось, смешавшись с командой, скрыться в трюме. Шаумян был арестован и перевезен на военное судно «Астрабад». Оставшиеся на пароходе товарищи, причалив к берегу, сообщили о случившемся Петрову и Амирову, которые сразу же поехали в Центрокаспий. Там они предъявили ультиматум о немедленном освобождении Шаумяна, пригрозив в противном случае прибегнуть к помощи своих отрядов. Шаумян тут же был освобожден.

Продолжение. Начало см. в журнале «Юность» №№ 11 и 12 за 1967 год.



Я поднялся на борт парохода «Колесников», где находился Шаумян, чтобы узнать, как все случилось. Он рассказал мне, что к вечеру 31 июля положение в городе крайне обострилось. Аветисов докладывал, что через три-четыре часа турки будут в Баку. В связи с этим Аветисов и армянский национальный Совет стали упорно настаивать на поднятии белого флага. Мы, говорил Шаумян, честно говоря, даже думали, что он уже поднят в национальных частях, или что вот-вот это будет сделано без нашего согласия. По указке англичан эсеры, меньшевики и дашнаки, опираясь на предательскую позицию руководства Центрокаспия, фактически уже создали свое контрреволюционное правительство. Начальник штаба отряда Петров сообщил нам, что отряд понес в боях большие потери личного состава и под натиском врага отступил к городу. «На фронте дело окончательно проиграно», — заявил он.

Вверху: современный Баку. Нефтяные вышки в море.

Фото Л. Бородулина.

В этих условиях, продолжал Шаумян, фактически, в минуты вторжения в Баку турецких войск, мы сочли невозможным развязывать гражданскую войну. Поэтому Совет Народных Комиссаров решил сложить полномочия и эвакуировать воинские части и государственное имущество Советской России на пароходах — в Астрахань. Позже выяснилось, что под нажимом англичан Центрокаспий пригрозил армянскому Совету, и тот, ожидая помощи англичан, не поднял белого флага и даже согласился направить на фронт воинские части, которые еще не были в боях.

1 августа турки продолжали сильную атаку на Баку, стремясь захватить город. Наконец они прорвались через Волчьих ворота в район Биби-Эйбата. Войска Центрокаспия бежали.

Посоветовавшись с другими руководителями, Шаумян предложил Петрову выгрузить на сушу артиллерию и открыть огонь с пристани по Биби-Эйбату, где находились турки, и, кроме того, направить на этот участок фронта, находившийся в нескольких километрах от пристани, группу красноармейцев и матросов.

Панические чувства городского населения сменились радостью, когда открылся сильный оружейный огонь по турецким позициям. Снаряды со свистом пролетали над головами бакинцев и падали в расположении турецких войск. Обстрел застал турок врасплох. Они понесли большие потери и отступили.

Когда в районах Баку узнали, что комиссары и отряд Петрова находятся в городе, командиры и красноармейцы — группами и поодиночке, кто с оружием, а кто и без него — стали собираться и записываться в отряд Петрова. Приходящие товарищи рассказывали, какой большой подъем у населения вызвали боевые действия отряда Петрова и как в связи с этим вновь стал подниматься авторитет большевиков.

Точно не помню, 2 или 3 августа была созвана партийная конференция, чтобы обсудить создавшееся положение и решить, как быть дальше. После долгих споров конференция постановила: вооруженные силы в Астрахань не эвакуировать, а, наоборот, используя перелом настроения бакинцев в пользу большевиков, вновь захватить власть в свои руки. Практически это было возможно. Противник располагал в городе меньшими силами, нежели мы, а подтянуть войска с фронта он бы все равно не успел. Мы надеялись, собрав все свои силы в Баку и получив помощь войсками из Астрахани, отстоять наш город. Правда, продовольственное положение в Баку тогда ухудшилось.

В связи с тем, что наш печатный партийный орган газета «Бакинский рабочий» была закрыта, сразу же по окончании партийной конференции в одной из типографий было отпечатано воззвание к бакинским рабочим, написанное Шаумяном и подписанное Бакинским комитетом РКП (большевиков). В воззвании подробно излагался ход событий за последние 2—3 дня, разоблачалась ложь и клевета, распространяемые контрреволюцией против нас, изобличалось предательство партий дашнаков, эсеров и меньшевиков, объяснялось, в силу каких обстоятельств было принято решение об эвакуации наших военных сил. В воззвании говорилось, что в эти критические дни Баку отстоял от турок отряд Петрова, который героически бился, поддерживая усилия сражающегося бакинского пролетариата.

Воззвание заканчивалось словами уверенности, что скоро подойдут войска из России и Баку будет спасен. «...Будет спасен не белым флагом действи-

тельно трусливых Аветисовых и Амазаспов... и не мифической помощью англичан и их прислужников, а войсками рабоче-крестьянской России, идущей к нам на выручку, советскими войсками.

Бакинский пролетариат, героически вставший на защиту своего города, имеет истинных друзей и защитников только в лице советских войск из России. Только они, вместе с бакинским пролетариатом, будут отстаивать Баку от германо-турецких и английских империалистов. Отряд военного комиссара от Центральной власти т. Петрова уже ведет такую борьбу.

Товарищи рабочие! Идите под знамена отряда т. Петрова, под знамена дорогой нам рабоче-крестьянской России, откуда он прислан!

Да здравствует борющийся бакинский пролетариат!

Да здравствует Великая Российская Социалистическая Республика Советов!

Да здравствует нераздельный от России и независимый от империалистов революционный город Баку!»



Мы развернули большую организационную работу. На Петровской площади, вокруг зданий, занятых нашими войсками, на нескольких кварталах вокруг, было выставлено сторожевое охранение. В районы города были разосланы партийные организаторы для вовлечения коммунистов и наших сторонников в отряд Петрова. Успешно проходило обучение войск.

4 августа с нашей пристани стало видно, как к другим пристаням Бакинского порта начали подходить корабли с английскими войсками, приглашенными в Баку руководителями «Диктатуры Центрокаспия». Эти предатели организовали англичанам торжественную встречу. Высадившись на берег, английские солдаты стали дефилировать по главным улицам Баку. Всего их прибыло в тот день человек двести. Однако, чтобы «произвести впечатление» на обывателей, отряд англичан дважды проходил по одному и тем же улицам. В последующие дни английские войска продолжали прибывать, но их было все еще очень мало: в Баку прибыло около тысячи английских солдат вместо обещанных и разрекламированных эсерами 16 тысяч. Англичане направили на фронт не все свои войска, оставив значительную их часть в городе, видимо, они преследовали две цели: во-первых, держать под контролем правительство, используя свои войска для выполнения чисто оккупационных функций, и, во-вторых, избежать слишком больших потерь на фронте.

После того, как артиллерия отряда Петрова успешно отразила прорыв турок, настроение бакинских рабочих поднялось. Я ходил по городу и видел сам, как охотно обучаются военному делу большие группы рабочих в то время, как колонны других рабочих с боевыми песнями идут на фронт. На Петровской площади в ту пору находилось под ружьем около трех тысяч красноармейцев, среди которых подавляющее большинство составляли бакинские коммунисты.

Однако общее положение оставалось все еще очень неясным. Не случайно В. И. Ленин, обеспокоенный судьбой Советской власти в Азербайджане, телеграфно запрашивал 9 августа председателя астраханского Совета о действительном положении дел в Баку, о том, кто там находится у власти, где Шаумян, потому что из Москвы ему «нельзя разо-

браться в положении и нет возможности помочь быстро». При этом Ленин дал указание: действовать на месте в зависимости от сложившихся обстоятельств.

10 августа 1918 года собралась вторая (после падения Советской власти в Баку) партийная конференция. В докладе Шаумяна на этой конференции был сделан обстоятельный обзор внешнего положения и состояния на фронтах Советской России. Поступающие сведения говорили об ухудшении положения, особенно на Северном Кавказе, где казачья контрреволюция, возглавляемая Деникиным и Красновым, одержала ряд побед и заняла Краснодар. Войска Краснова шли на Царицын, отрезав Северный Кавказ от Царицына.

В ту пору борьбой с наступающими силами контрреволюции во Владикавказе руководил Серго Орджоникидзе, а в Пятигорске — С. М. Киров.

Шаумян сообщил, что, по имеющимся сведениям, турки, не сумев в начале августа завладеть Баку, перебрасывают свои новые части с Месопотамского фронта для нанесения решительного удара по Баку. Пока нет сведений, говорил он, идут ли нам на помощь советские войска из центральной России: ввиду крайне тяжелого положения на Волге нам очень трудно рассчитывать на эту помощь. Захватить власть, продолжал Шаумян, у нас еще хватит сил, но вот удержать ее и выстоять в борьбе с турками, с одной стороны, и английскими вооруженными силами — с другой, нам вряд ли удастся. Поэтому разумнее, предлагал он, вывезти наши войска из Баку через Астрахань в Россию, сохранив их тем самым и для участия в боях на Волге и для подготовки к дальнейшему возвращению через полгода в Баку для восстановления здесь Советской власти. Это предложение Шаумяна было поддержано большинством.

Небольшая группа товарищей выступила против этого предложения, настаивая на проведении в жизнь решения, принятого предыдущей партконференцией, то есть свержения «Диктатуры Центрокаспия», взятия власти в свои руки и изгнания интервентов своими силами при поддержке бакинского пролетариата. Не надо забывать, говорили эти товарищи, что местное население уже разочаровалось в эффективности английской помощи, распознало предательский характер деятельности правых партий и со все большим доверием стало относиться к Советской власти.

За предложение об эвакуации наших войск в Астрахань на конференции было подано 22 голоса, против — 8 (в том числе и мой голос).



Еще до конференции возникла мысль о возобновлении издания газеты «Бакинский рабочий», запрещенной в свое время властями «Диктатуры Центрокаспия». Накануне партийной конференции я сказал об этом Шаумяну. Он ответил: «Это было бы хорошо, но ведь у нас нет типографии». На это я ему ответил, что у нас действительно ее пока нет, но вот недалеко, за пределами зоны наших войск, есть неплохая типография общества «Кооперация». Почему бы нам ее не захватить, тем более, что меньшевики вряд ли наберутся смелости оказать нам вооруженное сопротивление.

Посоветовавшись с другими членами Бакинского комитета, Шаумян одобрил мое предложение. Он сказал, что материал для первого номера подготовит он сам вместе с Джапаридзе, а мне поручил захват типографии и организацию ее работы.

Для этой операции я подобрал группу красноармейцев, среди которых были два сына Шаумяна, Мусейб Дадашев, два наборщика и «готовый» корректор — Ольга Шатуновская.

Когда стемнело, мы направились на броневике к зданию типографии. Окружили дом, выставили сторожевые посты, спокойно заняли типографию и приступили к работе.

Все шло хорошо. Набрали первую полосу, проверили корректуру и стали печатать газету.

Настроение у нас было приподнятое, потому что вся эта «операция» проходила отлично.

Вскоре с улицы нам донесли, что к нашим сторожевым постам подходили патрули меньшевиков, но никаких стычек пока не было.

Однако не успели мы напечатать немногим более ста экземпляров газеты, как погас свет. Остановился печатный станок. Мы оказались в полной темноте.

Зажгли взятые у жильцов дома свечи, керосиновые лампы, фонари и стали продолжать печатать газету, крутя станок вручную.

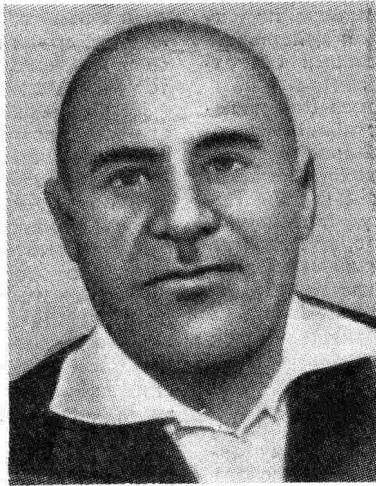
Поздно ночью, отпечатав еще несколько сотен экземпляров газеты, мы забрали все эти отпечатанные номера, а заодно — ящик со шрифтом и ручной печатный станок (авось, пригодятся для печати прокламаций!) и беспрепятственно отправились из типографии к себе на пароход. На следующее утро с помощью красногвардейцев, рабочих и комсомольцев мы организовали широкое распространение этой своей газеты по всему Баку; в газете были опубликованы две статьи Шаумяна, в которых нашли отражение решения последней партийной конференции.



Вскоре после партийной конференции состоялось заседание Бакинского комитета партии. Обсуждался вопрос о том, как наладить партийную работу в Баку в связи с отъездом партийного актива и уходом войск. Обсуждали, кого из членов Бакинского комитета следует оставить для руководства подпольной работой. Все единогласно высказались за то, чтобы не оставлять ни Шаумяна, ни Азизбекова, ни Джапаридзе, ни Фиолетова, ни Корганова — их слишком хорошо знали в лицо. Кандидатуры этих товарищей решили даже не обсуждать. Речь могла идти только о других товарищах. Шаумяну и Джапаридзе было поручено обдумать этот вопрос и решить, кого именно надо оставить.

На следующее утро, придя к Шаумяну, я сказал, что хочу остаться для нелегальной работы в Баку как член Бакинского комитета партии. Он ответил: «Это, конечно, хорошо, но для тебя это вдвойне опасно: ты ведь знаешь, что, помимо всего прочего, Амазасп крайне обозлен на тебя и дал указание своим головорезам уничтожить тебя. Поэтому тебе нужно вести себя очень и очень осторожно». Я ответил, что все это мне хорошо известно: меня уже предупредил командир конной сотни Сафаров. «Но ведь не так страшен черт, как его малюют!» — сказал я Шаумяну и, конечно, обещал ему быть осторожным. «Все же тебе долго оставаться в Баку нельзя», — продолжал Шаумян, — поэтому, как только мы прибудем в Астрахань, сразу же пришлем тебе замену».

Потом он предложил установить шифр для связи с Астраханью. Он посоветовал мне пользоваться в переписке простейшим шифром. Под руками на пароходе оказалась изданная в Москве брошюра «Международное положение и наши задачи». Раск-



рыв эту брошюру на одной из страниц, Шаумян сказал: «Вот с этой страницы, начиная с 10-й строки сверху, и будет начало шифра». Начиная с первой буквы этой строки каждая последующая буква (без повторения) должна быть обозначена цифрой — от единицы и до конца алфавита. Этими цифровыми обозначениями и следовало зашифровывать текст. (Правда, воспользоваться этим шифром нам впоследствии так и не пришлось.)



Наши еще один день были на пристани. Мы, оставшиеся для работы на месте, условились о нелегальной квартире, договорились о нелегальной типографии, в которой предполагалось использовать шрифт и ручную печатную машину, взятые нами в типографии общества «Кооператив».

В тот же день мы решили этот шрифт и станок перенести на нелегальную квартиру и создать там типографию. Для этого нам предложил свое жилье один студент-азербайджанец. Мы поручили «маленькому Геворку» (как звали в подполье одного из наших товарищей, большевика Аветисяна) пойти с этим студентом и отнести шрифт на его квартиру. Она была расположена в мусульманской части города, что в данных условиях было очень выгодно, в особенности в случае захвата города турками. Тяжелый ящик со шрифтом был завернут в одеяло и «погружен» на амбала (перс-носильщик, у которого на спине есть специальное устройство для укладки тяжестей). «Маленький Геворк» его сопровождал. Размер груза, завернутого в одеяло, был небольшой, но он был так тяжел, что вызвал подозрение, и на одной из улиц вооруженный охранник остановил амбала и спросил его, что за тяжесть он несет, если от нее так прогибается его спина. Потом он заставил снять груз и проверил его. Видя, что шрифт обнаружен, «маленький Геворк» скрылся, а шрифт попал в полицию.

Первое организационное совещание оставшихся в Баку подпольщиков мы устроили еще до отъезда в Астрахань наших старших товарищей. Было предварительно выявлено, кто же остался, и между ними были распределены обязанности, условились, где кого искать, определили явочные квартиры и т. п.

В связи с провалом нашей подпольной типографии стали думать, какие все-таки принять меры, чтобы иметь возможность выпускать прокламации и листовки. Поиски помещения для новой типографии взял на себя Артак, а раздобыть шрифт взял я, поскольку немного познакомился с типографским делом в бытность мою редактором.



После того, как Бакинский комитет партии принял решение эвакуировать советский отряд из Баку, специальным уполномоченным было поручено вступить в переговоры с представителями «Диктатуры Центрокаспия», чтобы получить их согласие на беспрепятственный выезд отряда в Астрахань. Большевики были рады избавиться от такой большой большевистской силы и сразу дали на это согласие, потребовав, однако, чтобы мы оставили им все оружие и боеприпасы. Это их требование Шаумян категорически отклонил. Он поручил нашим представителям заявить, что оружие принадлежит Советской России; оно нужно для борьбы Советской власти на других фронтах и поэтому не может быть оставлено. После долгих споров представители «Диктатуры» нехотя дали согласие на эвакуацию советского отряда с оружием. Одновременно комиссар Каспийской военной флотилии от Центрального Совнаркома Полухин договорился с командой корабля «Ардаган» о том, что она берет на себя обязанности по охране и обеспечению безопасности всей эвакуации.

14 августа 1918 года во второй половине дня один за другим 17 пароходов, на которые были погружены наши воинские части и техника, стали отчаливать от пристани Баку. Первым ушел пароход «Колесников», на котором находились народные комиссары и многие другие ответственные работники. Мы, группа оставшихся, стояли на пристани и с болью в сердце махали им руками, провожая своих друзей, как мы тогда все еще думали, в добрый путь. По соображениям конспирации, мы не стали ждать отхода последних пароходов и ушли: с минуты на минуту на площадь мог нагрянуть отряд «Диктатуры Центрокаспия» и арестовать нас.

Шли мы тогда от пристани с тяжелым чувством. Мы только что расстались с очень близкими нам, родными людьми, опытными, более зрелыми, неже-



Георгий Федорович
Стуруа
(1884—1956)

Джафар Мовсум оглы
Бабаев
(1899—1965)

Мир Башир Фаттах оглы
Касумов
(1879—1949)

Иван Иванович
Анашкин
(1880—1938)

Саркис
Саркисов (Даниелян)
(1897—1937)

ли мы, коммунистами-руководителями. Но наряду с этим у нас рождалось и другое — чувство большой партийной ответственности, сознание того, что мы остаемся вместо них для выполнения своего партийного долга. И — не скрою — сознание этого наполняло наши сердца революционной гордостью.

На третий день мы были поражены, узнав, что все корабли были окружены около острова Жилого военной флотилией «Диктатуры Центрокаспия» и насильно возвращены в военный порт. Войска разоружены и на этих же кораблях отправлены в Астрахань. Бакинские же комиссары и другие руководящие работники (35 человек) во главе с Шаумяном арестованы и заключены в тюрьму.

Сообщая об этом, «Диктатура Центрокаспия» лобно клеветала на наших комиссаров, обвиняя их в бегстве с фронта и попытке увезти с собой ценности, стараясь всячески скомпрометировать их в глазах населения и оправдать свое вероломство.

Мы немедленно собрались и решили, что главная задача — спасти наших товарищей, над головой которых нависла угроза дикой расправы. Было принято решение: в качестве экстренной меры договориться с представителями партии левых эсеров и левых дашнаков о предъявлении «Диктатуре Центрокаспия» нашего совместного ультиматума.

Было написано обращение, в котором предлагалось немедленно освободить всех арестованных товарищей и предоставить им возможность выезда в Астрахань, поскольку они были задержаны незаконно, без всяких оснований и к тому же в нарушение взятых властями обязательств об их беспрепятственной эвакуации. В обращении говорилось, что за жизнь арестованных товарищей несут персональную ответственность все члены «Диктатуры Центрокаспия». В случае, если с головы наших товарищей упадет хотя бы один волос, предупреждали членов «Диктатуры» Бакинский комитет партии большевиков, а также партии левых эсеров и левых дашнаков, в отношении всех членов «Диктатуры» будет применен личный террор.

Следует сказать, что для большей координации своих действий и совместных выступлений перед «Диктатурой Центрокаспия» три наши партии (большевики, левые эсеры и левые дашнаки) образовали в ту пору т. н. бюро левых социалистических партий. Такое решение было вполне оправданным по сложившимся условиям борьбы. Надо иметь в ви-

ду, что партия левых дашнаков была небольшой группой рабочих, отколовшихся от партии дашнаков и поддерживающих Советскую власть. Ее возглавлял Авис Нуридджанян, который вскоре, при второй английской оккупации Баку, вступил в партию большевиков, а его группа распалась. В 1920 году он участвовал в Армении в борьбе за свержение правительства дашнаков и вошел в состав правительства Советской Армении.

Так вот, взяв подписанное нами обращение, я от большевиков и соответственно представители от левых эсеров и дашнаков направились в «Диктатуру Центрокаспия» и потребовали свидания с ее председателем Садовским. Заранее мы условились между собой передать заявление и не произносить никаких речей, чтобы не ослаблять впечатления от того, что Садовский прочтет в обращении. С Садовским мы были до этого знакомы. Я передал ему наше обращение. Когда он кончил его читать, я подождал немного и сказал: «Вы хорошо знаете партии, от имени которых написано это обращение. Можете не сомневаться в нашей способности осуществить указанную здесь угрозу. Если вы арестуете нас до выхода из этого здания, ничего не изменится. В каждой из наших партий уже созданы группы террористов, которые будут действовать согласованно, как только наступит необходимый момент».

Все это произвело на Садовского большое впечатление. Он стал оправдываться, уверяет нас, что жизни арестованных ничто не угрожает, что с ними никто не собирается расправляться, что будет проведено расследование, после которого состоится решение, как с ними поступить. Мы не стали вступать в пререкания, оставили заявление и ушли.

Вернувшись, рассказали товарищам о выполнении их поручения. Все мы хорошо понимали, что предатели никакого доверия не заслуживают, что на их слова полагаться нельзя и что наш ультиматум может только временно задержать расправу; ее угроза по-прежнему остается. Чтобы спасти арестованных товарищей, нам нужно было развернуть широкую политическую борьбу.

Кое-чего мы добились. Не прошло и нескольких дней, как вокруг нас собралось довольно много коммунистов из разных районов, особенно когда им стало известно об аресте наших товарищей.

В эти дни появился Георгий Стуруа, старый коммунист, видный бакинский партийный деятель. По-

следние месяцы он находился на Северном Кавказе в качестве уполномоченного Бакинского Совета Народных Комиссаров по заготовке и доставке хлеба в Баку. В связи с тем, что железнодорожное сообщение между Баку и Северным Кавказом было прервано, он отправлял хлеб на пароходах, отгружая его с одной из пристаней Кизлярского района. Узнав о событиях в Баку, но не зная точно, что там произошло, он прибыл в бакинский порт, где и был арестован. Это был человек с крутым складом характера, настойчивый, волевой, неуступчивый, опытный конспиратор, прошедший хорошую школу подпольной работы при царизме. Еще в начале 900-х годов он работал в Москве в нелегальной партийной типографии.

Будучи арестованным, он сумел доказать незаконность своего ареста, так как все последнее время он не занимался ничем, кроме доставки хлеба голодающим жителям Баку. Появление этого опытного коммуниста-подпольщика, к тому же члена Бакинского комитета большевиков, очень нас обрадовало.

Мы сформировали новый состав Бакинского комитета партии большевиков.

Учтя создавшуюся обстановку, мы решили всю развернутую легальную работу: систематически выступать на собраниях, в различных заседаниях, в рабочих организациях и т. п. — и наряду с этим сохранить и укрепить строго законспирированную партийную организацию как в центре, так и в районах. Выделили несколько членов Бакинского комитета, которые должны были целиком сосредоточиться на конспиративной организационной работе, не выступая при этом на открытых собраниях и никак себя не выявляя. Это было поручено Саркису и Плешакову. Вместе с ними среди азербайджанских рабочих вел работу Мир Башир Касумов, активный рабочий-коммунист, возглавлявший партийную организацию на заводе имени лейтенанта Шмидта; впоследствии он был председателем ЦИК Азербайджана. Активную работу вел также молодой печатник Джафар Бабаев — один из основателей Бакинского союза молодежи, и трое братьев Агаевых — активных коммунистов, возглавлявших парторганизацию азербайджанских рабочих — выходцев из Персии. Из левых эсеров руководил работой среди азербайджанских рабочих, в контакте с нами, Рухула Ахундов. Профсоюзную работу мы поручили Губанову — председателю союза водников — и тогда еще совсем молодому Левону Мирзояну. Большую работу в Бакинском комитете партии вели тогда старый большевик Мартикян, Шатуновская, Агамиров, Артак, Крамаренко.

На выпуск газеты мы рассчитывать не могли. Встал вопрос об организации подпольной типографии для печатания прокламаций и листовок. Артак нашел на Станиславской улице помещение: там жила ныне здравствующая старая большевичка Маро Туманян. «Заведование» типографией взяли на себя Артак и Маруся Крамаренко, поселившиеся там же. Наборщика-коммуниста подыскали из той типографии, где ранее издавалась газета «Известия». Добывать шрифт пришлось опять мне. Придя к заведующему типографией «Известий» (мы с ним до этого были хорошо знакомы), я сказал: если он заметит в типографии пропажу шрифта, то пусть не обращает на это внимания — это не воровство. Сказал, что целиком на него полагаюсь, и выразил уверенность, что он никого из рабочих не подведет, если они даже и попадутся ему со шрифтом. Он понимающе посмотрел на меня и, не сказав ни слова, одобрительно кивнул головой.

Подысканный нами коммунист-наборщик и его товарищи в течение нескольких дней прятали в карманах шрифт и приносили его к нам. Через них же мы раздобыли небольшой ручной печатный станок. Это позволило наладить печатание прокламаций. Первая из них была обращением Бакинского комитета партии большевиков к рабочим Баку с призывом принимать на своих собраниях решения с требованием немедленного освобождения незаконно арестованных вождей бакинского пролетариата. Мы использовали тогда любые собрания рабочих, фабзавкомы и другие рабочие организации, чтобы разоблачать предательскую политику «Диктатуры Центрокаспия» и требовать немедленного освобождения бакинских комиссаров из тюрьмы.

Предательские партии меньшевиков и эсеров, чувствуя волнения в народе в связи с арестом бакинских комиссаров и растущее недоверие к вымышленным обвинениям в их адрес, созвали в августе 1918 года специальную конференцию фабрично-заводских комитетов и правлений профсоюзов, стремясь во что бы то ни стало укрепить свое положение в рабочем классе и получить его поддержку.

Как и следовало ожидать, рабочих на этой конференции оказалось очень мало. Произошло это и потому, что лучшая часть бакинского пролетариата (и коммунистов прежде всего) находилась в ту пору в рядах Красной Армии (потом они были разоружены Центрокаспием и высланы в Астрахань), а также и потому, что организаторы конференции постарались протасовать на конференцию главным образом своих сторонников, которые никак не представляли интересов бакинских рабочих.

Учитывая все это и понимая смысл столь поспешной и специально организованной конференции, фракция большевиков поручила мне выступить в самом начале этой конференции с внеочередным заявлением, краткое изложение которого было опубликовано 26 августа 1918 года в меньшевистской газете «Искра». Привожу это газетное сообщение полностью:

«Слово предоставляется т. Микояну для заявления от имени фракции большевиков.

Он протестует против того, что о конференции были плохо информированы районы. Официальное объявление было помещено лишь в последний день перед самой конференцией.

Наша фракция, заявляет т. Микоян, усматривает в этом подтасовку».

Помню, с каким трудом мне удалось добиться на этой конференции слова второй раз — для выступления по докладу главаря «Диктатуры» — меньшевика Садовского.

Надо сказать, что Садовский был искусным демагогом. Стремясь обмануть собравшихся и скрыть предательскую сущность действий меньшевиков, он ловко жонглировал аргументами. То он пытался демагогически утверждать, что существующая диктатура является временной властью — до созыва нового Совета рабочих депутатов, который и определит, какая власть будет в Баку; то призывал к замене «большевистского режима» властью подлинных представителей народа на основе «всеобщего избирательного права». Всячески маскируя преступные связи руководителей «Диктатуры Центрокаспия» с приглашенными ими английскими войсками, он «доказывал», что эти войска находятся в полном подчинении у местного русского командования, что никаких особых политических целей они в Баку не имеют и ни в какие внутренние бакинские дела не вмешиваются. Он цинично и лживо заявил, что меньшевики хотят «сохранить Баку для России, ибо

Россия без бакинского топлива нуль, а Баку без России нуль еще большего размера». С особым усердием он распространял лживую версию об эвакуации частей Красной Армии и бакинских комиссаров, всячески оправдывая предательский арест Шаумяна и других большевистских руководителей.

Выступая на конференции повторно, я на ряде фактов доказал полную зависимость «Диктатуры Центрокаспия» от английского командования и охарактеризовал ее как игрушку в руках оккупантов, показал, какой огромный вред нанесло Баку предательство эсеров, меньшевиков и дашнаков, рассказал о белом терроре, который применяет «Диктатура» против большевиков. Нас лишили руководителей, говорил я, запертали их за тюремные решетки, закрыли наши газеты, запретили выступать на собраниях, среди военных и рабочих, прикрывая все это фальшивыми лозунгами «демократии». В заключение я потребовал немедленного освобождения из тюрьмы вождя бакинского пролетариата, оклеветанных и незаконно арестованных.

Мне кажется, читателям будет интересно ознакомиться с изложением моего выступления в том виде, как это было сделано редакторами «Бюллетеня Диктатуры Центрокаспия» от 24 августа 1918 года. Привожу это «изложение» дословно, без всяких сокращений и поправок.

Я говорил в течение 20 минут, но вот как было тогда опубликовано мое выступление:

«МИКОЯН (от фракции большевиков). Здесь делалось много провокационных выпадов против нашей партии. В течение 20 минут нет возможности ответить на все.

Отряд Петрова и все мы были все время на позициях, а они, дашнаки, хотели сдать город (сильный шум). Почему мы сложили полномочия? Потому что в грозный момент, когда наступал враг, дашнаки отказались защищаться. На фронте не было никого, а в городе было много сил. Всюду мы видели саботаж со стороны правых партий. 25 июля, после решения Совета о приглашении англичан, мы, не считая возможным пригласить их, подали в отставку, чтобы партии, которые желают взять в руки власть, сделали бы это.

Как не стыдно говорить Садовскому, что у Петрова было 200 человек. Не 200, а 1300 чел., и 600 из них погибло на позициях. До 31 июля только они удерживали позиции на левом фланге и в Баладжарах (шум).

Я мог бы привести много фактов, доказывающих истинную причину поражения, но я должен ответить на другие выпады против нас. Помните ли вы слух о том, что приехал представитель немецкого штаба с письмом от Ленина Шаумяну. Была назначена комиссия по разбору этого дела, и там было выяснено, что все это неправда.

Говорили и о том, что большевики захватили деньги и удрали. 10 дней тому назад местная власть, так называемая диктатура, предложила Совету Народных Комиссаров уехать отсюда. Если они знали, что за ними числятся деньги, то они были бы преступниками, разрешая им выехать (аплодисменты слева). Все знали, что Шаумяна, Корганова, Джапаридзе нельзя обвинить в этом.

В «Бюллетенях» пишут: все задержанные будут преданы суду и препровождены в тюрьму.

Нам же затыкают рот, запрещают агитировать в армии, не разрешают высказывать свое мнение. Когда мы были у власти, все партии, кроме меньшевиков, имели свои органы, и даже меньшевики имели возможность на собраниях свободно излагать свои мысли.

Еще в июле месяце прошлого года вы хотели натравить массу на нас, и пролетариат в июле месяце прошлого года был настроен против нас, но потом пошел за нами. Он пойдет за нами и теперь.

Когда кричат о том, что нужна единая Россия, с единой центральной властью, то забывают о том, что решением о приглашении англичан они сами нарушили этот принцип. На пятом съезде, где были представлены все Советы, было вынесено решение не приглашать союзников, помимо центральной власти.

Мы, товарищ Шаумян и т. Петров, как представители центральной власти, не могли идти воевать вместе с Англией, в то время как англичане вооружают чехословаков, немецких и австрийских военнопленных (смех).

Когда наемники английского империализма начинают давить Россию и занимать русские города, когда они растерзывают тех, кто называет себя большевиками (сильный шум), когда на Западе немецкий империализм наложил свою лапу на Россию... (Сильный шум, слов оратора не слышно).

Ваш спаситель Бичерахов убегает на Северный Кавказ и требует от вас помощи.

При этих условиях представители центральной власти, Петров и Шаумян, должны были покинуть город. Отряд Петрова не сбежал. Это могут утверждать только бесстыдные лжецы. Он готовился к отъезду два дня, и все было видно на глазах у всех.

Далее говорят, что англичане не будут вмешиваться во внутренние дела. Таким образом, выходит, что англичане будут проливать свою кровь ради наших прекрасных глаз. Нет, они уже наложили свою лапу на продовольствие, говоря, что фронт не может быть укреплен при плохом состоянии продовольственного дела. Все правые эсеры говорят, что продовольственный вопрос есть политический вопрос. Значит, англичане вмешиваются уже в политические дела.

Пример Грузии и Украины нам достаточно показал... (сильный шум).

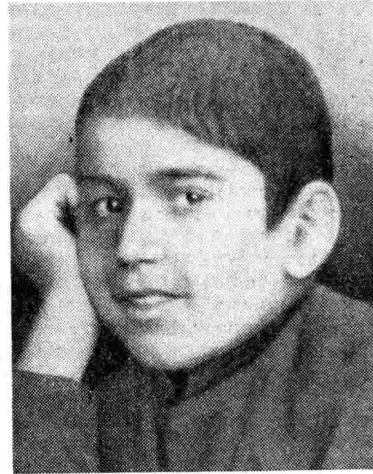
Говорят, что здесь будет образована власть на основах всеобщего избирательного права. Этим отрицают рабочую власть. Как ни однобока была прежняя власть, она все же была рабочей, а всеобщее избирательное право означает то, что во власти будут принимать участие тузы, спекулянты... (Шум. Оратор сходит с эстрады).

С поддержкой нашей линии на конференции выступил от партии левых дашнаков Нуриджанян. Вслед за ним — от большевиков выступил г. Блюмин, разоблачивший многие лживые утверждения Садовского и двучинную позицию правых дашнаков.

Чтобы свести на нет впечатление от наших выступлений, с пространной и еще более откровенной клеветнической речью вновь выступил Садовский, а вслед за ним — меньшевик Багатуров, поддержанные своими приспешниками и подпевалами, которые составляли большинство на этой конференции.

После прекращения прений на конференции была оглашена очень обтекаемая, демагогическая резолюция эсеров, в которой, однако, прямо выражалось доверие и поддержка «Диктатуре Центрокаспия». Меньшевики выступили с добавлением к этой резолюции, предлагая признать бакинских комиссаров предателями и врагами народа. Эта резолюция была принята 117 голосами против 20.

Тогда с заявлением от фракции большевиков выступил т. Бекер. Привожу его заявление в том виде, как оно было опубликовано в том же «Бюллетене»: «Мы считаем конференцию созданной неправильно и потому неполномочной (сильный шум). На



ней отсутствуют рабочие (сильный шум, оратор старается перекрыть собрание). Поэтому мы не вносим никаких резолюций!»

После этой конференции мы, сговорившись с левыми эсерами и левыми дашнаками, подготовили письменное обращение от имени наших трех левых партий, в котором требовали немедленного освобождения из тюрьмы бакинских комиссаров и создания межпартийной следственной комиссии из представителей всех социалистических партий Баку с тем, чтобы передать на ее рассмотрение выдвинутые против бакинских комиссаров обвинения. Мы отнесли этот документ тому же Садовскому, который по каким-то соображениям, не вступая с нами в спор, сказал, что наше обращение он доложит «Диктатуре», а о принятом решении нам сообщат.

На следующий день из газет стало известно, что правительство Центрокаспия отклонило наши требования и передало арестованных комиссаров в распоряжение своей чрезвычайной комиссии, которую возглавляли видные работники «Диктатуры Центрокаспия» Васин и Далин.

Первой нашей заботой было как можно скорее установить связь с арестованными товарищами, узнать об их состоянии, оказать им помощь в питании. Нам это удалось. Мы стали собирать средства и закупать продукты. Организацию этого дела мы возложили на одного из наших активных работников среди молодежи — Агамирова и секретаря-машинистку Шаумяна — Степанову, которая здравствует и в наши дни, проживая в Москве. Степанова поддерживала связь с арестованным Коргановым, который был избран заключенными их старостой.

Вскоре включилась в эту работу и Варвара Михайловна — жена Джапаридзе. После эвакуации в Астрахань вместе с семьей Шаумяна она оставила двух своих малолетних дочерей на попечение жены Шаумяна, а сама возвратилась на одном из пароходов в Баку.

У Степановой сохранилось письмо, присланное ей Коргановым из Баилловской тюрьмы. В этом письме Корганов подробно излагал свои соображения о том, как лучше организовать доставку продуктов в тюрьму для поддержания арестованных. Он рекомендовал Степановой переговорить со мной и передать мне его практические соображения на этот счет. Любопытно отметить, что в этом письме Корганов просил все посылаемое в тюрьму обертывать в свежие газеты, а на внутренних сторонах этих

«мешочков» что-нибудь писать о жизни «на воле». «Но ответственные послания,—предупреждал он,— надо посылать только через специальных лиц».

Нам удалось организовать ряд встреч родственников с арестованными. В частности, Варвара Михайловна, как жена, добилась встречи с Джапаридзе. После настоятельных просьб мне удалось получить разрешение на одну встречу с Шаумяном. Он стоял по одну сторону решетки, а я — по другую (Шаумян еще при царизме, в этой же тюрьме, имел подобные «свидания» с товарищами и членами своей семьи). Выглядел он усталым и бледным, внимательно слушал мой рассказ о том, что мы делаем, и мне даже показалось, что в его взгляде появился признак как бы удивления: оставшаяся на воле молодежь, такая еще зеленая, много и хорошо работает. Он был этому искренне рад.

Помню, я возмущался тем, что меньшевики, которые когда-то считались нашими товарищами и даже были с нами в одной партии, теперь так бесстыдно распространяют явную клевету на кристально чистых революционеров; я говорил, что возмущение всем этим высказывают не только рабочие, но и многие простые обыватели.

Шаумян сказал мне тогда: «Не надо волноваться. Ложь долго не продержится, она будет разоблачена самой жизнью. Правда на нашей стороне, и она победит». Я просил его дать указания, какой тактики нам придерживаться в дальнейшем. Он сказал: «Мероприятия, намеченные Бакинским комитетом партии, правильные, и надо их проводить в жизнь».

Вскоре после ареста комиссаров нам удалось добиться освобождения из тюрьмы сына Шаумяна — Левы, как малолетнего (ему было всего 14 лет). Несколькими позже удалось взять на поруки и его старшего сына — Сурена, которому в то время шел 17-й год.

От Сурена мы узнали все подробности о том, как были задержаны пароходы у острова Жилого, который расположен недалеко от Баку. Ждали, когда подойдут остальные пароходы. Особенно долго пришлось ждать прихода двух последних судов: они попали в шторм, особенно опасный для нефтеналивных судов, на низких палубах которых были размещены красноармейцы и оружие. Надо сказать, что, когда мы обсуждали потом рассказ Сурена, для нас было ясно, что находившиеся на пароходе «Колесников» Шаумян и другие комиссары не должны были ждать подхода других судов; надо было уходить



Екатерина Сергеевна
Шаумян
(1873—1942)

Сурен Степанович
Шаумян
(1902—1936)

Лев Степанович
Шаумян
(р. 1904)

Варвара Михайловна
Джапаридзе
(1886—1952)

Ольга Григорьевна
Шатуновская
(р. 1901)

прямо в Астрахань. При этих условиях им, возможно, удалось бы миновать встречи с флотом «Диктатуры Центрокаспия». Но Шаумян и его друзья не хотели покидать отряда. К тому же, видимо, они не очень опасались, что их вновь задержат, поскольку вся эта эвакуация была официально санкционирована властью «Диктатуры Центрокаспия». В вероломство этой власти они до конца еще не верили. Однако вскоре их окружили суда военной Каспийской флотилии, которые направили на них дула своих орудий, предъявив ультиматум о возвращении в Баку. Шаумян и другие отклонили это требование как незаконное. В ответ по ним открыли огонь. Были жертвы.

В этот момент многие товарищи вновь потребовали, чтобы Шаумян, Джапаридзе и Азизбеков отделились от остальных комиссаров, высадились на острове Жилом и оттуда на баркасе или рыбацкой лодке добирались до Астрахани. Но все трое категорически отказались оставить товарищей в опасности.

Вскоре подошли военные суда «Диктатуры Центрокаспия», под конвоем которых наши пароходы были пригнаны в Баку и разоружены. Бакинские комиссары, а с ними и некоторые другие руководящие советские и партийные работники были арестованы и заключены в тюрьму.



Политическая обстановка в Баку накалялась. Передовые рабочие с возмущением отнеслись к новому акту предательства эсеров, меньшевиков и дашнаков. Повсеместно на митингах и собраниях они требовали освобождения арестованных комиссаров. Однако правые, опираясь на английские штыки, готовили не освобождение, а расправу над арестованными.

Желая подвести общественную демократическую «базу» под существовавшую тогда в Баку власть и одновременно начисто избавиться от большевиков в Совете, меньшевики и эсеры затеяли проведение выборов нового состава Бакинского Совета рабочих депутатов, назначив эти выборы на 28 августа 1918 года.

Мы, со своей стороны, решили принять участие в этих выборах, превратив избирательную кампанию в широкое движение рабочих за освобождение наших арестованных товарищей. Однако хорошо подготовиться к этому мы не имели возможности.

Избирательная кампания проводилась меньшевиками с нарушением элементарных демократических прав нашей партии. Большевикам не разрешалось выпускать каких-либо легальных печатных изданий с изложением своих позиций перед избирателями, нас не допускали к участию в собраниях военных. Стремясь во что бы то ни стало выиграть хотя бы несколько дней, чтобы охватить своим влиянием ряд крупных предприятий, мы от имени бюро трех левых социалистических партий подали в Центральную избирательную комиссию заявление, в котором просили об отсрочке выборов на неделю, мотивируя это серьезными нарушениями правил проведения предвыборной кампании.

Выборы были назначены на 28 августа, а накануне, в день подачи нами заявления, в газетах еще не были опубликованы списки кандидатов в депутаты. Мы заявили, что отклонение нашего требования мы будем рассматривать как новый шаг к подтасовке.

Отклонив наше требование, они, продолжая играть в «демократию», через два дня после того, как состоялись выборы, опубликовали в эсеровской газете текст нашего заявления.

Мы все же успели издать в нелегальной типографии предвыборную листовку с призывом голосовать за большевистских депутатов. В разных районах Баку мы выдвинули в Совет кандидатуры арестованных бакинских комиссаров, а также наиболее активных рабочих. Несмотря на всяческие преграды, рабочие Баку сумели избрать в Совет 28 депутатов-большевиков, в том числе девять арестованных бакинских комиссаров — Шаумяна, Джапаридзе, Зевина, Фиолетова, Азизбекова, Басина, Корганова, Малыгина и Богданова. Были избраны также Стурца, я и другие коммунисты. Из числа левых эсеров и левых дашнаков было избрано семь депутатов, в том числе нарком Везилов.

Ставка меньшевиков и эсеров на полную изоляцию большевиков провалилась. Передовые бакинские рабочие поддержали и наше требование о немедленном освобождении из тюрем арестованных товарищей.

Все это совпало с новой атакой турецких войск на Баку. Атака была отбита. Турки, а также английские части понесли большие потери. Однако вскоре турки все же заняли одну из высот, поставили на ней артиллерию и стали систематически обстреливать Баку.

Первое заседание нового Совета было создано в

здании Исполкома. Когда депутаты собрались и заседание должно было уже открыться, в здание Исполкома попал снаряд. Большевики предложили перенести заседание Совета в помещение ресторана на Морской улице. Ресторан этот находился на первом этаже дома в несколько этажей, с фасадом, выходящим в сторону моря, что до известной степени гарантировало безопасность. Предложение было принято. В зале ресторана расставили стулья, стол для председателя. Мы, большевики, и вместе с нами левые эсеры и левые дашнаки сидели компактно в левой стороне зала.

После того как стали известны результаты выборов, мы передали «Диктатуре Центрокаспия» письменное требование освободить арестованных комиссаров, избранных депутатами Бакинского Совета и тем самым получивших вотум доверия рабочего класса.

5 сентября на заседании Бакинского Совета по поручению фракции большевиков выступил Георгий Стура с категорическим требованием освободить из тюрьмы арестованных товарищей, избранных депутатами Совета, дать им возможность участвовать в работе Совета и тем самым выполнить функции избранных рабочих класса.

Через три дня в «Бюллетене Центрокаспия» было опубликовано сообщение, что «...на заседании Совета представитель большевиков Стура, а вслед за ним Микоян, Бекер и левые эсеры-интернационалисты Тер-Саакян и др. возбудили вопрос о немедленном освобождении томлящихся в заключении бывших народных комиссаров, прошедших по партийным спискам в Совет».

Выступления нескольких представителей левого блока по этому вопросу были вызваны тем, что отдельные лидеры меньшевиков и эсеров выступали против освобождения арестованных комиссаров. Главный оратор Садовский заявил о том, что требование коммунистов, заявленное «Диктатуре Центрокаспия», об освобождении комиссаров рассмотрено и принято к сведению, то есть тем самым отклонено. Он и другие ораторы из меньшевиков и эсеров старались доказать, что арестованные комиссары не могут быть освобождены в связи с тем, что им предъявлены обвинения в совершении преступлений и что окончательно это будет доказано на суде. Они всячески оправдывали политику репрессий против бакинских комиссаров, выдумывая всевозможные лживые обвинения в их адрес, стремясь опорочить их в глазах рабочих.

Большевики и левые эсеры в своих выступлениях разоблачали предательскую политику правых партий, доказывали несостоятельность обвинений, выдвинутых против бакинских комиссаров, и незаконность ареста. Мы настаивали на том, чтобы материалы обвинения бакинских комиссаров были изъяты из следственных органов «Диктатуры Центрокаспия» — старых царских судебных прислужников — и переданы на рассмотрение специальной межпартийной комиссии, составленной из представителей всех политических партий, представленных в Совете. При этом мы ссылались на письмо арестованных бакинских комиссаров, в котором они мотивированно заявляли о своем отказе давать какие-либо показания следственным властям Центрокаспия, требуя, чтобы им дали возможность после освобождения из тюрьмы самим отчитаться о своих действиях перед Бакинским Советом.

Споры были длительными. В конце концов правые партии добились прекращения прений, так как их продолжение вскрывало лживость обвинений, выдвинутых против бакинских комиссаров.

Председатель заседания поставил на голосование

предложение фракции коммунистов о том, чтобы Совет, не дожидаясь следствия и суда, немедленно освободил всех арестованных депутатов. Голосование дало следующие результаты: за — 27, против — 122, воздержалось — 19.

Затем на голосование было поставлено наше второе предложение — назначить специальную следственную комиссию из представителей всех политических партий, представленных в Совете. За это предложение было подано 42 голоса, трое воздержались, остальные были против.

Таким образом, оба предложения фракции большевиков оказались отвергнутыми. Это вызвало с нашей стороны резкое возмущение. Несмотря на звонки и окрики председательствующего, наши депутаты вскакивали с мест, громко заявляя свои протесты.

Сильный шум поднялся и на скамьях правых партий. Началась подлинная «схватка» двух враждебных лагерей.

С большим трудом председательствующему удалось восстановить порядок и, пользуясь подавляющим большинством своих сторонников на заседании, провести голосованием решение, предложенное фракцией правых социалистов-революционеров: «Заслушав заявление фракции коммунистов и объяснение временной диктатуры Центрокаспия и Исполнительного Комитета, Совет переходит к очередным делам».

Эта хитрая формула «перехода к очередным делам» свидетельствовала о трусости властей перед массами и их стремлении смазать остроту вопроса о судьбе бакинских комиссаров, чтобы, опираясь на это решение, за спиной рабочих сделать черное дело — расправиться с комиссарами.

Выступил лидер меньшевиков Айолло — один из самых заклятых врагов большевиков. Он предложил принять от имени Совета воззвание к населению и армии.

Тогда мною от имени большевистской фракции было внесено предложение — прежде чем рассматривать вопрос о воззвании, решить основной вопрос — о власти. В Баку, говорил я, управляет самочинно возникшая, никем не избранная «Диктатура Центрокаспия». Теперь, когда избран новый Совет, он должен распустить этот незаконный орган и взять всю полноту власти в свои руки (по тактическим соображениям это предложение было тогда целесообразным). Только после этого можно будет обсуждать вопрос о воззвании и о его содержании.

Совет игнорировал это наше предложение и не стал его даже обсуждать.

Айолло огласил «Тезисы воззвания», состоявшего из нескольких пунктов, составленных в духе меньшевистской политики.

По поводу этих «Тезисов» я заявил следующее: «Фракция коммунистов, не входя в обсуждение предложенных воззваний, указывает, что все попытки замаскировать деятельность буржуазной власти именем и флагом Совета и использовать Совет для борьбы с коммунистами — наша партия с негодованием отвергает и никакого участия в голосовании принимать не будет».

После того как без нашего участия воззвание было принято, председательствующий вернулся к поставленному мною вопросу о власти в Баку и заявил: «С того момента как собрался Совет, юридически власть диктатуры прекращается и от нас зависит предложить ей оставаться».

С протестом против этого предложения выступил Стура. Совет, заявил он, не может передавать кому-либо своих полномочий. Он должен сам осуществлять всю полноту власти и упразднить временную «Диктатуру Центрокаспия».

Представитель правых эсеров Велунц предложил впредь до избрания Советом новой власти всю полноту правительственной власти оставить в руках «Диктатуры Центрокаспия». Пользуясь большинством в Совете, меньшевикам и эсерам удалось проташить это предложение.

Совет принял решение — на следующем заседании заслушать декларации политических партий и вопрос о конструировании власти.



Политическое положение обострялось. 7 сентября чрезвычайная комиссия «Диктатуры Центрокаспия» опубликовала сообщение, в котором Джапаридзе, Петрову и некоторым другим комиссарам инкриминировалось совершение «уголовных преступлений». Это было настолько нелепо и бессмысленно, что уже на следующий день, под давлением нашего протеста во время переговоров с представителями партий эсеров и меньшевиков, чрезвычайная комиссия была вынуждена опубликовать письмо, в котором было сказано, однако, лишь о «неудачных формулировках», данных в их сообщении. Это была, понятно, очередная попытка жульнически смазать клеветнический характер надуманного «уголовного дела» против бакинских комиссаров.

На втором и третьем заседаниях Совета, состоявшихся 10—11 сентября, столкновения между двумя лагерями Совета крайне обострились. Чтение деклараций правых партий, восхваляющих политику этих партий и содержащих злостные выпады против коммунистов, сопровождалось громкими протестами со скамей левых депутатов.

Надо сказать, что декларация фракции коммунистов была заранее хорошо подготовлена, обсуждена в Бакинском комитете партии и на большевистской фракции Совета.

Получив слово, я по поручению фракции большевиков начал оглашать эту декларацию. К сожалению, текст декларации не сохранился. Поэтому я привожу ее здесь в изложении по памяти.

Декларация начиналась краткой оценкой международного положения, мировой войны, предательской роли эсеров, меньшевиков, дашнаков, мусавистов и других реакционных сил внутренней контрреволюции, развязавших в стране ожесточенную гражданскую войну, борьбу с Советской властью.

В декларации шла речь о том, как внутренняя контрреволюция сомкнулась с иностранными империалистическими государствами Антанты. Разоблачалось предательство правых партий в Баку, которые, заявляя на словах, что они за Россию и что, приглашая англичан в Баку, они стремятся сохранить город для России, на деле отказываются признать центральное правительство России и тем самым стремятся оторвать Баку от России. Декларация утверждала, что англичане пришли в Баку не с целью его сохранения для России и не для борьбы против турок, а с целью захвата. Так ведут они себя не только здесь, говорилось далее в нашей декларации, но и во всем Закавказье, в Средней Азии и в России. Англичане ставят перед собой задачу — задуть социалистическую революцию в России, расчленив Россию на куски, захватить ее богатые окраинные районы и превратить их в свои колонии. Такие же цели преследуют и другие империалистические державы Антанты.

В этой смертельной схватке революционной России с империалистическими захватчиками-интервентами партии, называющие себя «социалистическими», как и созданная ими власть в Баку, играют роль

марионеток интервентов и находятся в лагере контрреволюции.

В декларации разоблачалась предательская роль дашнаков, измена моряков Каспийской военной флотилии, личный состав которой оказался частью обманутым, частью подкупленным англичанами.

В результате, говорилось в декларации, Баку оказался отрезанным от России. Подлинными хозяевами здесь стали англичане, «Диктатура Центрокаспия» — их прислужницей, а вожди бакинского пролетариата посажены за решетку. С негодованием отвергли мы ничем не обоснованные, клеветнические обвинения, выдвинутые против арестованных бакинских комиссаров, и требовали немедленного их освобождения.

Несмотря на все трудности, переживаемые Советской Россией, говорилось в заключение, гражданская война закончится полной победой Советской власти, и на развалинах капитализма победит мировая революция.

Чтение декларации проходило в крайне напряженной обстановке. При оглашении наиболее острых, критических ее разделов меня почти непрерывно прерывал звонок председательствовавшего. Мешали иступленные выкрики с мест наиболее оголтелых меньшевиков, эсеров и дашнаков. Несмотря на все это, я продолжал читать декларацию, все больше и больше повышая голос, чтобы перекрыть шум, поднявшийся в зале.

Председествовал старый меньшевик Михайличенко, член первой Государственной думы. Вообще он не играл тогда большой политической роли в Баку, а был выдвинут на пост председательствующего скорее для того, чтобы придать большую респектабельность меньшевистскому Совету. Михайличенко, хотя и прерывал меня своим звонком, справиться с создавшимся на заседании положением не мог. Тогда сидевший рядом с ним Осинцев вырвал у него звонок.

Когда я огласил то место декларации, где говорилось, что Каспийский военный флот частью обманут, частью подкуплен англичанами, на меня стали набрасываться поднявшиеся со скамей наиболее озверевшие противники с выкриками и угрозами, а Осинцев, размахивая председательским звонком, чуть ли не бил им меня по носу. Тогда, не сдержавшись, я сделал попытку выхватить револьвер, который обычно почти всегда носил с собой заткнутым за поясной ремень. К счастью, его там не оказалось: в тот день я случайно забыл его дома. Поняв мое намерение, несколько человек направили на меня пистолеты. Тогда я сунул руку в карман брюк. Думая, что я полез за револьвером, на меня набросились и схватили за руку. Когда мою руку вытащили, в ней оказался... носовой платок.

Все левое крыло депутатов, подняв над головами стулья, двинулось к столу президиума, на мою защиту. Началась общая потасовка. Все смешалось.

Каким-то образом Осинцеву все же удалось навести некоторый порядок.

Наши противники требовали лишить меня слова и не дать оглашать декларацию до конца. Однако председательствующий, очевидно, чтобы доказать свой «демократизм», стал уговаривать дать мне возможность закончить чтение декларации.

При невероятном шуме и криках со всех сторон мне удалось закончить чтение декларации.

В зале стали раздаваться голоса, требовавшие лишить меня депутатских прав, предать суду за оскорбление военных моряков... Представитель моряков заявил, что они привлекут к суду за клевету всю партию большевиков...

После моего выступления представитель эсеров

предложил резолюцию, отвергавшую «желание коммунистов оплывать наш доблестный флот» и предлагавшую «выразить флоту от имени Совета благодарность за бескорыстное и беззаветное служение обороне города». В дикой сумятице эта резолюция была проголосована, и было объявлено, что она принята большинством голосов.

Вновь вспыхнули крики и шум. Кричали левые депутаты, клеймя позором предателей. Невероятный шум раздавался со скамей правых. Навести порядок было уже невозможно. Заседание объявили прерванным.

На следующий день, утром 11 сентября, мы прочитали в «Бюллетене Диктатуры» сообщение, которое привело нас в ярость: в связи с окончанием работы военно-следственной комиссии арестованные бакинские комиссары предаются военному суду. Специально для этого случая было утверждено временное положение о военно-полевом суде.

Мы решили немедленно переключить всю свою работу на освобождение наших товарищей. Была развернута широкая кампания в районах против военно-полевого суда. Предстоящее в тот день третье заседание Совета мы решили использовать полностью для обсуждения вопроса о положении арестованных комиссаров.

Когда заседание Совета было открыто, я по поручению фракции большевиков потребовал слова для внеочередного заявления о новом акте беззакония, допущенного «Диктатурой», — предании военно-полевому суду вождей бакинского пролетариата, об этой намечающейся зверской расправе с честными революционерами под маской правосудия.

Несмотря на предупреждение председательствующего, я стал в самых острых и резких выражениях разоблачать меньшевиков, эсеров и дашнаков и потребовал, чтобы Совет отменил позорное решение о предании комиссаров суду и освободил их. За судьбу и жизнь бакинских комиссаров, заявил я, будут своими головами отвечать лидеры господствующих в Совете партий.

Выступивший от меньшевиков Айолло вновь клеветал на бакинских комиссаров и на нашу партию.

Тогда взял слово товарищ Стуруа. Он говорил очень резко. Убедительно разоблачая предательскую политику правых партий, обвиняя их в том, что они становятся палачами революционеров, он заявил, что им не уйти от ответственности перед рабочим классом и историей.

Поднялся всеобщий шум. Выступление Садовского, потом выступление товарища Бекера потонули в сплошном гуле голосов. Председатель не давал слова другим нашим товарищам, которые хотели выступить: им пришлось выступать, так сказать, в «захватном порядке». Создалось положение, при котором дальнейшая работа Совета становилась невозможной. Меньшевики, поняв, что дело идет к срыву заседания, перешептывались между собой. Председательствующий объявил о закрытии заседания.

Современному молодому читателю будет интересно и полезно узнать, как односторонне, скупо и тенденциозно освещалась тогда в меньшевистской печати сама атмосфера, в которой проходили эти два последних заседания Бакинского Совета. С этой целью я привожу некоторые выдержки из бакинской меньшевистской газеты «Искра»:

«...Атмосфера в зале сразу накалилась, когда выступили коммунисты с обширной декларацией. Обычная брань, узоэ и инсинуации пропитывали ее насквозь, как вода губку...

...Коммунисты выступают с очень длинной декларацией, представляющей обычную ламентацию коммунистов в обычном «стиле» газеты «Бакинский рабочий»¹. Декларация эта изобилует таким количеством ругательств, клеветнических выпадов и лжи, что крики негодования со всех скамей не дают Микояну читать декларацию своей партии. Особенное негодование вызывает инсинуация коммунистов о том, что флот в большинстве своем подкуплен английским золотом.

Терпение членов Совета не выдерживает. Огромное большинство Совета требует, чтобы Микоян был лишен слова и чтобы декларация больше не читалась.

С трудом удается установить спокойствие и дать Микояну возможность дочитать декларацию.

...Если исключить из этой, с позволения сказать, «декларации» всю брань по адресу всех меньшевиков, все инсинуации и клевету по адресу отдельных частей флота и армии, то, что дает эта декларация трудовой массе? — Ровно ничего.

Но вы узнаете из нее следующие, весьма важные и великие, а главное, «весьма новые» истины:

- 1) что происходит мировая война;
- 2) что за ней по пятам следует мировая социалистическая революция;

3) что единственным факелом, освещающим путь этой мировой революции, шествующим впереди ее, как библейский огненный столб впереди освобожденного из египетского рабства еврейского народа, является большевистская советская власть и

4) что вследствие совокупности всех этих условий партия коммунистов будет добиваться непрерывной гражданской войны, уничтожения буржуазии, захвата власти и установления на развалинах «старого режима» — коммунистического строя...

...Коммунисты с определенной целью сорвать заседание начинают вносить бесконечные запросы и делая заявления. Форма запросов и заявлений настолько неприличная, что со всех скамей Совета непрерывно раздаются крики с требованием лишить коммунистов слова. Тов. Михайличенко из сил выбивается, чтобы водворить порядок. Наконец, он передает председательство тов. Осинцеву, которому благодаря его несомненному умению председательствовать удается водворить тишину и установить порядок.

Настроение настолько нервное, что заседание дальше продолжить не представляется возможным».

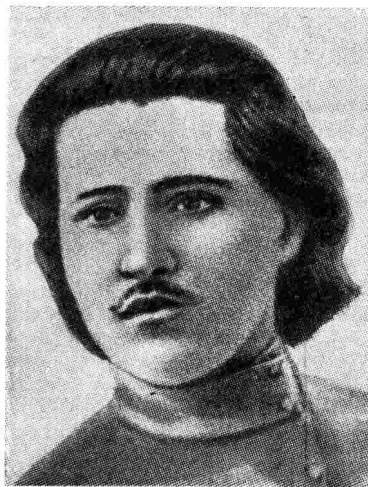
Нужны ли к этому дополнительные комментарии?



14 сентября, рано утром, когда я еще спал на балконе у Мартикяна², прибежала жена Джапаридзе Варвара Михайловна и сказала, что меньшевики и эсеры убегают из Баку, скоро войдут в город турки, надо побеспокоиться о судьбе арестованных.

¹ Газета «Бакинский рабочий» была органом Бакинского комитета партии. Ее редактором после С. Шаумяна стал Арсен Амирян — стойкий и принципиальный большевик. Почти каждый день газета выходила с его короткими, острыми, содержательными передовыми статьями. За это его остро ненавидели меньшевистские борзописцы. Амирян погиб в 1918 году, в числе 26 бакинских комиссаров.

² Серго Мартикян — старый большевик, близкий друг С. Шаумяна. Впоследствии был Председателем ЦИК Советской Армении.



Иван Васильевич
Малугин
(1888—1918)



Маро
Туманян
(р. 1880)



Арсен Минаевич
Амирян
(1881—1918)

Мы не думали, что все это может случиться так скоро. Только накануне мы, собравшись, вырабатывали мероприятия по спасению наших товарищей из тюрьмы. С приближением турок обстановка менялась. Нужно было принимать экстренные меры. Оставались считанные часы.

Мне, как члену Бакинского Совета рабочих депутатов, было поручено пойти к властям «Диктатуры Центрокаспия» и потребовать освобождения наших товарищей из тюрьмы. Если же освободить их нельзя, то потребовать их эвакуации, чтобы не оставить туркам на растерзание. Кроме того, мы организовали боевой отряд из 6—7 человек, который возглавлял старший сын Шаумяна. Вооружили этот отряд револьверами и гранатами. Договорились, что если мне не удастся добиться освобождения наших товарищей из тюрьмы, а турки будут входить в город, — этот отряд, не ожидая никаких дополнительных указаний, должен напасть на тюрьму и освободить арестованных. Для этого отряду было предложено все время находиться в районе Баилловской тюрьмы. На случай освобождения наших из тюрьмы мы сговорились с командованием советского парохода «Севан» о приеме освобожденных товарищей и доставке их в Астрахань.

За несколько дней до этого пароход «Севан» прибыл из Астрахани с группой делегатов — формально для ведения переговоров о товарообмене между Астраханью и Баку. Через местных моряков-коммунистов мы узнали, что действительная цель прихода «Севана» в Баку состояла в том, чтобы выяснить общее положение в городе, узнать, какая в нем установлена власть и какова судьба арестованных бакинских руководителей. Поэтому сговориться нам было нетрудно.

Мы условились, что к вечеру «Севан» станет в районе Баилова у причала, недалеко от тюрьмы.

Все было согласовано.

Я поехал в «Центрокаспий». Несколько часов добивался приема. Никого из большого начальства там не оказалось, все они в панике сбежали. Я узнал, что ночью остатки английских войск также поспешно бежали из Баку на пароходах.

Наконец, вечером появился член «Диктатуры Центрокаспия» Велунц — представитель эсеров, ко-

торого я знал лично. Я прямо-таки «напал» на него, заявив, что они трусы и мерзавцы, оставляя наших товарищей на растерзание туркам, что все это черное дело, фактически, делается их грязными руками. Сказал, что это подлость, которая даром им не пройдет. «Вы, Велунц, — сказал я ему, — будете головой отвечать за это». Он ответил, что не может освободить людей из тюрьмы, не имеет на это права, но он и не хочет оставлять арестованных туркам. Тогда я спросил: если он не имеет права освободить, то почему не может их эвакуировать? Велунц ответил, что не имеет для этого никаких возможностей, а кто это вообще может сделать, он сам не знает. Тогда я заявил, что могу это сделать сам, поскольку являюсь членом Бакинского Совета депутатов трудящихся.

Неожиданно Велунц со мной согласился и сказал, что даст соответствующее указание заместителю начальника контрразведки Далину. Я попросил его написать об этом письменный приказ. Он написал. С этим документом я пошел к Далину. Я застал его на месте. «Вот вам распоряжение, — заявил я Далину, — прошу обеспечить эвакуацию арестованных бакинских большевиков». «Этого я сделать не могу, — сказал мне Далин, — у меня нет пароходов, да и отправить арестованных не с кем: у меня нет для них охраны». На это я ответил ему, что у нас в резерве стоит пароход, который мы можем для этой цели предоставить. Он поинтересовался, откуда взялся этот пароход и где он стоит. Я ответил, что у нас все уже организовано для эвакуации. Тогда он вновь заявил, что у него нет конвоя — отпустить же арестованных, фактически «на волю», он не может. На это я ответил ему, что «мне как члену Бакинского Совета депутатов, избранному при вашей власти, даны полномочия сопровождать и эвакуировать арестованных. Я пойду в тюрьму и все сделаю сам». Но он продолжал настаивать, что ему нужны солдаты-конвоиры; без этого он не может выполнить указание об эвакуации. Тогда я заметил, что в здании ЧК находилось несколько старых солдат из рабочих. Я подошел к ним, стал уговаривать. Рассказал, что такие-то наши товарищи находятся в тюрьме, их могут растерзать турки, назвал их фамилии. Очень просил их пойти со мной в качестве охраны. Сперва они отказывались,

ссылаясь на то, что торопятся к своим семьям, поскольку турки уже врываются в город. Но все же мне удалось их уговорить. Я им сказал, что «вы только дойдете до тюрьмы, а там можете идти куда хотите».

Далин еще долго артачился, но в конце концов подписал распоряжение о том, что члену Бакинского Совета А. Микояну поручается вместе с приданной ему охраной освободить из тюрьмы и эвакуировать из Баку арестованных бакинских комиссаров.

С приданной «охраной» я отправился пешком из центра города на Баилов, к зданию тюрьмы. Это было часов в 8—9 вечера. Мне хотелось сначала найти наш отряд, который, как мы условились, должен был находиться в районе тюрьмы. Но не нашел его. Был этим удивлен. «Видимо,— подумал я,— что-то случилось». (Как потом я узнал, наш отряд до моего прихода к тюрьме был задержан каким-то эсеровским матросским отрядом.)

У дверей тюрьмы стоял ее начальник, сильно возбужденный и не знавший, что ему делать. Я подошел к нему, представился, показал документ и попросил выдать в мое распоряжение арестованных бакинских товарищей. Он очень этому обрадовался. Я вошел в здание тюрьмы, буквально вбежал в тюремный коридор и увидел, что все арестованные стояли в камерах у дверей, как бы в ожидании чего-то. Они уже слышали артиллерийские и винтовочные выстрелы. Я громко сказал, что сейчас они будут освобождены, выведены из тюрьмы и посажены на пароход «Севан», прибывший из Астрахани.

Выйдя из тюрьмы раньше других, чтобы поскорее найти наш отряд, я не смог его, однако, нигде обнаружить. Пошел в сторону пристани, но там никакого парохода не было видно. Стал спрашивать встречающих: «Где пароход «Севан»? Мне сказали, что его захватили войска «Диктатуры Центрокаспия» и куда-то угнали.

Когда арестованные вышли из тюрьмы, я уже вернулся и рассказал им, что случилось. Оставался единственный выход: идти в город и искать, где можно скрыться.

Мы пошли в город. В это время турки уже обстреливали Баилов из ружей и пулеметов. Пули свистели над нашими головами. Мы шли, укрываясь за стенами домов, куда турецкие пули не попадали. Когда подошли к району набережной, то увидели массы людей, идущих из города, чтобы успеть попасть на стоящие у причалов пароходы.

Здесь нам повстречался верхом на коне Татевос Амиров. Он очень обрадовался этой встрече и сразу же сказал Шаумяну: «В моем распоряжении находится пароход «Туркмен», на нем вы можете эвакуироваться из Баку».

Все мы направились к пристани, чтобы сесть на пароход, который нам указал Амиров. Пароход «Туркмен» был набит беженцами и вооруженными солдатами.

По распоряжению Амирова верхняя палуба и кают-компания были отведены для бакинских комиссаров и тех, кто был с ними. Там же устроился и сам Амиров. Пароход вот-вот должен был отчалить...

Так закончился первый период бакинского подполья после падения Бакинской коммуны. Турки вошли в Баку.



Несколько дальше я продолжу свой рассказ о том, что произошло с нами на пароходе «Туркмен», и о трагической гибели 26 бакинских комиссаров. А сейчас я хочу привести то, что мне рассказала одна из активных бакинских коммунисток,

оставшаяся в Баку после нашего отъезда, Ольга Шатуновская:

«Ворвавшись в Баку 15 сентября 1918 года, турки оставались здесь до ноября (когда по Версальскому договору они должны были уйти из Баку), и на их место снова пришли англичане.

Турецкие интервенты зверствовали, убивали, насиловали. Они вырезали много жителей — армян, русских, азербайджанцев.

Это были ужасные дни! Кто оставался еще в Баку, отсиживался в подвалах, в трубах, где только было можно.

Я и еще два большевика — Сурен Агамиров и Александр Баранов — скрывались на квартире Серго Мартикяна. Потом к нам присоединились Леван Гогоберидзе и Костя Румянцев. В ту пору в бакинском подполье находились еще братья Агаевы (Бахрам, Магеррам и Имран), Левон Мирзоян, Юлия и Ваня Тевосяны, Амалия Тонянц и многие другие.

Вскоре стало известно, что восстанавливается железнодорожное сообщение с Грузией. Леван сказал, что нам надо уехать с первым же поездом в Тбилиси, так как оставаться дальше в Баку было опасно.

Но как уехать? На вокзале охрана. Гогоберидзе решил достать для себя удостоверение и форму грузинского офицера, а Костю Румянцева «сделать» своим денщиком. Эта «операция» удалась: с первым же поездом Гогоберидзе и Румянцев благополучно уехали.

Агамиров, Баранов и я тоже сумели достать для себя билеты и фиктивные документы как учащиеся и с ними пришли на вокзал, чтобы уехать. Но на вокзале нас узнали два бывших служащих Военно-революционного комитета, которые после взятия Баку турками стали предателями и поступили работать в турецкую охранку. Мгновенно нас окружила цепочка жандармов. Случайно вместе с нами жандармы оттеснили еще каких-то двух молодых людей, на которых те же провокаторы указали, что это Бекер и Румянцев. Те стали протестовать, и их начали избивать. Потом всех нас повели в турецкую охранку.

Охранка помещалась в бывшем губернаторском доме. Начальником охранки был Бехаэддин-бай, по кличке «Рыжий турок». Двух молодых людей, случайно задержанных с нами, впоследствии отпустили: за ними пришли родственники и доказали, что они.

А нас продолжали держать в охранке. Сурена и Шуру сильно избили. Меня тоже били кулаками по голове: зная, что я была личным секретарем Шаумяна, «Рыжий турок» добивался от меня, где Шаумян. Потом моих товарищей стали бить нагайками. Но мы упорно продолжали говорить, что ничего не знаем, как не знаем и друг друга. «Где Шаумян?» — вот вопрос, ответа на который они от нас добивались. Я сказала, что все они отплыли на пароходах. Мне не верили, кричали, что я лгу, что у них точные сведения, что Шаумян здесь, в Баку.

Нас продержали несколько недель и потом объявили, что главнокомандующий турецкой армией Нури-паша подписал и утвердил приговор о нашем поведении: завтра в шесть часов утра мы будем повешены на площади Парпет.

Прошло несколько часов. Ко мне в камеру вошел конвой. Дали команду: «Выходите!» Куда — не знаю. Меня повели через бывший губернаторский сад вверх по Николаевской улице, потом по Губернской. На этой улице находилось здание суда. Я думала, что меня ведут в суд. Напротив здания суда находился дом нефтепромышленника Ротшильда. Меня

повели почему-то в этот дом. Ввели в огромный кабинет, где, к моему изумлению, я увидела Бейбута Джевандиша. Это был друг детства Степана Шаумяна: они вместе выросли, вместе поехали учиться в Германию. Степан окончил философский факультет и стал профессионалом-революционером, а Джевандиш — инженером-заводчиком, капиталистом. Надо сказать правду, что и после этого Джевандиш в память старой дружбы со Степаном еще до революции не раз выручал Степана из тюрьмы, помогал ему деньгами, прятал подпольные материалы и т. п.

Впервые я увидела Джевандиша при следующих обстоятельствах. Во время мартовского (1918) восстания мусавистов наш отряд обстреливал дом, где жил Джевандиш: с крыши этого дома стреляли в наших из пулемета. Джевандиш сумел дать знать Степану Шаумяну, прося его о спасении. Шаумян послал Сурена Агамирова и своего сына Сурена с поручением — доставить к нему Джевандиша с женой. Их благополучно привели на квартиру Шаумяна, где была тогда и я. Они прожили здесь недели две.

Вот откуда Джевандиш знал меня, а также Сурена Агамирова, который вывел его тогда из обстреливаемого дома.

Когда турки сформировали Азербайджанское правительство, Джевандиш был назначен министром внутренних дел. Как министру, ему было доложено, что завтра утром я, Сурен Агамиров и Шура Баранов будем повешены на Парапете.

Увидев перед собой Джевандиша, я была поражена. Мы остались вдвоем. «Подойдите ближе, Оля», — сказал мне Джевандиш. — Я министр внутренних дел. Мне доложили, что Степан в городе и что вы не хотите давать его адрес. Я вас позвал специально для того, чтобы вы дали мне его адрес. Я друг Степана. Он спас меня от смерти, теперь я хочу спасти его. Если Степана найдут, то могут убить на месте. Дайте мне его адрес!»

Я ответила, что Шаумяна в Баку нет, что это — заблуждение.

Но Джевандиш мне не верил. Он продолжал просить, умолять меня, чтобы я дала ему адрес, клялась, что он обязан спасти Степана. Я доказывала и тоже клялась ему, что говорю чистую правду. Тогда он впал в ярость, кричал: «Вы проклятые фанатики, вы догубите Степана!» Окончательно раскисев, он вызвал конвой и приказал: «Уведите ее обратно!» Я была даже не в состоянии сказать ему о том, что завтра по приговору Нури-паши нас повесят. Меня увели обратно в тюрьму.

К вечеру в камеру вошел старший надзиратель (это был турок из военнопленных, он немного говорил по-русски) и, посмотрев на меня, сочувственно сказал: «Бедная девочка, завтра утром... знаешь?» — и показал мне рукой петлю вокруг шеи. Я ответила, что знаю. Тогда он кинул мне кисть винограда и ушел.

Через час заходит опять: «Ой, бедная, завтра ты будешь (опять тот же жест вокруг шеи!). На стакан вина, выпей!»

Пришел он и в третий раз, принес подушку: «Последняя ночь. Поспи на подушке!»

Тогда я решила и говорю: «Внизу мои братья, хочу с ними проститься, поведи меня к ним». Он отказывается, видимо, очень боится. Тогда я бросила ему принесенную подушку, виноград и кричу: «Уходи вон! Хочу видеть братьев!»

Он «растаял». «Подожди», — говорит, — вечером начальник уйдет, тогда проведу».

Вечером он действительно повел меня через

двор, оттуда — в глубокий подвал, где я нашла Сурена и Шуру. Они бросились меня обнимать. Оказывается, и они знали о том, что завтра нас всех повесят.

Надзиратель боялся долго оставлять меня с друзьями и потащил обратно. Мы успели только сказать друг другу, что когда нас поведут на казнь, то будем петь «Интернационал».

Сижу в камере и жду, когда через стеклянную полосу дверной рамы начнет рассветать: последний день.

Вдруг слышу какой-то шум, стук жандармских шапок и шаги около моей камеры. Неужели за мной? Ведь еще ночь! В камеру вошли «Рыжий турок» с переводчиком и стражей. Бехаэддин-бай обращается ко мне по-французски (зная, что я немного говорю по-французски): «По распоряжению министра Джевандиша вы освобождены. Смертная казнь заменена вам высылкой из пределов Азербайджана».

Сначала не поверилось. Я подумала: «Может быть, он хочет, чтобы я не упиралась и без всякого сопротивления шла на казнь?» Говорю: «Зачем обманываете? Ведите на казнь — я готова». Но он вновь повторяет по-французски: «Вы свободны». И переводчик все это повторяет по-русски.

Тут я что-то стала понимать. Значит, Джевандиш все же вмешался! Но в то же мгновение в голову пришла ужасная мысль: «А вдруг это только для меня?» Спрашиваю: «А как мои друзья?» Начальник охраны хохочет: «Теперь они стали вашими друзьями!» Ведь совсем недавно вы все отпирались, говорили, что друг друга не знаете? Наконец, кончив смеяться, он сказал, что их тоже сейчас освободят.

Меня повели в контору, где взяли подписку, что я явлюсь через три дня в полицию для высылки за пределы Азербайджана.

Потом меня вытолкнули за ворота. Неожиданно вижу: стоит мой отец. Оказывается, ему сказали, что меня на вокзале забрали жандармы, и он все время ходил и просил за меня. Вчера ему объявили, что завтра меня поведут на площадь вешать, и он простоял у ворот охраны всю ночь, ожидая, когда же меня выведут.

Он смотрит на меня и ничего не может понять. А я, в свою очередь, не верю своим глазам: откуда здесь отец? Отец не выдержал, ноги у него подкосились, он упал на колени, схватил меня за руки и громко-громко разрыдался...

Через 10—15 минут выходит из ворот Сурен Агамиров, еще через некоторое время — Шура Баранов. Они тоже дали подписку, что через три дня явятся в полицию для высылки.

Два дня и две ночи отец просил, умолял меня бросить все, идти учиться. «Большевики», — говорил он, — вас покинули, сами удрали, оставь их, хватит...» Ни на минуту он не давал мне покоя своими просьбами и требованиями. На третью ночь я не выдержала. Мы сильно поссорились, и в час ночи я ушла из дому.

Иду, в городе полная темнота. Кое-где слышны выстрелы, крики. Решила пойти к знакомой мне Зине — портнихе. Она меня и приютила.

На другой день повидала Сурена и Шуру. Мы решили в полицию не являться. Ведь нас могли вывезти за границу, в Махач-Калу, а там были белые, Бичерахов со своей бандой — там большевиков тоже вешали. Мы решили сами пробираться в Грузию.

Я прожила некоторое время у Амалии Тонянц, а вскоре нам удалось уехать в Тбилиси. Туда у нас были явки. Там мы нашли Гогоберидзе и Румянцева».

(Окончание следует.)



Сергей Львов



РУБРИКОН ПЕРЕЙДЕН!

Рисунки
И. Оффенгендена.



1

Был город как город. Скажем, Энск. И выходила в нем газета. Газета как газета. Письмо в редакцию:
«Почему меня не любит Маша?»

Ответ на это письмо — эссе старшей журналистки Татьяны Проповедниковой «Любовь... Зачем она?».

Дискуссия: «Человек ли студент?»

Подборка новостей из мира науки: «Дерево-людоед», «Человек-змеед».

Документальный детектив: Семен Богоотступников «Отделение милиции, в котором я бывал» (продолжение следует) — перепечатка из столичной прессы.

Фотозагадка: отгадайте, не переворачивая номер газеты, что изображено на этом снимке вверх ногами.

Отдел сатиры.

Все как у людей. А не читают!

Никто не откликается на призыв «продолжим большой разговор, начатый Татьяной Проповедниковой».

Никто не встает на голову, чтобы разгадать фотозагадку.

Покупают газету плохо.

Подписываются еще хуже. Так дальше жить нельзя!

Потеснили все материалы. Документальный детектив, и тот потеснили. Дали объявление на полполосы:

«НИ ОДНОГО МОЛОДОГО ЭНЧАНИНА БЕЗ «МОЛОДОГО ЭНЧАНИНА»!

Не помогло.

Созвали совещание. Самокритически просамоанализировались.

Решили: искать новые мысли, нащупывать новые формы, придумывать новые рубрики.

Новые мысли сразу не находились.

И новые формы с ходу тоже не нащупывались.

Рубрики, вот рубрики — те пошли легче.

Передовую решили впредь печатать под рубрикой «Задумчивое слово».

Эссе на моральные темы под рубрикой «Чем дышим, о чем судачим».

Отдел юмора назвали «Наши хиханьки».

Научные новости и умственные упражнения решили печатать под солидной рубрикой «Наш кабинет задумчивости». Подводя итоги, редактор сказал:

— В каждом номере должен быть гвоздь! Под рубрикой «Наш гвоздь»!

Придумали врезку: «Читайте «Наши гвозди»! Присылайте свои».

С совещания не расходились, а окрыленно разлетались. Под новыми рубриками хотелось писать по-новому. И кто-то сказал: «Рубрикон перейден!»

Прошел год, и я оказался в Энске. Во всех киосках унылыми пачками лежал «Молодой энчанин», желтея на солнце, как не скошенная вовремя трава.

— Страницы маленькие, ничего не завернешь, — объяснил киоскер. Мысль, что эту газету можно покупать для чтения, казалась ему невероятной. Но я купил. За многие числа. Прочитал. Новые рубрики сохранились. Прибавились новейшие. Творческая мысль в редакции не дремала. «Жемчужное зерно» — так назывался отныне отдел, где печатали стихи из самотека, отобранные литконсультантом Петуховым. Объявления о том, что происходит в клубах, кино и лекториях, шли под рубрикой «Вечер — где его убить».

Я заснул над газетой. И мне приснилось, что я сплю и вижу во сне, как я засыпаю над газетой под радостные крики: «Рубрикон перейден!»

Пожалуй, стоит поразмыслить над тем, что произошло в этой редакции и почему ничего не переменялось в газете, которую она издает. Впрочем, особенно ломать над этим голову не приходится: ничего там не произошло и поэтому ничего и не переменялось. Или, если хотите, можно сказать иначе: там ничего не переменялось, а поэтому ничего и не произошло.

Ее сотрудники уверовали однажды, прочно и навсегда — когда только успели? — что слово тоже есть дело. Против этой старой истины нечего было бы возразить, если бы они не восприняли ее буквально. Им казалось, что слово не потому дело, что способно дельно сообщать о дельном и дельно к дельному побуждать, а потому, что способно само заменить дело, даже вытеснить его.

Чтобы ответить на вопрос: «Что вас волнует?» — какие горы писем нужно перевернуть, сколько мыслящих людей разыскать, сколько мнений выслушать, сколько потом голову поломать, чтобы в этой разногласице действительно расслышать вопросы, которые волнуют многих!

А можно ничего такого не затевать. Можно выбрать из пачки статей одну, не хуже других, но и не лучше, в общем, так себе статейку, и поставить над ней рубрику: «Что нас волнует?»

И вдруг самому покажется, что то мочало, которое жует автор, уже не мочало, а волнующий вопрос. И он отнюдь его не жует, а ставит, и, пожалуй, не только ставит, но и отвечает.

Можно, конечно, искать человека, который умеет интересно рассказывать о своей профессии.

А можно не искать. Можно поставить над сочинением сухаря, который пишет: «Образно говоря, дважды два — четыре», — рубрику: «Из монологов одержимых...» И читатель сразу поймет: перед ним не сухарь, а пламенный вития!

Впрочем, чего я так взъелся на собратьев по профессии? Разве только они поддаются иллюзии, что была бы шляпа, а голова приложится, была бы над забегаловкой повешена вывеска: «Мечта романтиков» — и молодой народ повалит в нее валом предаваться романтическим мечтаньям?

Представьте себе унылый из клубов, в котором вам приходилось бывать. Здесь все привычно взору. У входа пять вечеров в неделю рукописная афиша кинофильмов, которые крутят здесь даже не третьим, а пятым экраном. Раз в неделю разрисованный щит и некоторое оживление: «Сегодня танцы. Вход — 50 коп.»

В гардеробе — злобные теткли: «Которые на лекцию, не раздеваем!»

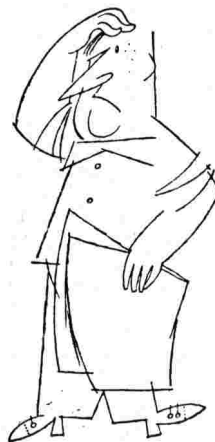
В фойе пожухшие фотографии, изображающие кого-то, отличившегося чем-то, что уже успели позабыть, и обсыпанные золотой пудрой стенды, иллюстрирующие что-то, что тоже давно не ново. Под засиженным стеклом расписание давно почивших в бозе кружков и таблиц начатых, но недоигранных турниров.

В зале пахнет буфетом, в буфете — туалетом.

Словом, клуб в котором не нужно быть мухой, чтобы сдохнуть со скуки. И тут вдруг происходит нечто.

То ли старого директора выгоняют и берут нового, то ли старый вдруг сам опоминается и понимает, что так больше жить нельзя, то ли актив клуба вдруг просыпается от летаргического сна, только однажды в директорском кабинете собирается мозговой центр. Инициативное вече. Оно же «круглый стол» с повесткой: «Наш клуб, каким ему быть?»

То, что недавно еще во всех отчетах именовалось «Работа клуба», теперь за «круглым столом» называется только так: «Жалкое существование, которое влачил наш клуб».





Участники веча, распаялая друг друга, приводят веские доказательства тому, что влачимое существование было действительно жалким. И даже пунцовый плюш портьер, оставшийся в клубе от доисторических времен украшательства и излишеств, багровеет от смущения.

Вспоминают все: преставившиеся кружки, опочившие турниры, спившегося баяниста, неаппетитность буфета и антисанитарность туалета. Добираются до тематических вечеров. При воспоминании о тематических вечерах участники веча ревут и стонут. Как ревел и стонал Днепр, пока еще в клубе существовал хор.

— Не надо нам унылых тематических вечеров. Надо другое. Увлекательное! Творческое!! Зовущее!!! Притягивающее!!!!

— Пусть будет не «Тематический вечер», а «Посиделки». И не просто «Посиделки», а «Молодежные посиделки».

— На какую тему посиделки?— волнуется директор клуба. То ли старый, который еще не успел запомнить, что каждый вечер должен быть на тему, то ли новый, который уже усвоил это...

— Посиделки рационализаторов,— предлагает кто-то. От радости его чуть не разрывают в клочки.

Под шумок директор диктует штатному художнику текст афиши.

Вместо Университета Культуры решают открыть в клубе Академию Практических Знаний и Хороших Манер.

На дверях туалетов замазывают грубое «М» и «Ж» и вместо этого изображают мужской силуэт в пиджаке и брюках и женский силуэт в платье.

Плюшевые занавески списывают. В буфет привозят тонконогие столики. На стендах обновляют позолоту.

Все готово к началу новой жизни!

5

Начало новой жизни ознаменовано первым... нет, не «мероприятием», зачем такое надоевшее, набившее оскомину, казенно-бюрократическое слово! В обновленном клубе состоится нечто интимно-дружеское, творчески-непринужденное:

«ПОСИДЕЛКИ МОЛОДЕЖНЫХ МАЯКОВ!»

Посиделки состоят из:

- а) доклада «На маяки равняйся!»;
- б) выступлений под девизом «Маяк поведал маяку»;
- в) танцев «Вокруг маяка»;
- г) кино «Смотритель маяка».

В фойе одна доброхотка демонстрирует маякам как разрезать вафельный торт.

Через полгода в отчете клуба можно будет прочитать, что «круглых столов» на тему «Наш клуб, каким ему быть» проведено 3 (три), молодежных посиделок разных 6 (шесть), сессий Академии 2 (две), а всего мероприятий 8 (восемь).

Но по-прежнему злобные тетки в гардеробе говорят посетителям:

— Кто на Академию — не раздеваем!

Яркий свет, бьющий в окна, с которых сорваны плюшевые портьеры, освещает всю неаппетитность буфета.

А почему?

Потому что всего кипения инициативного веча хватило только на то, чтобы придумать новые названия вместо старых. Чтобы задуматься над делом, а главное — приложить к делу руки, запала уже не хватило. Как говорил когда-то корифей жанра: «Весь пар ушел в гудок!»

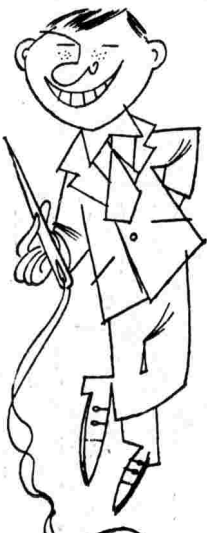
6

Однажды, а может быть, это было не однажды, а дважды и трижды, кто-то из пассажиров Аэрофлота убедительно пожаловался в печати на то, как хорошо обходятся с пассажиром в воздухе и как неважно обращаются с ним на земле.

— Так дальше жить нельзя!— воскликнули прекрасные молодые люди, которые работают в одном из московских аэропортов.— Нужны новые мысли! Новые методы! Новые формы! Новые названия!

Мысли и методы нашлись не сразу. Зато новые названия не заставили себя ждать.

Как раз в это время я встречал знакомую, которая прилетала из Ленинграда. Новенький чемодан, купленный за час до отлета, был вручен ей у грузового трапа с огромной дырой в боку.



— Не волнуйтесь! — с улыбкой сказала стюардесса, обаятельная, как в рассказе Василия Аксенова. — У нас теперь все предусмотрено!

Она повела пострадавшую за собой. И та шла доверчиво, полагая, что ей выдадут сейчас новый чемодан или как-то иначе помогут в беде, в которой не она повинна.

Стюардесса оставила ее перед дверью, на которой было написано мелом: «Молодежный штаб по контролю за культурой обслуживания пассажиров», — и вскоре вынесла из этого штаба цыганскую иглу и моток суровых ниток.

— Можете заштопать ваш чемодан!

Пострадавшая не хотела штопать чемодан.

Она рванула дверь в штаб.

Члены штаба были на месте. Они были заняты. Вместо временной надписи на дверях они готовили монументальный щит — красный бархат и фанерные буквы, обсыпанные золотой пудрой.

«Молодежный штаб по контролю за...» — уже было приклеено к щиту. Оставалось приклеить еще: «...культурой обслуживания пассажиров».

И оторваться от этой работы по составлению нового названия из позолоченных фанерных букв никто не мог. На суть не оставалось энергии. До сути не доходили руки.

7

Не дошли до сути голова и руки у устроителей большого вечера, задуманного не то под девизом «С аттестатом зрелости в будущую жизнь!», не то под девизом «С аттестатом зрелости на большую дорогу!».

О том, чтобы пригласить как можно больше людей разных профессий, позаботились, о том, чтобы разослать билеты, позаботились. Об одном не позаботились. Не узнали, интересует ли программа вечера тех, для кого он задуман, прочитали ли они афиши, взяли ли билеты, придут ли, будут ли задавать вопросы, на которые готовились отвечать один врач, один автомобилист, один писатель, один бригадир с телефонной станции, один токарь, один наборщик и даже один милиционер.

Зал был полон. Через дырочку в занавесе я взглянул в зал и — о ужас! — увидел, что ни в партере, ни на балконе нет ни одного выпускника и вообще ни одного лица непенсионного возраста. Партер и балкон были полны любознательными старичками и неугомонными старушками.

Устроитель тоже посмотрел через дырочку и радостно сказал:

— Ни одного свободного места! Начнем с вас, товарищ писатель. Скажите молодежи напутственное слово, посоветуйте, как начать трудовую жизнь...

— Отпустите меня! — взмолился я.

— Нельзя! Вы в афише.

Пока я думал, как перестроить выступление, устроители вытолкнули на сцену девушку с телефонной станцией.

Она поглядела в зал, откуда на нее глядели почтенные старички и старушки, и нечеловечески-звонким голосом закричала:

— Дорогие наши друзья и подруги! Сегодня, когда вы наконец стоите на пороге (от страха я закрыл глаза) своей самостоятельной трудовой жизни с аттестатом зрелости в руках, знайте: телефонной станции нужны ваши молодые руки, ваш острый слух, ваш юный задор!

Старички и старушки весело смеялись.

— Ну, прямо Райкин! — радовались они.

Врача, который начал ратовать за то, чтобы идти в медицинский институт, а потом нести свои знания в самые отдаленные уголки страны, встретили серьезно. Его спросили:

— Сливочное масло реабилитировано в смысле холестерина?

Потом вытолкнули меня. Что говорил, не знаю.

Но на следующий день я прочитал в газете:

«Вчера в Доме культуры состоялся большой вечер для выпускников на тему «После школы хоть куда!». Заметка была напечатана под рубрикой «Гори, наша юность!».

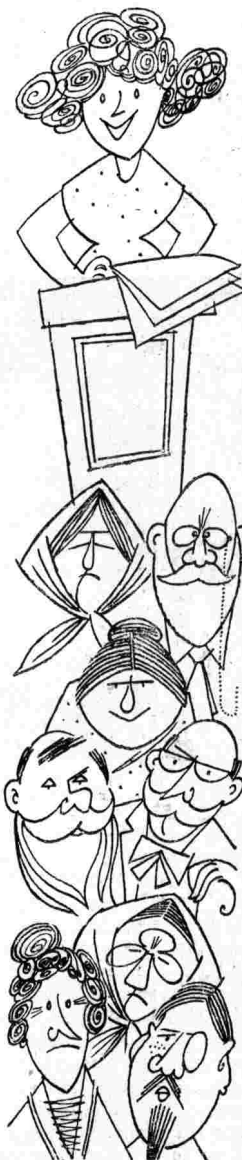
8

Когда фельетон прочитали в редакции, мне сказали:

— Не хватает предложений, в каком направлении стоит перестроить работу газеты, как обогатить деятельность клуба, что предложить для молодежных вечеров.

Я открыл было рот, чтобы с ходу выдать фейерверк новых рубрик для газеты, названий для молодежных вечеров, и осекся. А суть?.. Над сутью нужно было долго ломать голову, пробовать, трудиться, проверять.

— Не хочу придумывать новые названия! — сказал я. — Не хочу переходить Рубрикон.





Валентина Рёка:

«Хоть бы
раз
выйти
замуж
на сцене...»



В прошедшем году она завоевала бронзовую медаль на конкурсе молодых оперных певцов в Софии, дебютировала в кино — в фильме-опере «Катерина Измайлова» в роли каторжанки Сонетки...

Я встретила с Валею Рёка в Киеве, в театре, после репетиции новой оперы Виталия Губаренко «Гибель эскадры», где молодая певица исполняет главную роль — комиссара флота Оксаны.

— Все началось с Кармен, — рассказывает Валя. — Кстати сказать, Кармен-то я и пела в Софии, на третьем туре конкурса... Почему-то считается, что эта партия не требует от певицы каких-либо экспериментов. Только пой! И вообще есть такая зрительская инерция: в опере все решают музыка и голос.

Вот смотрите, мы говорим: театр Товстоногова, театр Любимова... Ну, а когда дело касается музыкального театра? Тогда — Театр оперы и балета имени Шевченко, или Большой театр, или Малый оперный... Как раз отсутствие яркой, смелой режиссуры в опере часто обрекает артиста на скучное, пусть даже отлично поставленное бельканто. Уверена, что, бывая в опере, вы сами не раз видели, как выходит на сцену отличный певец и тотчас забы-

вает, что есть рядом партнер, что, кроме эффектной арии, есть еще и речитатив и мизансцена. Встанет в монументальную позу, заливаясь соловьем, даже дуэт поет, обращаясь к зрительному залу, а не к партнеру по сцене. В драматическом театре такое недопустимо. А в опере, почему-то возможно...

Я прошу Валью рассказать подробнее о работе над партией Кармен.

— Мне хотелось соединить в образе цыганки то, что дает новелла Мериме (характер женщины опытной, уверенной в себе), с музыкальным материалом Бизе, подчеркивающим ее свободолюбие, страсть. Кое в чем я рискнула поспорить с Бизе, намеренно «очистившим» Кармен от всего порочного, что все-таки было в ее натуре. Очень помогли мне в работе дирижер Константин Симеонов и скрипач Давид Ойстрах.

— Ну, Симеонов — это понятно. А Ойстрах?

— Видите ли, когда слушаешь его поразительную интерпретацию фантазии Сарасате на тему оперы «Кармен», образ цыганки предстает в такой душевной обнаженности, какой не дает привычное сценическое решение ее. Здесь, собственно, самое нутро Кармен, разгадка всего, что она делает, как живет... «Ключом» к образу Кармен для меня стал второй акт, сцена в кабачке Лилас Пастьи. Здесь особенно ярко выявляется своеобразный характер цыганки, привыкшей, что ради нее избранник должен жертвовать всем. Вот она обращается к Хозе: я рядом с тобой, я иду с тобой в горы, я отдаю тебе свою любовь и требую (именно требую!), чтобы ты разделил со мной эту гордую волю, познал истинную красоту мира!.. Когда же она видит, что Хозе не понимает ее, она его прогоняет, идет к тореадору Эскамилю. Мне хотелось подчеркнуть: она идет к тореадору прежде всего потому, что пытается поспорить со смертным приговором карт. Эскамилю — ее вызов. Вызов року, самой себе и, если хотите, Хозе. Это ее поступок — и ничей другой. Понимаете? Для нее и контрабанда — проявление характера. И вся ее жизнь — активное действие, поиск свободы и любви. Без этого Кармен существовать не может... Мы поспорили с режиссером, ставившим у нас в Киеве эту оперу: может ли Кармен идти на нож Хозе? Я настаивала: может. Она сама провоцирует Хозе на убийство.словно дразнит его: ты трус, ты боишься. Что ж, посмотрим, сможешь ли ты постоять за свое чувство!.. Да, она открыто и дерзко идет на нож — и, умирая, узнает прежнего Хозе. Значит, и смерть для нее не смерть, потому что жива любовь...

— Самоутверждение через смерть?

— Если хотите, так...

— Ваша новая героиня — Оксана в «Гибели эскадры» — ведь тоже погибает в финале?

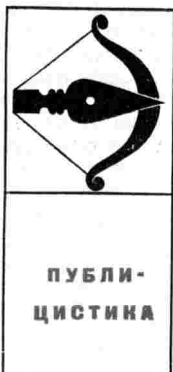
— Да. И не только она, а чуть ли не все мои оперные героини — от Любаши в «Царской невесте» до Сонетки. Я люблю трагические характеры, но совсем не прочь встретиться и с комедийными. Хоть бы раз выйти замуж на сцене!..

— Выйдете, когда споете Розину в «Севильском цирюльнике», — утешаю я певицу (зная о том, что она давно мечтает об этой партии).

— До Розины еще далеко, — говорит Валя. — Сначала, видимо, будет Амнерис в «Аиде», потом Элен Безухова в «Войне и мире». Мне очень хочется спеть также Марину Мнишек. Но, хотя Марина выходит замуж за Самозванца, вы же знаете, чем это для нее заканчивается. Так что, прежде чем граф Альмавива поведет мою Розину под венец, у меня еще много трагических финалов.

Интервью вела Наталья ЛАГИНА.

Фото автора.



Юрий Скоп

ОТКРЫТКИ С ТРОПЫ



Рисунки Н. Протасова.

Вот думал, с чего начать, а все оттого, что беспокоят разные малости: журавли прилетели и вскричали под вечер, озвучили последний апрель и смолкли, как бы прислушиваясь к тому, что ушло по распадку и назад вернулось — все так же полно, но уже не совсем радостно, потому как и в большой радости всегда отыщется место для светлой печали.

Днем на Байкале было много солнца, тяжелого прямого света, и сейчас, когда сменился ветер, слегка оморозило берега, и даль пролегла в шуршании и хрусте оседающего снега, пышней и еще дикий расцвели на той стороне — это по прямой всего шестьдесят километров лунной дорожки — белые деревья.

Вы, наверное, и не знаете, что растут на земле белые деревья. Сам-то увидел их на Байкале только в эту весну, а вот уже три года подряд — с перерывами, конечно, — живу подле моря, думаю, работаю, устаю, а открыл, значит, увидел их впервые и — спешу поделиться своим открытием.

Редкозубые горы Байкальского хребта навечно впечатаны в серо-голубой задник западного побережья. Горы наполовину утонули, далеко выставив вперед часовые мысы. Сбегают к морю распадки, а по ним неведомые ручьи и реки. За зиму они основательно вымерзают, и русла их надолго запрессовываются снегом — так возникают белые деревья. Только к весне они и успевают набрать

наибольшую густоту и раскидистость. А к лету, когда подходит время гольцовых паводков и оживают засони-ручи, белые деревья начинают опадать, но не с кроны — там холодная высь, — а снизу, со ствола, то есть основного русла — распадка, и так долго, пока не останутся лишь отдельные ветви — снеговые прожилки в верхних морщинах гор. Но тут и наступает уже новая зима, а с ней опять набирают свой стремительный рост белые дикий деревья, всего лишь одна частица из огромного собрания, которым владеет антиквар Байкал.

И журавли, и белые деревья, и огромная звезда, что ходила над спящим морем весь апрель с запада на восток и названия которой я так и не знаю, и неземная голубизна льдин в торосах, на которых наставлены нерпичьи кляксы, и одиночество крохотного поселка-зимовки с редкими гудениями самолетов над ним — все это отдельные малости, что беспокоят и не дают возможности начать с самого главного. Хотя, я думаю, может быть, именно в этих малостях и есть самое главное, потому что и эта весна пройдет и будут еще весны, с первыми журавлями, с великим птичьим транзитом, с тайгой, враз превращающейся в заповедный родильный дом... Да и попробуй, наконец, собрать воедино все, чем таровато святое сибирское море, попытайся подыскать к нему такие слова, чтобы тот, кто никогда не был на Байкале, прямо с бумажного листа задышал его омулевыми ветрами и влюбился в него, а тот, кто живет и хозяйничает на этих широтах, нет-нет да и задумался...

Бухта Давше раскрыта настежь с той откровенной размашистостью, за которой не обученный Сибири человек вряд ли угадает и глубину потаенного, и чуткую настороженность, и, главное, независимость, а все примет попервоначалу за эдакую первозданную наивную и безудержную гостеприимность.

Бухта Давше, если смотреть по карте, всего лишь полуовальная вмятинка на голубой полировке байкальского бумеранга, как раз почти посрединке, между 54 и 55 градусами северной широты. И внешне она, пожалуй, мало чем отличается от подобных ей отстойных мест: с юга Давше прикрывает от сквозных прорывов ветра далеко выдававшаяся в море и по-кабаны узкая морда мыса Валукан, а с севера — поросший

темно-хвойной тайгой выступ Немьянда.

Далеко слева, в дрожащей синеве, угадывается огрубелое Верхнее Изголовье полуострова Святой Нос, чуть правее — неясная спина Большого Ушканьего острова, а прямо, если мысленно перенестись на ту сторону, где горы весьма удачно копируют подлинники Рокуэлла Кента и где растут белые деревья, из самой крохотной малости начинается река, которой сибиряки и гордятся и о которой поют, — Лена.

Бухта Давше — центр страны, с давних-предавних пор называемой прозрачно и ласково Подлеморьем. И здесь именно центр искомого Подлеморья.

Бухта Давше — главная база Баргузинского заповедника. На равномерно уходящем от воды берегу, гладко облизанном понижу языкатым прибоем, в устье чистокровной таежной речушки Давшинки построили люди поселок-зимовку и живут, и работают, и рожают детей, и устают, и поют песни, и с крыши одного из пятнадцати домов — научной станции заповедника — с конца мая до поздних октябрьских штормов свежо и искристо помаргивает в море огонек: девичья сережка газового маячка.

По весне, когда Байкал докажет все свои теоремы и скатает к северу ледяные листы, забив бухты остатками от экзамена по начертательной геометрии, первым приходит в Давше катер «Гидролог». Он долго тычется, путаясь в узких разводьях, кричит сиреной, сердится, значит, на лед, но все-таки прибывается к берегу, а после его ухода начинает работать маяк, и это уже точно говорит о конце зимы, о начале долгожданной регулярной связи с Большой землей. Но до этого времени надо проработать пять-шесть месяцев одиночества, сохранить увлеченность и веру во многие вещи, одним словом — выжить, а эта штука — «выжить» — ох, не легка, и нет-нет да и отзовется малой болью в сердце.

Со стороны, глазами горожанина, уставшего от бесконечной суеты, от шума и грохота, стосковавшегося по природе и чистому воздуху, поселок Давше с его внешним спокойствием, ладом и бытом, вполне возможно, покажется раем земным. Тем самым загадочным Лукоморьем, где что-то от Тютчева, что-то от Пушкина. Но реальность бытия с ее густым концентрированием малых и больших событий, неизбежных душевных травм, связанных опять



же с одиночеством, настолько велика, что здесь, в Подлеморье, выживают только организмы цельные, не верхоглядные, из которых и состоит, говоря специальным языком, гордая и независимая популяция истинных сибиряков.

Человеку бывает свойственна тяга к одиночеству. Оно и верный спутник воображения и средство для проверки полноты очарования. Но все и всегда добро в дозах известных, иначе наступает пресыщение, и тогда одиночество превращается в кару. А нынче в Давше довелось узнать и еще об одной стороне одиночества. Сюда, в заповедник, впервые за пятьдесят лет его существования по предпоследнему льду прорвалась рентгеновская установка с врачами из Баргузинской районной больницы. И в результате поголовного осмотра давшинского населения (это с детьми около 80 человек) выявилось, что большая половина заповедниковцев подвержена сердечному неврозу. А это коренная часть, потомственные сибиряки.

Мы говорили на эту тему со Славой Жаровым, старшим научным сотрудником заповедника, и пришли к выводу: все закономерно — люди в поселочке живут на виду друг у друга, новизна впечатлений весьма ограничена, любая малость ощущается с особой остротой, и как сердцу не чувствовать все это...

К тому же здесь, на Байкале — а это Сибирь не шуточная, правдашняя — само понятие «покой» подлежит коренному пересмотру: походи-ка по тайге, повстречайся с глазу на глаз со зверем, пускай и произведенным на свет заповедной землей, соприкоснись с вечностью гор, леса, воды, соизмерь свой внутренний мир с безоглядным миром природы, научись понимать его — только тог-

да, может быть, однажды, где-нибудь в замшелом зимовье, под шум дождя или голос пурги, тебя охватит то неземное озарение, которое позволит по-настоящему ощутить себя на земле, и это и будет тем самым спокойным счастьем, ради которого стоит жить и что-то утверждать.

«В прошлом году я окончил школу, — пишет в заповедник Толя Мюллер из Ленинграда. — Досадная случайность — аппендицит во время экзаменов — лишила меня возможности поступить в университет, чему я, впрочем, искренне рад. Дело в том, что за этот период времени, занимаясь основами математики и физики, в частности теорией множеств и топологией, с одной стороны, и теорией относительности и квантовой механикой — с другой, я пришел к выводу о возможности построения и описания одной философской концепции.

Философия — наука, которой я собираюсь посвятить себя, — теперь оказалась для меня отделенной могучей преградой из математики и физики. Те знания этих дисциплин, которыми я сейчас обладаю, хотя и не отдают дилетантством, ничтожны по сравнению с тем, что нужно, что необходимо знать для того, чтобы разговор о них не носил тривиального характера.

Все это заставляет меня перестроиться и следовать радикально иным путем. Вот здесь мне и нужна, очень нужна ваша помощь.

Я прошу принять меня на работу в заповедник в каком угодно качестве — объездчика, лесника, егеря. Я бы хотел жить в уединенной сторожке, с человеком, знающим и по-настоящему любящим природу.

Поймите меня правильно. Мне не нужна атараксия, безмятежность. Нет. Просто я хочу жить среди честных, простых людей, дышать с ними одним чистым воздухом, понять вкус хлеба, заработанного собственными руками, грызть, грызть науку. Одним словом, я хочу утвердить себя.

В данный момент я работаю в конструкторском бюро. Но такая работа меня не удовлетворяет прежде всего потому, что я не связан с окружающими меня людьми общностью интересов и устремлений, без чего любой труд превращается в каторгу. В этом нет ни моей, ни их вины, но было бы просто непорядочно оставаться здесь дальше. Я бы приехал в заповедник на два года...»

«Я, ученик 5-го класса Костромской школы-интерната, что на острове Сахалин, Погодаев Саша, очень люблю природу и решил написать вам письмо. Я много читал книг про Баргузинский заповедник, например, «По заповедным дебрям» Успенского, «Загадки Байкала» и многие другие.

Я себе составил такой план: сначала изучить Сибирь, потом тундру, Европу, Кавказ и другие материи. Я даже открыл опыт такой, что ни один ученый наверняка не знает. Этот опыт такой: берешь пузырек, наливаешь туда воды, пускаешь головастика, и настает время, когда происходит этот момент. Головастики выходят подышать и в это время оставляет на поверхности воды пузырек. Я забыл сказать, что пузырек должен быть закрыт. И так можно подсчитать, сколько раз он выходил дышать...

А пятьдесят три года тому назад, то есть за полвека до получения в Давше этих писем, 1 июля 1914 года, в соседнюю с Давшинской бухтой Сосновку приплыл большой черный пароход «Святой Феодосий». Хриплый гудок его поставил на крыло ошавшую перелетную птицу, и упали на обманчиво близкое дно сквозь вымеренную полдневным солнцем глубину якоря. Далеко укатилось эхо, нехотя завязнув в гольцах, несильный накат выбросил на берег шлюпку, из которой вышли незнакомые люди, а в остальном ничто не изменилось здесь, и чайки все так же макали в воду проволочные ноги, и старый тунгус, спустившийся к морю, был внешне равнодушен и спокоен.

Мало кто знал в большом и яростном мире того года об этом крохотном событии — хватало по горло всякой всячины, а что российские ученые, взволнованные собольей катастрофой, выразившейся в буквальном испарении короля пушных зверей, по проекту выдающегося охотоведа А. А. Силантьева отрядили в исконные соболье места три партии: Камчатскую, Восточно-Саянскую и Байкальскую — только и нашло отражение в многоумных анналах академических уложений.

Вот и все: ушел «Святой Феодосий» по своим пароходным делам, а на подеморском берегу, в доме управления тунгусов Шемагирского рода, разместились бородастые чудачки: Доппельмайр, Батурин, Александров, Забелин и Сватош — те, чьими стараниями наново занялась легендарная слава черного баргузинского соболя.

Потом прошло пятьдесят лет. Как безжалостно просто сказать — «прошло пятьдесят лет»... В тайге время настолько тщательно впитывается, что внешние признаки его углеть может только внимательный, вдумчивый глаз...

Бородастые чудачки сколько можно облазили Подлеморье, мерзли у костров, карауля собольиные обметы, вникали в звериный быт и сами создавали уют — правда, подневольный — для гибких, прекрасных зверьков, спорили между собой, строили дома и рубили тропы, а после составили проект закона, который в самом спешном порядке был проведен и опубликован в Собрании узаконений и распоряжений правительства от 30 октября 1916 года под № 304, статья 2396 «Об установлении правил об охотничьих заповедниках».

Затем Министр Земледела представил в Сенат документ «Об учреждении Баргузинского заповедника», и он был опубликован в Собрании узаконений 20 января 1917 года под № 18, ст. 107 в следующем виде:

«Министр Земледела, 29 декабря 1916 года, представил Правительствующему Сенату об установлении в Забайкальской области, Баргузинского уезда, охотничьего заповедника, расположенного по северо-восточному побережью озера Байкала в нижеследующих границах...»

Так возник в России первый соболий заповедник...

Не спешите обвинить вашего корреспондента в алогичности повествования; планшетная форма его, думается, позволяет вести рассказ о своей родине непринужденно, да и памяти так удобнее, она сама предлагает последовательность.

Родиться возле Байкала, всего в семидесяти километрах от него, — еще не значит знать его. Я соприкоснулся с сибирским морем в канун собственного тридцатилетия, осенью, когда расцвела байкальская роза ветров и штормы гуляли по всем широтам. «Комсомолец» плавал в невесомости, глубоко засовываясь в волну. Я подолгу стоял на мостике парохода, стиль под ветром и по привычке чиркал в блокноте.

Был день осеннего равенствия, когда «Комсомолец» уронил якоря на рейде Давшинской бухты. Прямо за единственной улицей начиналась тайга, нехватная для глаза, и тишина, тишина, которой не обучен наш слух. В то утро я еще не знал, что подарят мне две-

сти сорок восемь тысяч гектаров Баргузинского заповедника с его вот уже полстолетия скушающими ружьями и карабинами, с ошалевшими от безделья собаками, собольиными речками, лосиными пролазами и клюквенными калтусами-болотцами, наглухо заросшими багряным голубичником и чепурой-мелколесьем.

Шлюпка не могла подойти к берегу, бил его трехметровый прибой, и голос воды напоминал про пушки. Плясали метрах в двадцати от мокрого галечника, мотор работал обратно, и мы высаживались прямо в Байкал, улавливая тот момент, когда валы скатывались назад, приподнимая дно. Похоже все это было на десантную операцию, волна догоняла возле берега, и нутряной ее холод обжигал сверху.

Жаров и другие заповедниковцы смеялись на сухом, а потом был чай после сугрева в источнике, давшинском сюрпризе, и было хорошо, потому что мы по случаю знакомства со Славой, естественно, выпили водки.

Теперь я уже точно знаю, что поражает меня и неумолимо притягивает к людям типа Жарова, — независимость. Внешняя форма ее вступает в сцепление с внутренней, поглубже спрятанной от другого глаза, и от всего этого воспроизведение зрительного портрета Славы и подобных ему — занятие для меня чрезвычайно трудное, хотя и желанное.

«Независим» — а как выразить это свойство поведения, характера иными словами? Ну, в самом деле: вы хорошо-прехорошо знаете человека, цените его, даже про себя влюблены в него, то есть незаметно копируете его манеру говорить или так же, как он, морщитесь лоб, но попытаетесь нарисовать его на бумаге, если вы не художник, — ни черта не получится, первая же линия, должна обозначать, скажем, лоб, — выйдет лживо, и вы прекратите начатое.

Рисовать словами еще сложнее: Жаров — как многие. Внешние аксессуары ни о чем не говорят — борода, ржавяющая с вьющихся концов, узковатые плечи, тающие в себе взрывную силу легких бегуна на длинные дистанции, высооченность, до некоторой сутуловатости, но последняя все же скорее не от роста, а от необходимости таскать тяжести, свободный, как бы подрессоренный шаг — в тайге за Жаровым не угнаться, он ходок мастерской, — и белые зубы, слегка побитые недостаточностью разнообразного питания,

стройность ног и сухожилность — вот и все, что восстанавливается по памяти. А ведь Жаров еще и говорит, и думает, и сомневается, и горюет...

Славе 26 лет. Слава окончил Ростовский университет. Слава — зоолог. Слава живет в комнате, окно которой забито синью Байкала. В комнате ружья, ожерелье из медвежьих клыков, пепельница из кедров и медный микроскоп, в котором вместо окуляра торчит опаленный огарок свечи, — за всем своя история!

О микроскопе:

— Роды начались, — говорит Слава, — и в эту минуту погас свет. Что-то на нашей станичке случилось. Я схватил свечку. Стал ее устанавливать, а она не держится. И руки трясутся. Второпях всунул в микроскоп... Вот в этот. Так на память та свеча и осталась в нем. А дальше что... Сажу возле жены с фельдшеричкой и жду. А плаценты все нет и нет, то есть последа. И схватки кончаются. Я свою помощницу спрашиваю, что делать будем, а она плечами жмет. Девчонка совсем, ни хрена не знает. Я за справочник акушера. Вычитал. Операцию надо делать. Вводить в матку руку. «Давай, — говорю ей, — я буду читать, а ты делай». Сам навалился на Таньку свою, а она рвется. «Давай!» — кричу. И читаю... В общем, вышел послед. И сын здоровый. Я потом у фельдшерички спрашиваю: «Ты, мол, делала когда-нибудь такое?» А она мне: «У Шелковниковской коровы, на кордоне...» Вышел на улицу. И упал. Устал...

Еще Жаров вот такой. Но прежде чем писать про это, чертовски хочется оговориться: не к романтике клоню я, нет. Просто Жаров такой, именно такой, ну, скажем, могущий остановить любого, если дело дойдет до ружья в заповеднике.

Лосиха стояла в кустарнике и ласкала языком теленка. Лосиха была высвечена полднем, и тени листьев пятнили ее. Ветер таскал тени с места на место, и на лосихе, как бы на экране, шел очень старый фильм. Языком она что-то рисовала по шкуре своего несмышлениша теми плавными и точными мазками, какие получают лишь у отменных маляров, и теленок покачивался.

Жаров прилажился за кедром снимать эту милую сцену. «Зенит» пшикнул, и лосиха поняла, что не одна здесь.

Слава вертелся за стволом, а разъяренная, прекрасная в своем иступлении мать все старалась и



старалась поймать его на короткий, стремительный кивок острого копыта. С кедров летела кора. Я видел в прорезь карабина сердце лосихи и, наверное, остановил бы его мгновенно, но вздрогнул от дикого, нет — страшного — вопля Жарова:

— Не стреляй, гад! Не стреляй!

И лосиха застыла, низко наклонив к земле горбоносую черную морду. Она о чем-то думала, целое мгновение, потом круто развернулась и ушла в чащобу, где настойчиво всхлипывал теленок.

— Попала бы копытом... Насквозь, — сказал я Жарову.

— Знаю...

...Жаров ушел вверх по ручью искать медвежьи следы. Мне не захотелось лезть по бурелому, и я сажу на прогреетом, слегка озеленевшем елакане — крутом южном склоне распада. Внизу слепая белизна апрельского Байкала, гольцовая вода бьется в ручье, рядом горбится зимовьюшка. Варю чай на костерке из прошлогодних рыжих еловых веток. Дым сваливается с обрыва, и котелок, только что сверкавший алюминиевой чистотой, становится ночного цвета.

Вероятно, я никогда не разучусь удивляться искренности тайги. Она до предела контрастна и отчетлива. Она учит искренности, делая это ненавязчиво, исподволь.

Сочность и свежесть выпавшего ночью листопада, откровенная напудренность утративших стройность берез... Моцарт говорил о высшем моменте творчества, когда композитор в одно мгновение слышит всю еще не написанную симфонию...

В тайге человек может однажды заглянуть на много-много вперед...

Огонь в костре одолев сырость веток, разгорелся, и изменчивая его окраска сейчас схожа с цветом пасхальных яиц. Ветер тянет по кронам, и кажется, что где-то идет электричка...

Листал Паустовского, пока не натолкнулся в «Черном море» на

фразу: «...Без людей нашего времени, полного побед и человеческой теплоты, нет прекрасного ни в цвете морей, ни в ветрах, ни в облаках, ни в полете птиц — ни во всем, что называется жизнью». И захотелось рассказать о пяти обелисках, встреченных на подморском берегу.

В Баргузине — нешумном, с песчаными улицами селе — ходил на могилу Михаила Карловича Кюхельбекера, брата знаменитого декабриста Кюхли. Вокруг было тихо, начинало темнеть, и хребтовая тайга неосторожно цеплялась за спусковой крючок народившегося месяца.

— Здесь узники вместе наслаждаются покоем, не слыша окриков приставника...

Кюхельбекер любил эти слова из Библии, книги Иова...

А еще в одной байкальской деревушке, где живет всего-то человек триста, — остолбенело стоял возле обшарпанного памятника погибшим на недавней войне мужикам, остолбенело потому, что ушло их под Москву, Сталинград, Курск 250. И ни один не вернулся.

Снеговая заплата, обкусанная солнцем, медленно сочилась по серому камню, и редкие капли уж слишком прозрачно напоминали о бабьих прощальных лицах...

Южный кордон заповедника притулился в устье реки Кудалды. Каждую весну непутевая вода шарается по всей низине, рушит землю и все ближе и ближе под-



крадывается к скромной оградке, за которой похоронен единственный сын старика охотника Постникова. Сын погиб на нерповке, когда, сталкивая лодку со льда, случайно задел за спуск винтовки, и пуля, выскользнув из ствола, погасила свет крепкому сибирскому парню.

Старик наезжает каждый год в заповедник и с сухим лицом сидит возле оградки, потом подходит к обрыву и плюет в бурю воду...



Уже с рейда Давшинской бухты в сильный бинокль можно увидеть последний бивак молодых ребят-ученых. На шершавой призме четыре фотографии, четыре простых и милых лица.

Трагически погибшим
сотрудникам заповедника
Гале Блох 6.2.37—28.6.61.
Юре Вилко 12.6.38—28.6.61.
Коле Высоковскому
24.12.38—28.6.61.
Толе Татаринovu
13.10.36—28.6.61.

Байкал вернул только дюралевую лодку, выбросив ее на берег, а этих, четырех, как принято теперь говорить — недолюбивших, недопевших, — не вернул, и хранит молча тайну последних мгновений, и поглядывает из-под седых штормовых бровей сквозным взглядом раскосых бурятских глаз...

И, наконец, могила Забелина, одного из тех пяти чудачков, что сошли на подлёморский берег со «Святого Феоdosия».

Забелин остался навсегда в заповеднике, и его пристанью стала Большая Речка, северный кордон, в которой по весне шумно и нахально ведут себя таймени, голоастые сибирские крокодилы.

Вечерами, срезанные темнотой, косо падают на сырые песчаники утки, раскатило крикают под береговыми тополями-чозениями и выходят браконьерить соболи. Из избы кордонщика натягивает запахом печеного хлеба, и бурундуки с набитыми зашечными рюкзаками застывают пограничными столбиками на могиле, а после скользят в щели между травинами...

«...Без людей нашего времени...» Да, без них невозможно полностью уравнивать прекрасное. И все-таки грустно делается оттого, что не все люди нашего времени это понимают отчетливо, научившись воспринимать только внешнее обаяние красоты.

Жаров любит повторять вычитанные им у кого-то слова:

— Занятие наукой — возможность удовлетворения собственного любопытства за государственный счет...

Теперь мы хорошо знаем друг друга, проверили себя в деле, то есть в тяжелых маршрутах по гольцам, буреломной тайге, когда панияга с ее тремя десятками килограммов груза становилась за спиной сущим проклятием. Мы не ели однажды восемь суток и шли на черемше, знаменитой чесночной траве, бережно храня последнюю банку тушенки.

Нам не повезло тогда на зверя, которого можно было бы взять в научных, разрешенных лицензией целях.

Я подвернул в горах ногу и шел скверно. К концу пути нога распухла. И мы шли, и Жаров несколько раз пытался снять с моей панияги часть груза, но, понимая мои глаза, отходил без слов.

О чем мы говорили вечерами в палатке, куда набивались заслабевшие комары?

Обо всем: о работе зоолога, об отрешенности ради науки, о женщинах, по которым, безусловно, оба соскучились, о планах на дальнейшую жизнь. Я спросил Жарова:

— Старик, ведь ты городской парень. Неужели тебе охота пропадать здесь, в глухомани, получая восемьдесят рублей зарплаты?

Слава сказал:

— Дурак! В городе, на асфальте, у меня болят ноги. Пошли делать костер.

Постепенно понимая тайгу, я с каждым днем все больше и больше видел вокруг, учился различать голоса птиц, чувствовать смену направления ветра, узнавать цветы. В горах грохотали грозы, с елей, затянутых бородачом-лишайником, сочилась зеленая вода, и «Спидола» приносила в палатку затаенную грусть Рахманинова.

— Ну, хорошо, Славутич, облазишь ты Подлёморье, закончишь тему, а дальше?

— Перемещусь на Становое нагорье. Там еще никого не было...

И он с жаром заговорил о стране с оттенком морского климата, о стыках видов, о круговороте обмена веществ, о центрах формообразования, о методике изучения биогеоценозов гольцового и подгольцового вертикальных поясов.

— Все это ладно, — сказал я, когда Слава закончил тронную речь, — но как ты думаешь удовлетворять свое любопытство и дальше за восемьдесят целковых?

Мы замолчали оба. После

Жаров поставил точку на разговоре, обронив давно известную и надоевшую мне фразу:

— В заповедниках работают только фанатики и неудачники...

Последние годы мне много довелось бродить по Восточной Сибири — с ее стройками, заставами, кордонами, — и все чаще и чаще дорога приводила меня к мысли: что же такое получается?

Десять лет, даже чуток побольше, прошло с того дня, как вторглась в Сибирь сплошная индустриализация. Гидростанции, заводы, города, магистрали... Сколько людей пересекло страну в комсомольских составах, чтобы до конца прокатать транзитные билеты в свои судьбы. Вот уже десять лет мы пишем о Сибири как о каком-то горниле. Повести и рассказы, песни и пьесы этой поры немыслимы без конфликта, замешанного на страстях, связанных с отъездом героя в Сибирь. Десять лет мы продолжаем легенду... Десять лет шагают мальчики и девочки по сибирским широтам, грустя о Москве, Ленинграде, и так далее. И десять лет, даже чуток побольше, мы почти ничего не знаем об истинных сибиряках, которые произошли здесь, живут, работают и, по всей вероятности, так же, как и певучие добровольцы, продолжают легенду...

Почему произошло такое?

Однажды переплывал где-то на пароме, заставленном возами с се-



ном. В основном здесь были местные: бабы, старики, парни. А в стороне стояли трое явно дальних — одежда да и говор выдавали. Паромщик, помню, когда они сошли на берег, слагая цигарку, сквозь зубы сказал, ухмылявшись:

— Беженцы... Чиво шатаются?

Беженцы... По-всякому можно растолковать это, пожалуй, в общем-то точное определение. И не секрет, что тропы в Сибирь не менее многолюдны, чем из Сибири. А земляки мои живут здесь, и не бегают с места на место, и независимы в своей трудовой красоте.

Они все умеют: от зимовья до Братской ГЭС — и не грустят от-



того, что о них не поют; сами-то, подвыпив, с удовольствием затягивают и про «Главное, ребята...» и про «Марчук играет на гитаре...».

А все же обидно за Сибирь, когда узнаешь, что за целых пятьдесят лет Советской власти моя родная Иркутия выросла лишь до двух миллионов человек и плотность населения здесь, в краю безбрежном и державном, всего 2,6 человека на квадратный километр, что, если хотите точнее и популярнее, в три раза меньше среднего показателя по стране.

Жаров стал сибиряком. И чему же его только не научила она, матушка! Вот и независимость откуда, то есть вера в себя, в свои руки и силы, в смекалку свою, добрую пособницу в делах разных.

Жаров и зимовье срубил, и сапоги сошьет, и последней банкой стуженки поделится, и, переходя реку, кедр свалит так, чтобы он упал не зазря, а мостом стал на многие годы вперед...

Слава рассказывал мне, как, ночуя в одном зимовье где-то на Томпе, нашел записку, писанную московскими студентами-туристами.

«Мы хорошо знаем законы тайги, — сообщили они, — поэтому оставляем после себя в избушке сахара, а берем топор и пилу...»

Черт его знает, чтобы мы сделали с ними, если бы встрети-

лись еще когда-нибудь в лесу! Забрать топор и пилу... Это значит: кто-нибудь завтра замерзнет возле ихнего сахара...

Коротко заржал у зимовья Ястреб. Я гоню из тайги коня, и впереди у меня еще километров восемьдесят пути. Конь нам больше не нужен в экспедиции, и надо вернуть его на кордон, где я попарюсь в баньке, вдоволь поем рыбы, послушаю радио.

Листаю зажелтевшие байкальские блокноты, потом не листаю, а просто так валяюсь на раскладушке в жаровской комнате. Слава печет хлеб, а в паузах между нужными движениями читает какую-то книжку про моторы; он вот уже третий день, пока безуспешно, пытается завести мотоцикл.

В одном из блокнотов я нашел коротенькую запись. Всего два слова:

— Главное — забуриться...

Кому-нибудь другому эти слова не скажут ничего, а я их смысл знаю хорошо, потому что мне доводилось ходить с поисковыми партиями в Байкальских горах, стучать стальным карандашом в твердую грудь, земли, надеясь, что отзовется она никелевыми изморозями на шурфовых разломах.

— Главное — забуриться... Поглубже. До коренных пород, — любил повторять молчаливые «бичи» — сезонные рабочие.

Третий год я приезжаю в заповедник, работаю, приглядываюсь к людям, пожалуй, даже считаюсь своим, а вот многих вещей, происходящих вокруг меня и неразрывно связанных с жизнью этого довольно глухого угла, откровенно, не понимаю.

Первое же, что изумило меня, — мизерная зарплата научных сотрудников, квалифицированных зоологов, ботаников с высшим образованием.

Сибиряки-горожане нередко сетуют: вот, мол, уезжают от нас на запад, в Москву и другие европейские города какие специалисты! И инженеры, и писатели, и ученые... А что плывет назад косяками вчерашняя добровольная молодежь, об этом и говорить нечего. И вот все ищут коренные причины и «не видят» их, а они прямо кричат в глаза: Сибирь, как писали «Известия», отстает, и причем очень сильно, от средних показателей страны и Федерации по реальной заработной плате, по доходам на душу населения, по обеспеченности жилой площадью.

А ведь заповедник шесть-семь месяцев в году полностью отрезан от Большой земли, и только рация да «Спидола» доносят сюда шумы цивилизованного мира. Попробуй удержись в тайге при таких условиях!

Держатся. Жаровы, Ткаченки, Николаевы, Черникины. И мне обидно за них и больно, потому что я вижу, как приходится им держаться здесь.

Двести сорок восемь тысяч квадратных километров в заповеднике. Четыре научных сотрудника. Бесконечная текучесть кадров. Почти никаких средств передвижения, кроме собственных ног, нескольких лошадей и лодок. К тому же и кони и лодки очень и очень заняты на сенокосах, заготовке дров и так далее.

С кордонами нет элементарной, хотя бы полевой телефонной связи. Строительством посадочной площадки для самолетов вот уже который год висит в воздухе. Медпомощь... Случись что-нибудь с человеком в тайге, во-первых, об этом не сразу узнают, а во-вторых, вряд ли успеют помочь. Не хватает малостей — пробирок, весов, инструментария, давилок, ловчих цилиндров, ботанического оборудования, химикатов, фиксирующих жидкостей.

Впереди — море. Позади — тайга. Вверху — небо. Ах!.. Хотя при чем тут «ах!»?..

Начальство настолько хорошо



знает о жизни Баргузинского заповедника, что даже однажды задало недоуменный вопрос сотруднику:

— А вы что, из своей Давше позвонить нам не можете?..

Слава делает хлеб, и из русской печи наносит неповторимым запахом деревни. За окнами оседает под солнцем снег, и в поселочке, выходящем из зимы, как-то по-особенному светло.

— Самое непонятное в мире — это то, что он понятен, — обронил Эйнштейн.

Что это, думал я, — мудрая ирония, парадокс или грустная истина? В тайге нет-нет да и выдается время, возможное для философических упражнений, ну, скажем, у привальных костров, в размокающей под дождем палатке или на переходе, когда начинаешь замечать не только обносившиеся концы сапог, а и солнечный блик в пауковой мишени, и голос вещуны-кукушки, и бесконечный аромат леса.

Это очень здорово — научиться в тайге понимать безраздельность многих вещей и понятий, которые ежесекундно фотографируются запотевшими, но такими внимательными глазами.

Мне нравится наблюдать за Жаровым, что пристроился к огнивающей лесине-валюхе и сосредоточенно записывает что-то в свой полевой дневник. В эти минуты он, зоолог, становится моим коллегой по писательскому ремеслу. Жаров пишет о разных встречах трав, зверьках, насекомых, не забывает о ландшафте, и слова, какими он пользуется при этом, мне незнакомы и оттого волнуют.

Жаров сейчас свободнее меня, потому что он легче разбирается в природе. И я хорошо завирую ему.

За пятьдесят лет существования заповедника много сменилось в нем ученых. Да и сам заповедник, раньше только соболиный, превратился в абсолютный, запретный для добычи резерват. И это правильно: соболю пережил трудные времена, размножился, теперь здесь насчитывается более 800 особей вместо тех 30 недобитков, ушедших в начале века в непролазные стланиковые дебри гольцового пояса от выстрелов.

Научники занимаются комплексным изучением таинств подморского биогеоценоза. Аркадий Иванович Ткаченко — лесом. Лидия Петровна Николаева — растениями. Жаров — фауной высокогорья. Черникин — болезнями соболя.

Скупые строки программ, отчетов вряд ли могут в полной мере поведать о жизни названных выше людей. У каждого из них за спиной груз прожитого, передуманного, несбывшегося.

Евгений Черникин — осыбняк, немногослов, отшельник. Вся страна, казалось бы, уместилась в его трудовой книжке: Каракумы, Каспий, Камчатка... Мне бы очень



хотелось, чтобы он удачно завершил свою сложнейшую работу по соболиным болезням. Может быть, эта удача как-то скрасила бы затраты по его одиночеству в тайге, его беготню по гольцам и кедрам за зверем.

Аркадий Иванович и Лидия Петровна — муж и жена. Оба кандидаты наук. Оба из Кишинева, где занимались в стенах академии. У них бывает особенно хорошо за чаем, неспешным интеллигентным разговором. И только как-то приоткрылась мне их боль. Лидия Петровна сказала:

— Нынче, когда Аркадий Иванович защищал диссертацию в Минске, многие мои сослуживцы по академии перестали нас замечать. Видимо, считают наш отъезд на Байкал утратой жизненных позиций...

Конечно, бросить городской комфорт и обменять его на бревенчатый уют у черта на куличках — это дано не всякому, особенно тем, которые стоят на «верных жизненных позициях»...

...«Самое непонятное в мире — это то, что он понятен», — заметил Эйнштейн.

Последние годы печать изобиловала материалами о Байкале, Сибири, природе, каким-то чудом сохранившейся здесь, в глубине страны. Были среди них мудрые, толковые и так себе. В результате статейных сшибок, горячих дискуссий выявлены три кита сбережения природы: использование, охрана, возобновление. Но многие, очень многие вопросы остаются еще открытыми.

Я невольно заинтересовался историей движения по охране природы в стране. Мне стало известно:

...18 апреля 1703 года Петр I учредил Измайловский лесной заповедник близ Москвы...

...В 1722 году он же выпустил инструкцию о порядке рубки и охраны лесов, по которой леса стали делиться на заповедные и незаповедные...

...В 1916 году по инициативе и проекту Географического общества был принят первый в России общий закон о заповедниках...

...16 сентября 1921 года — Декрет Совета Народных Комиссаров «Об охране памятников природы, садов и парков», по которому дело охраны природы возложили на Наркомпрос, как ведомство, не заинтересованное в эксплуатации природных богатств...

...Сегодня 79 заповедниками страны ведают около 20 различных ведомств. Что касается Баргузинского, то он относится (вниманию!) к Главному управлению охотничьего хозяйства и заповедников при Совете Министров РСФСР. А это нечто иное, чем, скажем, Наркомпрос...

«Неужели может среди этой обаятельной природы, — писал Лев Николаевич Толстой, — удержаться в душе человека чувство злобы, мщения или страсти истребления себе подобных? Все недоброе в сердце человека должно бы, кажется, исчезнуть в прикосновении с природой — этим непосредственным выражением красоты и добра».

Но как бы там ни было, а в деле охраны природы еще достаточно неразберихи, междуведомственных неурядиц, которые закрывают собой горестную статистику.

В Байкал, благородный сосуд, наполненный изумительно чистой водой, полная смена которой происходит всего лишь за 322 года, уже началась ежегодный сброс многих тысяч тонн взвешенных веществ и растворенных минеральных веществ: хлористого натрия, сульфата натрия и так далее.

А еще в 1926 году в предисловии к книге Г. Г. Doppельмайра «Соболиный промысел на северо-восточном побережье Байкала» Н. Козьмин писал о необходимости «оживления огромного Байкальского бассейна», о том, что здесь «сокращаются запасы омуля, нерпы, соболя...», о том, что «...есть много данных, что промысловое использование идет за счет капитальной части...», что «...если соболиная шкурка, проходя в сыром виде от соболиной речки на Байкале до Нижегородской ярмарки, возрастала в цене в геометрической прогрессии, то в выделанном виде, на заграничном рынке, она имела цену, во много раз превышавшую первоначаль-

ную цену. Лишь при условии организации скорняжного промысла на Байкале можно было добиться, чтобы охотник получал в свои руки возможно большую часть рыночной цены вполне выделанного меха...»

И что, наконец, самое настораживающее: в Сибири начинает исчезать исконный, независимый человек — охотник. Отсюда почти постоянное невыполнение коопзверпрохозами планов по добыче пушнины, ореха, ягод, грибов. Так, Северо-Байкальский район недодал в сезоне 1966/67 года на 40% лесотаежной пушнины. В том числе: 4 200 штук белки, 1 100 — соболя, 32 900 — ондатры, 390 — колонка...

Исчезновение в Сибири охотника, на мой взгляд, одна из серьезнейших проблем. Она и о судьбе молодого поколения сибиряков, которые завтра, может статься такое, уже не смогут развести костра, а будут надеяться на кого-то другого, уподобляясь тем туристам, что забирают в зимовьях топоры и пилы, палат тайгу и теряются в ней.

Если сибиряки утратят внутреннюю свою гордость, талант независимости, уверенности в себе... Впрочем, вряд ли стоит доводить до этого.

Мне не очень хотелось комментировать письмо Толи Мюллера из Ленинграда, но, когда он говорит о желании жить в уединенной сторожке, грызть науку и утверждать себя, что-то неуверенное, легкое слышится мне.

Жить в тайге — это не значит, что ты утвердишь себя. Однако, Толя, попытайте судьбу, приезжайте в заповедник к Жарову. Мне кажется, он вполне удовлетворит вашим требованиям...

У поэта Владимира Луговского есть стихи:

...Есть в апреле полночи такие,
Что природа вся лежит без сна,
До рассвета ветви гнет нагие
Хищная и мокрая весна.
В судорогах родовых страданий
Полночь пробирается тайком.
Вот тогда вошла ты

Тоненьким и тихим в мирозданье
стебельком...

И приходят весны в мирозданье,
и на глазах меняют берега, снег
под прямым дневным светом уходит
в трещины, и Байкал сейчас
сушит на солнце гигантскую
перпичью шкуру — лед.

Это шах. Пора синевы, сон-травы
и первых медвежьих гимнов.
Шах — это гололед без всего, что

намела, накрутила зима. Шах — это мат зиме.

...Целый день в тайге, на льду — и ошалел, одурел. А по ночам нет-нет да и сорвутся на побережье ветры северных румбов. Лопаются тогда лед, и омуль стоит подо льдом, призрачно шевелясь в зеленой воде.

Бродили с Жаровым по Тоненькому мысу, собирали кедровые шишки, перезимовавшие в сугробах. Всюду следы живого, но не враз видимого. Под конец дня глаза тайком, из-под ветра, на медведя. Он ворочал землю,



вскрывая бурундучью нору, сопел и греб лапами, точь-в-точь как та снегоочистительная машина.

Жаров сказал:

— Зараза! Леня ведь шишку чистить. До сплошного ореха скребется.

Кедровые уходили в синь, и глумилась весна над тайгой.

Сегодня Жаров пишет рецензию на книжку А. Банникова и С. Устинова «Баргузинский заповедник». Пишет сердито, но без злопыхательства. Я понимаю его, потому что тоже прочитал эту работу, выпущенную издательством «Знание» многотысячным тиражом. К тому же я лично знаю одного из авторов, зоолога Семена Устинова, в общем, хорошего парня, еще с тех пор, когда он приносил в редакцию областной иркутской газеты свои заметки о природе.

В книжке полно неточностей, вреднейших рекомендаций туристам.

Семен написал про Давше: «...тайга так близко подступает к домикам, что осенью, когда хватит с севера сильный ветер, слышно, как падают на крышу тяжелые кедровые шишки... А выйдя на закате к Байкалу, можно увидеть бредущего к поселку по берегу медведя...»

Авторы предлагают туристам маршруты по заповеднику, рекомендуют места для ловли рыбы, катанию на плотах и т. д.

И я согласен с Жаровым, когда он говорит в рецензии о «...нежелании авторов считаться с принятыми в заповеднике порядками...». И я представляю себе разочарованные лица туристов, высадившихся в Давше, когда у них временно отберут рыболовные снасти и предложат всего единственный маршрут на Шумилиху.

Честное слово, не стучат в Давше по крышам шишки и медведи не так уж охотно демонстрируют себя. Зато туристы, пользуясь безответственными рекомендациями, действительно опасны для заповедника.

В Давшинской бухте никогда не забудут 15 августа 1961 года. Именно в этот день какие-то люди, назвавшие себя московскими студентами, зажгли тайгу на мысе Немында, и только дождь спас поселок от гибели.

Кто-то назвал Байкал «районом экспорта впечатлений».

Но нужны базы, станции, егеря, средства, внимание...

Как хотелось бы дожить до того дня, когда сибирское море станет национальным парком!..

Хорошо это — ощущать и переносить повышенную температуру земного нутра. По кафелю струит слегка пахнущая аптекой вода, поднявшаяся в поселок из темной неизвестности. Сорок градусов в источнике. Полежал в нем десять — пятнадцать минут — и выходишь в свежесть весеннего утра омолодевшим до самых оснований. По-своему знаменит давшинский сюрприз, местный лекарь от разных там простуд и ревматизмов. По стенам избушки развесились капли, и в маленькое окошко глядится Байкал.

Вот и сюда, в бухту, на завесневшее подморское побережье, пришел праздник. В клубе — детский утренник, и Ванька Поздняков, сынишка кордонщика, предельно искренне доносит со сцены звонким, лишенным всякого слуха голосом: «Мальчишки, мальчишки, вы первыми ринулись в бой...»

Первомай, и на избах качаются флаги. Первомай, и сегодня особому смотрит Жаров в черной отутюженной паре, с подбритой бородкой, как-то еще более постройневший и слегка чопорный от белой рубашки с модным галстуком.

Миша Краснопевцев очень сжа-

то делает доклад, Аркадий Иванович Ткаченко поздравляет заповедниковцев с праздником, и вскоре, как по щучьему велению, возникает в клубе стол, богатый всем, что может послать приморская тайга: омуль, соленая черемша, брусника... Магнитофон ярится джазом, и постепенно собираются у стола все, кто пережил еще одну зиму: научники, егеря, лесники, женщины.

О, как они прекрасны в эту минуту перед первой чаркой, мои сибирячки! Их красит все: и грубость загара, и мозолистость рук, и стеснительность, и дрожание выгоревших ресниц...

Праздники на далеких кордонах только они могут оценить по-своему; слишком много было трудно-го и порой не совсем уж и светлого до этого утра.

Поются песни, выпатываются «цыганочки», мужики и бабы веселятся от души.

Но печален Жаров, и я все понимаю. Правда, печаль его затаена, аккуратно припрятана в глубину взгляда. Слава и подпевает про молодца, которому «плыть недалеко», и танцует фокстрот с Лидией Петровной, раскрасневшейся и тоже похорошевшей, но ему грустно, и он часто курит свою «Приму» или выходит на крыльцо клуба, над которым вот-вот откроют глаза звезды.

Одиночество... Оно особенно ощущается Жаровым в праздники — все отдыхают... Я не хотел бы больше говорить об одиночестве, но, вспоминая письмо Толи Мюллера, страдающего поселиться в тайге, не забываю о жаровской печали. Вот уже два года, как ушла от него жена Татьяна, та самая, у которой он принимал роды...

Мы возвращаемся из клуба, и Слава, присев на крыльце, поглаживая молодого черного пса Макбета, говорит:

— Ласточки скоро вернутся...

— Да.

Их гнезда прямо под низкой притолокой, свободно достаешь рукой. Пока гнезда пустынные, но скоро, скоро широко откроются навстречу ветру желтые треугольнички птенячьих ртов.

Ласточки обязательно возвращаются на родину, пахнущую кедровой смолой.



Помните у Грина в «Бегущей по волнам»: «Рано или поздно, под старость или в расцвете лет, Несбывшееся зовет нас, и мы оглядываемся, стараясь понять, откуда прилетел зов. Тогда, очнувшись среди своего мира, тягостно спохватываясь и дорожа каждым днем, всматриваемся мы в жизнь, всем существом стараясь разглядеть, не начинается ли сбываться Несбывшееся? Не ясен ли его образ? Не нужно ли теперь только протянуть руку, чтобы схватить и удержать его слабо мелькающие черты?»

Между тем время проходит, и мы плывем мимо высоких, туманных берегов Несбывшегося, толкая о делах днях.

Целых три дня ползли мы по центру Байкала мимо берегов моего Сбывшегося.

Целых три дня я опять прощался с белыми деревьями, невиданной голубизной льдин в торосах, нерпичьими живыми кляксами на белой глади моря. Мы перетаскивали мотоциклы через трещины, ползком выходили на берег, потому что ошалевшая, ранняя весна сточила лед, а по вечерам слушали, как кричит на берегах, в устьях таежных рек транзитная птица.

Прощаясь в Нижне-Ангарске, самой северной точке байкальского бумеранга, мы крепко обжали друг друга ладони.

Юра Татаринов и Миша Михалев, коренные охотники, сели в седла своих «ижей» и постепенно растворились в моросливой дымке.

Когда-нибудь я обязательно закончу книгу и назову ее «Откры-

ки с тропы». О чем будет она? Согласитесь, что человек, идущий дальней дорогой, думает обо всем сразу, нанизывая воспоминания и только-только открывшееся на одну нить.

Тропа не может быть нехоженой... Еще не оплачен долг перед землей, на которой родился, еще столько взято займы после встреч с рыбаками, охотниками, помбурами, катерниками и докерами с Лены.

Я еще не написал о бледном луговом цветке, верном Сибири своим постоянством и названном почему-то ветреницей, о маральем следе в гольцах, в который налил-ся ночной дождик и он стал походить на чью-то дикийнну подожву, где вместо гвоздей серебряные шляпки звезд...

У молодого поэта Анатолия Педреева есть напутствие:

...Да шумят тебе листья и травы,
Да хранят тебя

Пушкин и Блок.
И не надо другой тебе славы,
Ты и с этой не столь одинок.

Если бы стало возможным отнести эти слова и к себе...

И все ли сбудется? Смогу ли я и через еще несколько десятилетий увидеть белые деревья, байкальскую синеву — бесконечное продолжение первозданной чистоты, послушать первый крик журавля, вернувшегося домой, и грустное эхо от этого возгласа, теперь уже похожее на вздох?

Да, чуть совсем не забыл. Чуть не забыл отправить еще одну открытку на далекий остров Сахалин. Путь же она будет своеобразным Р. С.:

Дорогой Саша Погодаев!

Мы получили в заповеднике твое письмо. Оно нам понравилось. Особенно хорошим желанием — побольше узнать о своей стране. Что же касается твоего опыта с головастиком, то мы, заповедниковцы, подумав, решили сказать тебе вот о чем: никогда не стремись держать живое в закрытых пузырьках.

АВТОР —
бывший егерь
Варгузинского заповедника.

Северный Байкал.

Апрель — июль 1967 года.



А. Шаров



О НЕКОТОРЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ

*Записки
музейного работника*

РЕАЛЬНЫХ
И ИНЫХ
ПОЧТИ
ФАНТАСТИЧЕСКИХ

По роду моей деятельности — музейного работника — мне не часто приходится встречаться с людьми; да и то по преимуществу в сумрачных залах, затененных от слишком сильного света, среди предметов старинных.

Бывает, что причудливые тени, откидываемые этими, отжившими свой живой век прекрасными вещами — у вещей, в противоположность людям, бывает свой живой век, часто очень мимолетный, и век мертвый, почти бесконечный, — бывает, что эти причудливые тени переплетаются с обстоятельствами современными, образуя сочетания фантазмагорические, но не лишенные при этом даже практического смысла.

И тут уж приходится — это диктуется внутренней потребностью — во внеслужебные часы, конечно, заставлять перо, привыкшее к составлению инвентарных описей, ведомостей и отчетов, приниматься за предмет, чуждый музейеведе, — описание чело-веческих судеб, или, точнее, обрывков этих судеб, имеющих известную музейную ценность.

При этом я избираю привычный путь исследователя или сказочника, каковые две профессии объединены полной противоположностью труду так называемых «сочинителей»; недаром старинные люди, привыкшие к точности речи, говорили: ревизская сказка, но никак не ревизская поэма, или ревизская драма, или, там, ревизский роман.

Сказочник, равно как и исследователь, описывает только лично им наблюденное, но в противоположность исследователю интересуется единственно вещами странными, на первый взгляд — невероятными. Музейный работник как бы средостение между этими двумя специальностями.

Что это за нелепый музыкальный ящик, источенный временем и при этом сверкающий красками необъяснимой свежести? Не могущий повторить ни одной диктуемой ему мелодии, но по ночам воспроизводящий сочетания звуков, абсолютно неуловимые, однако входящие ведь в твое сознание — кто решится это отрицать?

— Что это за нелепый предмет? — спросит скептик. — И что это за другие, еще более нелепые предметы?

— Музейные экспонаты! — отвечу я. — В свое время они были и сыграли свою, уже непонятную нам роль. И ценность их в том, что они были.

— Что это за невероятный персонаж? — спросит тот же скептик. — Людоед, из замка которого убегают все решительно мальчики с пальчики, так что, если верить, будто он питается ими, то почему он давно не умер с голоду?

Что это за невероятнейший людоед?

И где вы откопали такого в наше время, богатое самыми разнообразными людоедами, убивающими не одного, а миллионы мальчиков и девочек, женщин и стариков? Где и зачем вы его откопали?

— Был и такой людоед, — только и ответит сказочник.

— И где, когда, почему вы видели спящую красавицу? — Особенно спящие красавицы раздражают скептиков. — И почему, извольте точно ответить, по какой именно причине она проснулась?

— Я видел ее потому, что был молод, — ответит сказочник. — И видел ее там... Нет, об этом я не обязан рассказывать. И проснулась она потому, что к хрустальному гробу подошел красавец принц, а она сама тоже была прекрасна. Что же тут удивительного? Разве только несколько редкостная профессия чужестранца?.. И к тому же я ведь это видел! Видел своими глазами, как она приподнялась в гробу. И протянула навстречу принцу руки, не открывая глаз. И как порозовели ее щеки. И как счастье солнечным лучом легло на ее милое — я не назвал бы его прекрасным, но такое милое лицо. До сих пор в редкие счастливые ночи оно возникает перед моими глазами.

Видел, когда был молод. Звездной и теплой ночью, неслышанно звездной и теплой ночью, в октябре 19... года, когда море уже шумело по-осеннему. И с гор тянуло ароматом винограда, превращающегося в молодое вино.

— Видел! — скажет сказочник. — Поэтому и рассказал о виденном.

Впрочем, в коротком этом повествовании не следует ждать появления спящих красавиц, принцев и людоедов. Действуют в нем лица реальные, упоминаемые даже в энциклопедиях, если не считать профессора N, лица даже более чем реального, которое в энциклопедии не попало исключительно по прихоти случая и проискам недоброжелателей.

В начале его деятельности, отдавая должное присущей этому человеку способности к безупречным логическим построениям, студенты и восторженные молодые студентки называли профессора N молодым Эвклидом.

Он был высок ростом, строен, с лицом полным, но чрезвычайно бледным, что свойственно людям, привыкшим работать при искусственном освещении. Губы у него были тонкие, красные, почти всегда изображающие ироническую улыбку. Смотрел он чаще всего мимо собеседника, рассеянно, и говорил тихо, как человек, знающий, что собеседник напугает слух, боясь проронить малейшее словечко.

Очень давно, только еще приступая к профессорской деятельности, он получил из академических фондов платино-иридиевый сплав, тот самый, из которого изготовлен эталон метра в Международном бюро мер и весов в Севре (Франция), и опытный мастер академических мастерских отлил для него прямую, являющуюся кратчайшим расстоянием между двумя точками «X» и «Y».

С тех пор он являлся на лекции неизменно с этой платино-иридиевой прямой. И на практических занятиях сам лично перебежал из точки «X» в точку «Y» строго по этой прямой, позволяя студентам и студенткам избирать произвольные направления, чтобы удостовериться в их ложности.

Эти практические занятия облегчали усвоение материала, способствуя возрастанию и так уже значительной популярности N.

Так обстояло дело, когда неожиданно профессор отказался от публичной деятельности и углубился в работу, о которой он избегал говорить, а если приходилось, выражался общо и неопределенно: «Труд моей жизни».

Размышляя над этим трудом, N долгие часы сидел в уютном кабинете на даче перед ярко горящим камином. Тут уж прямая я использовалась

им в качестве кочерги и от сильного жара превратилась совершенно в загогулину.

Добровольное отшельничество продолжалось недолго. Профессор вернулся на кафедру, где его приветствовали студенты и студентки. Однако праздничный день окончился печально. Когда N, как в прежние времена, уложил платино-иридиевую прямую на пол лаборатории и побежал из точки «X» в точку «Y», а за ним последовали студенты и студентки, то по окончании опыта все они оказались в исходной точке «X».

А две особенно восторженные студентки, лучшие его ученицы Р. и С., по пути исчезли, как бы провалились сквозь землю.

Досадная неудача практических занятий объяснялась, очевидно, одним: превращением платиновой прямой под влиянием жара в замкнутую восьмерку. Но от профессора рациональное объяснение почему-то ускользнуло. Потрясенный исчезновением самых красивых и преданных учениц, он придумал происшедшему чуть ли не мистический смысл.

Выше я не имел повода упомянуть, что профессор, о котором идет речь, хотя и получил в среде учащейся молодежи прозвище «молодой Эвклид», занимался не геометрией или другой областью математики, а исключительно искусством. Именно в искусствоведении он столь успешно (если не считать последнего афронта) занимался изучением расстояния между точками «X» и «Y» (символы, условно обозначающие близкие ему художественные школы прошлого и настоящего), рассекая искусство безукоризненными прямыми.

Прозвище лишь подчеркивало силу логического мышления N.

...После афронта профессор переселился в другой город, заняв там кафедру по специальности.

Я предполагал, что больше с ним не встречу, но, как выражались старомодные писатели, судьба сулила иначе.

Осенью 1953 года я был командирован своим ведомством в Ленинград. Возможность вновь посетить Эрмитаж и Русский музей — всегда праздник не только для музейного работника, но и вообще для каждого человека.

Есть картины, рассказывающие трагические и радостные истории жизни. Можно часами слушать бесконечную исповедь рембрандтовского блудного сына. Смотреть, как слепой отец, немо протянув руки к самому дорогому и близкому человеку, пытается слабыми этими руками отвести от склоненной головы сына непосильные беды.

Есть картины, молча льющие свой свет. Однажды я видел, как к «Мадонне Бенуа» Леонардо да Винчи подошла парочка: молоденькая невзрачная девушка — кажется, даже рябоватая — и красивый юноша.

Юноша совсем не обращал внимания на свою спутницу, отчего она, и так очень маленькая, становилась еще неприметнее, стушевывалась, никла. И вдруг мадонна, оторвав взгляд от младенца, взглянула на девушку, коснулась ее взглядом. Девушка выросла, глаза ее заблестели — стало видно, какие они огромные и прекрасные. Юноша, небрежно обернувшись к своей спутнице, вероятно, только для того, чтобы поторопить ее, ничего не сказал, а так и замер, полукрыв рот.

...Да, попадая в Ленинград, дорожишь каждым часом.

Как-то ранним утром, подходя к служебному входу Эрмитажа, я увидел двух незнакомцев, иностранцев по виду — одного толстого, пожилого, с седыми усами, а другого — совсем молодого, красивого и привлекательного.

Они горячо спорили, сопровождая свои слова по-настоящему темпераментной жестикой. Когда я поравнялся с ними, молодой шагнул навстречу и, спросив, понимаю ли я по-французски, с трогательным, почти умоляющим выражением лица попросил по-мочь им.

Из его сбивчивых объяснений выяснилось, что пожилой француз — это видный политический деятель центристского направления, примыкающий к движению сторонников мира; назовем его мосье М. А он сам — мосье Л. — коммунист, тоже участник движения за мир, по специальности — художественный критик, партийной работой и общими интересами в искусстве тесно связанный с Пабло Пикассо.

Оба француза участвовали в сессии Совета Мира в Хельсинки, а по окончании сессии поспорили, «передрались насмерть», как выразился Л.

— Картины вашего друга — коммуниста Пабло — в коммунистической России сожжены, — сказал М.

— Вы лгун! — ответил Л.

— Пари! — предложил М. — Если хоть одна картина Пикассо уцелела, я ставлю дюжину бутылок лучшего шампанского.

...Я провел иностранцев к академику Иосифу Абгаровичу Орбели, директору Эрмитажа, и вместе с ним мы были допущены в запасник музея.

Мы шли по анфиладам дворцовых залов, по широким коридорам, поднимались по лестницам пустого в тот час Эрмитажа. Впереди почти вприпрыжку бежал Иосиф Абгарович, всегда полный благородного нетерпения. Седая борода его развевалась на бегу, не совсем еще поседевшие волосы отбрасывались назад, и в блестящих черных глазах сверкало вечное любопытство человека, объяснившего смысл надписей Мармашена, лукавство автора «Басен средневековой Армении», отблески скифского золота и красок величайших картин, которые он хранил десятилетиями и сохранил для мира во времена блокады. Он бежал вверх по лестнице, перепрыгивая через две ступени.

На верхней площадке Иосиф Абгарович постоял минуту, давая время М., который побледнел и тяжело дышал после быстрого подъема, и всем нам сосредоточиться на предстоящем. Было очень тихо; может быть, от этого мне вспомнилось, как недавно я по поручению того же музейного ведомства посетил старого скульптора Эрзю, вернувшегося из Латинской Америки на родину.

Скульптор, ваявший из корней аргентинского железного дерева, стоя посреди каморки истопника, где он временно жил, чтобы не расставаться со своими творениями — они хранились рядом, в подвале, — прислушивался к еле доносившимся из подвала звукам: поскрипываниям, шуршанию — и говорил шепотом:

— Слышите?! Дерево называется железным, но оно золотое. И это совсем не потому, что я платил за него чистым золотом, а потому, что оно вечное. А тут, в сыром подвале, оно прорезается трещинами и умирает. Слышите, это оно так дышит в горячке.

...Орбели стоял, погруженный в задумчивость, пока дыхание М. не стало ровным. Тогда он открыл дверь длинным ключом со старинной резной ручкой.

Мы очутились в одном из запасников Эрмитажа.

Это была длинная комната, разделявшаяся на две половины. Справа был укреплен ряд стеллажей, верхней гранью почти касавшихся потолка, а нижней закрепленных в особом рода рельсах. К передней рейке каждого стеллажа была привинчена металлическая ручка. Левая часть комнаты была пуста на

всем протяжении. Яркий свет проникал сквозь узкие, закругленные сверху арочные окна.

Небо за окнами было чуть окрашено восходом. Скованная льдом Нева казалась сверху идеально отполированным зеркалом. Оттуда, из «глади вод», строго вверх, к звездам, которые уже померкли, прорезая дымку, поднимался золотой шпиль Петропавловской крепости.

Помещение было полно только утренним зимним светом, но зато им полно до отказа.

Иосиф Абгарович шагнул впереди нашей маленькой группки, теперь уже не торопясь, а даже нарочито замедляя шаги.

Походка его стала легкой и бесшумной, как у горца. На середине комнаты он остановился и круто повернулся к нам. Жестом пригласив нас встать рядом, он взялся за ручку ближайшего стеллажа и сильным движением выкатил его.

Прежде я слышал, хотя и не обращал внимания на эти звуки, только дыхание моих спутников: астматическое дыхание мосье М., ровные и мощные вздохи в груди Орбели и юношески легкое дыхание Л.; потом я узнал, что Л. прошел в годы немецкой оккупации через маки, был в лапах гестапо, принадлежал к боевой гвардии «партии расстрелянных», как называют коммунистов во Франции, но тогда он казался мне экзальтированным юношей, начинающим жизнь.

На стеллаже высотой метра в четыре и шириной метров восемь тесно, впритык, от пола до потолка и от правого до левого края висели картины; без рамок, «голые», по-особенному прекрасные своей обнаженностью, как бы только сейчас законченные живописцем.

Их было столько и краски были такие сильные, что мы невольно отступили на несколько шагов, как бы отжатые давлением света.

На нас смотрел Мальчик Пикассо, положивший тонкую руку на голову черной собаки и задумавшийся о том, о чем думают все мальчики на свете. На нас из синего водоворота неба лилось, несло, жгло ослепительное ван-гоговское солнце Арля. На нас, прижимая к груди своих младенцев, таинственно глядели темнокожие голеновские тайтянки, глаза которых говорили, что они понимают то, что, кроме них, понимают только все женщины мира и больше никто, разве что еще немногие настоящие художники.

На нас глядела Девушка с веером Огюста Ренуара. И наклонившаяся нетерпеливым движением вперед Жанна Самари в своем бальном платье. И Любительница абсента — Пикассо.

Мы перевели дыхание.

На глазах Л., который так близко видел дула немецких автоматов, и Иосифа Абгаровича, пережившего войну и блокаду, и мосье М. блеснули слезы. Мы встречали эти картины, как близких, которые исчезли неизвестно куда и вдруг неожиданно вернулись.

— И есть люди, которые все это не считают искусством, — проговорил Л.

— Слепорожденные! — подумав, отозвался Иосиф Абгарович. — Нет, не слепорожденные, а люди, которые боятся света и живут с закрытыми глазами.

— Пабло будет счастлив! Как он будет счастлив! — воскликнул Л.

— Приходите в понедельник. Картины будут выставлены для всеобщего обозрения, — сказал Орбели.

— Людей, боящихся света, надо сбрасывать с Тарпейской скалы, как делали римляне, — отвечая на собственные мысли, сказал Л.

— Тибр вышел бы из берегов,— возразил Орбели.
— А может быть... может быть, просто надо уводить их туда, где нет искусства,— сказал Л., у которого и самый голос становился то беспощадным, то по-юношески мягким.

— Там, где нет искусства, нет и жизни,— пожал плечами Орбели.

— А если их куда-нибудь... в кротовые норы...— неуверенно заметил М.

— В подземное царство Аида,— перебил Л., снова настроенный жестко.— Впрочем, они выползут и оттуда.

Я и не заметил, как появились двенадцать бутылок шампанского, обусловленных пари. Иосиф Абгарович исчез на минуту, вернулся с мягким ковриком и сел на него, пригласив нас занять места рядом.

Показалось, что это не Эрмитаж, а глинобитная сакля аула, затерянного на склонах Апарата.

Бутылки стояли рядами, поблескивая охваченными серебром горлышками, как кувшины со старинным орнаментом. Перед каждым из нас хозяин поставил узорчатые чарки кованого серебра.

Это были кубки, почерневшие от времени. Такие старые, что легко было вообразить, будто из них Ной вместе со своими сыновьями пил сикеру — пальмовое вино,— когда ковчег пристал к земле.

Госпожа Самари, приветливо улыбаясь, как хозяйка, стояла в глубине сакли. И смуглые таитянки тут были на месте. Женщина, пьющая абсент, горько смотрела на недоступное ей счастье разумной жизни. И Мальчик Пикассо, глядящий собаку, превратился в пастушонка; показалось, что невдалеке пасется стадо овец.

Иосиф Абгарович наполнял кубки и произносил длинные тосты на старофранцузском раблезианском, потом на грузинском и армянском языках. Я не знал многих слов, но, несмотря на это, воспринимал, как мне кажется, все: сказанное и даже несказанное.

— Вы знаете,— сказал Иосиф Абгарович,— прошлое лето я был в Абрамцеве, под Москвой; там, рядом с этой чудеснейшей церквушкой — моделью Новгородской Нередицы,— две могилы. На кресте одной из них написано:

МАМОНТОВА,

а ниже еще:

ДЕВОЧКА С ПЕРСИКАМИ.

— Как печально...— вздохнул Л.— Девочка с персиками, сама молодость, преходяща и смертна.

— Я подумал другое,— возразил Орбели.— Девочка с персиками бессмертна. И она тоже.— Взгляды Иосифа Абгаровича были устремлены на Девушку с веером Ренуара.— И они бессмертны: Мальчик, глядящий собаку, и Любительница абсента; она пережила такую тяжелую жизнь, но, думается, были и у нее секунды счастья.

Бутылки опустели. Мы поднялись и вышли в коридор.

Эрмитаж заполнялся посетителями.

Я несколько отстал от своих спутников и вдруг замер, явственно расслышав знакомый тихий, заставляющий прислушиваться к себе голос.

Я остановился и заглянул в приоткрытые двери небольшой овальной аудитории.

Признаюсь, я сделал это с необъяснимым чувством неприязни, даже испуга или досады.

...За полукруглыми скамьями с пюпитрами тесно сидели слушатели и слушательницы. Доносилось шуршание бумаги и легкий скрип перьев. На белой мраморной стене с ампирическим золотым бордюром чернела грифельная доска. Н стоял вполоборота к доске — я ясно видел его профиль — и твердо



В. СЕРОВ.

Девочка с персиками.

проводил прямую, концы которой были обозначены буквами «Х» и «У».

Лицо профессора, как полумаска, закрывали огромные очки в металлической оправе.

Нет, пожалуй, сейчас его не прозвали бы молодым Эвклидом, хотя время и отнеслось к нему милостиво. Лицо, покрытое нездоровой бледностью, чуть пожелтело, и на нем обозначились легкие морщинки. Ироническая усмешка, кривившая тонкие, чувственно-красные губы, приняла жесткий характер. Волосы, некогда темной волной оттенявшие высокий лоб, исчезли, и, странное дело, лоб теперь не казался высоким, а приобрел как бы некоторую скошенность и жесткую угловатость.

— По прямой Х—У, соединяющей признаваемые нами художественные школы прошлого с признаваемыми нами художественными школами настоящего,— еле слышно говорил профессор,— как вы видите, располагаются точки а, б, в, г, д, е... а, б, с, d, e, f... альфа, бета, гамма... Представьте себе за каждой из означенных точек изученных нами великих деятелей искусств, появление которых в мире, равно как и их величие, определяется функциональной зависимостью, выраженной прямой Х—У...

«Выраженной прямой Х—У...» — записывали студенты и студентки, перенося чертеж в тетради и время от времени сверяя его с оригиналом.

...Овал лица N оставался округлым, но в нем резко обозначился как бы остов или, если выразиться прямее, очертания черепа.

И речь его стала суше, обнаженнее.

— ...А эти бесчисленные точки а¹, б¹, в¹, г¹, д¹... а', б', с', d'... альфа, бета, гамма,— говорил N, быстрыми ударами мелка покрывая поверхность доски белыми пятнышками.— Если обозначить ими так называемых деятелей так называемого искусства, которые тоже одновременно существовали или, вернее, как бы существовали, находятся, как вы видите, вне прямой и потому к подлинным деятелям подлинного искусства быть причислены не могут.



О. РЕНУАР.

Жанна Самари.

«...И потому... быть причислены не могут», — доверчиво — ах, ведь и мы были так доверчивы! — скрипели перья.

Лекция окончилась, и N вышел из аудитории. Он шел прямо на меня, однако при этом как бы не видя меня.

— А мне, признаться, показалось, что вы меня не узнали или не хотите узнавать, — сказал я, когда он, круто остановившись, протянул мне свою очень белую руку с длинными пальцами артиста, при прикосновении казавшуюся почти бесконечной.

Вблизи очки, занимающие такое несоответственно большое место на его бескровном лице, еще сильнее приковывали взгляд человека, по роду специальности привыкшего главное внимание обращать на предметы уникальные.

Они поражали не только размерами, но и своей несомненной странностью.

Толстая, толщины браслета, платиновая оправка светло блестела в полутьме эрмитажного коридора. Те, кому приходилось иметь дело с драгоценными металлами, имели случаи убедиться, что блеск платины иной, чем блеск золота, красноватый, горячий, или чем звездный блеск серебра. Платиновый блеск прежде всего совершенно холоден.

В овальной оправе были заключены выпуклые линзы, отливающие свинцовым и отчасти оловянным оттенком отлично отполированных металлических поверхностей.

— У меня не было и нет никаких причин игнорировать вас, — тихо, но внятно проговорил N. — Просто по обстоятельствам своего зрения, усиленного данным оптическим прибором... — Кончиками пальцев профессор притронулся к очкам. — При помощи данного оптического прибора я совершенно отчетливо различаю факты, которые представляют собой сущности, типические явления, или, иначе говоря, философские категории, но зато избавлен от необходимости видеть факты, представляющие собой лишь видимости и единичные случаи.

— При помощи этого оптического прибора? — заинтересованно переспросил я.

— Именно! — с той же особенной внятностью ответил профессор. — Факт... хм... которого вы были свидетелем на давних практических занятиях, заставил меня сделать необходимые выводы. Вы понимаете, какой тягостный осадок остался у меня, человека чувствительного, после необъяснимого исчезновения С. и Р., моих любимых учениц; облик первой, как вы, может быть, припоминаете, отличался греческой строгостью линий, а облик второй — похвальной рубенсовской округлостью форм.

Несколько секунд N молча глядел в пространство, по-видимому, пытаясь воскресить прошлое.

— Да, — продолжал он. — Особенно поразило меня исчезновение Р. и С. Они отличались усидчивостью, логическим мышлением, эрудицией и материальностью — чертами, которые, казалось бы, полностью гарантируют от превращения из философски сущего в философски не сущее... Я должен был сделать все выводы из происшедшего. От меня не укрылось, что если прямая, пусть даже под влиянием высоких температур, из истинно прямой превращается в подобие восьмерки, она больше не соответствует своему назначению. Прибыв по месту новой работы, я попросил мастеров переплавить ее и с невозможной чистотой разделить на две фракции, а именно — на фракцию платиновую, из каковой выгнута оправка оптического прибора, и фракцию иридиевую, послужившую материалом для собственно оптической, или, точнее, определяющей и классифицирующей части инструмента.

— Но, — рискнул я спросить, — иридий — металл. Не мешает ли его металлическая непрозрачность ясно и правдиво видеть людей и вещи?

— Напротив! — резко перебил профессор. — Она не мешает, а именно только и дает возможность видеть ясно и правдиво, если данному расплывчатому термину придавать не его преходящее, житейское значение, а, напротив, учитывать его философскую сущность. Пленка иридия очень тонка, и кристаллическая решетка, которую образуют молекулы, сама собой поглощает, оставляет за решеткой все необязательное — необязательные цвета, детали, факты, как в предметах живых и движущихся — людях, например, — так равно в предметах неподвижных — например, в произведениях искусства.

N кивнул головой и скрылся в глубине коридора. Я зашел в аудиторию. Точки а, б, в, г, д... а, б, с, d, e, f... альфа, бета и многие другие, как звезды, сверкали на черной, подобно ночному небу, доске. Прямая X—Y, казалось, была проведена между ними не мелом, а ножом патологоанатома, по осевой линии вскрывая мироздание, как труп.

Казалось, что звезды — меловые точки — сверкают в последний раз и вот-вот провалятся в разрез, как в бездну.

Что сейчас останки мироздания отволокут вниз, в подвал, и сожгут там, как сжигают на медицинских факультетах ненужный материал после занятий по анатомии.

Звезды сверкали неярко: печально и обреченно. Подошел служитель и влажной тряпкой без остатка стер их с черной доски.

На мгновение мне показалось, что мироздание действительно исчезло — все разом!

Я выбежал на улицу. Солнце сверкало над ледяной Невой с вмерзшей в ее белую синь «Авророй». Нева по-прежнему, как в пушкинские времена, была одета в гранит. Звезды не были видны, но угадывались в глубине неба. Я полной грудью вдохнул морозный воздух и чуть не захлебнулся. Ох, как он необходим даже мне, музейному работнику, чистый, морозный воздух Ленинграда!

Иосиф Абгарович пригласил и меня присутствовать на открытии залов новой западной живописи. Я явился в половине девятого, за полчаса до назначенного срока. Зал номер пять на третьем этаже, где развешена была экспозиция школы импрессионистов, еще не открывался. У дверей дежурила седая женщина в синем халате; она что-то вязала на спицах. Я взялся за ручку двери.

— Нет, нет, сюда нельзя! — быстро поднимаясь, сказала женщина. И, когда я послушно отступил, понизив голос, монотонно и зауценно договорила: — Здесь висят картины, в которых много света и воздуха!..

...Приглашенных собиралось все больше; с каждой секундой явственнее ощущалась атмосфера праздничного ожидания.

Да, разумеется, мы видели эти картины. Но ведь и то, сколько лет мы были с ними разлучены! И все ли видели? К тому же свет и воздух, о котором упомянула дежурная в синем халате, он ведь нужен человеку не один миг, а от первого вздоха в родильной палате, от первого взгляда на мир и до предсмертного вздоха на больничной койке.

Одним из последних, раздвигая толпу, явился Н. Очевидно, на этот раз свет поляризовался кристаллической решеткой иридия так, что профессор, не замечая меня, мог беспрепятственно рассматривать портрет Е. А. Демидовой работы Робера Лефевра, висевший прямо за моей спиной.

Там, на портрете, красивая женщина с мечтательными глазами держала на коленях изящную книгу. Несколько позади виднелась мраморная колонна, прикрытая драпировкой, и мраморная балюстрада, за которой в глубине парка выступали гармоничные купы деревьев.

Что ж, академисты любили красивое.

И можно ли упрекать их в этом пристрастии?

Хотя, с другой стороны, не следовало бы и упрекать, например, Ван-Гога за то, что он больше любил изображать едоков картофеля, ткачей, углекопов Боринажа, рыбаков Схевенингена, и уличных женщин, и изможденных пожилых работниц, ибо, как писал он, и так уж видели его глаза: «Женщина никогда не бывает старой».

Где-то какие-то из старинных эрмитажных часов со старческой пунктуальностью и старческой, чуть старомодной, дребезжащей музыкальностью начали отбивать девять часов. С первым ударом часов появился Иосиф Абгарович. Седая борода его развевалась воинственно, как знамя. Происходило это, вероятно, оттого, что один из тысячи семисот тридцати пяти земных ветров, зарегистрированных в полнейшем ветровом атласе Христиана Густава Леметра, был навечно приставлен к нему и сопровождал его везде, даже в неизкрытых помещениях.

Где он сейчас, этот ветер? Воет ли над могилой Иосифа Абгаровича в Ленинграде на Полюстровском кладбище? Или возвратился на родину его, в горы Кавказа, на родину старейшей его фамилии, и там нет-нет да и проскользнет северной, по-питерски бесплотной тенью среди сильных, напоенных запахами солнца и плодов южных собратьев?

...Как только Иосиф Абгарович появился, двери зала номер пять сами собой распахнулись, и людская толпа отеснила в сторону дежурную в синем халате с вязаньем в руках.

Все в мире меняется. Неизвестно, созданы ли двери именно для того, чтоб открываться.

Как бы то ни было, но двери зала номер пять распахнулись!

Картины были просторно развешаны по стенам очень светлого зала, окна которого выходили на Неву. Они выглядели сегодня такими же и не совсем такими, как несколько дней назад, в эрмитажном запаснике. Не голыми и беззащитными, а как бы принарядившимися для бала в красивые багеты и золотые рамы.

Жанна Самари наклонилась вперед, ожидая приглашения на вальс; ножка ее нетерпеливо выглядывала из-под бального платья. Пока шли споры, имеет ли она право быть принятой в высшем художественном обществе, она бы успела постареть, но совсем не постарела, потому что — тут опять придется сослаться на Ван-Гога — женщина ведь не бывает старой.

Теперь она не бросала вызов общепринятым вкусам, а напоминала о том добром и вечном, что заключено во всяком настоящем искусстве.

Пожалуй, она была ближе к клавесину, чем к саксофону. Но всего ближе она была к нам.

Взгляд Жанны скользил по нашим лицам и иногда омрачался, иногда даже отражал страх, но гораздо чаще сиял. Она была ближе всего не к клавесину и саксофону, а к вечной красоте; впрочем, перечисленные инструменты тоже имеют к вечной красоте некоторое отношение.

Может быть, Жанна огорчалась, не видя среди собравшихся Девочки с персиками и мадонны Литты, своих сестер — младшей и старшей; а может быть, она видела их даже явственнее, чем нас, приглашенных на вернисаж.

Черноглазая Девушка с веером выглядывала из рамы, как из окна поезда. Пикассовский Мальчик остановился на краю дворцового зала с наборным блестящим полом и думал о том, что хорошо бы прокатиться от стены к стене, как на катке. Любительница абсента тянула привычный напиток, вспоминая непоправимое прошлое.

Все же в ее взгляде были и доброта и нежность. Мы переходили от картины к картине всей толпой, и Иосиф Абгарович называл имена художников:

— Пабло Пикассо... Винсент Ван-Гог... Огюст Ренуар... Анри Матисс... Клод Оскар Моне...

Он их провозглашал, как имена самых сиятельных королей на сказочном королевском балу. И пусть у одних был во владении маленький остров, у других — большая страна, они все равно были истинными королями.

Или как старшина выкликает солдат на утренней поверке: Пикассо?! Здесь!.. Матисс?! Здесь! Ван-Гог?! Здесь... Они и были одновременно королями искусства и — многие из них — солдатами революции — Матисс, Пикассо.

Мне вдруг вспомнился день закрытия Музея новой западной живописи в Москве... Очень суетились



О. РЕНУАР.

Девушка с веером.

непонятные лица, тоже, как выяснилось, художники по профессии...

И один из них тянул к себе «Женщину, держащую плод» Поля Гогена.

— Вы же так не любите Гогена... их всех! — со слезами повторяла администраторша, слабая и беззащитная, пытаясь удержать картину.

— Ненавижу, а не «не люблю», — побагровел «художник». — Но мне-то Гоген не повредит. Я повешу картину в самом темном углу мастерской и буду отталкиваться от нее! Отталкиваться! — повторил он несколько раз.

Другой художник волочил к дверям ящик с фарфором, покрытым абстрактным орнаментом.

И вдруг появился Орбели.

Я его видел тогда первый раз, и мне он показался огромным. И хотя он был одет совершенно обычно, с академической аккуратностью, мне он показался Витязем в тигровой шкуре.

Как только появился Орбели, картины и фарфор стали тщательно запаковывать для отправки в Эрмитаж.

...Иосиф Абгарович называл имена художников. И каждый раз, когда замолкало эхо его звучного голоса и затихал восторженный гул приглашенных, отчетливо звучали слова N:

— Нет, это, несомненно, не искусство!

Или еще резче:

— Хаос красок! Так в жизни не бывает! Шарлатанство!

Или торжественно:

— Французское искусство умерло вместе с Жаком Огюстом Домиником Энгром и Эженом Делакруа.

Голос N возникал из стихающего шума, как остов

затонувшего корабля голо и мертво, со страшно-той ржавостью выступает из моря, когда откатывается волна.

Его покрывала следующая волна, но он оставался в памяти, как бы разрезая праздник ржавыми, но острыми гранями.

А праздник был все-таки!

Картина Клода Моне «Мост Ватерлоо» — ее еще называют «Туман в Лондоне» — висела у окна.

На нее надо было смотреть издали. Только тогда из воздуха, из сине-фиолетовой волны света выступали мост, река, предметы реальные, но тоже настолько пронизанные этим туманным, размытым светом, что не нужно было иного доказательства дискретности материи. И казалось, что каждая отдельная молекула ограничена от всех других светом. Висит, плавает в этом свете.

— Профанация! — еще резче обычного прозвучал голос N. — Не «Туман в Лондоне», а туман в искусстве!

Лицо Иосифа Абгаровича, которое сперва выражало почти детскую обиду, стало гневным, остро и угрожающе просветлев.

— И это тоже «профанация, туман, хаос красок»? — проговорил он, всем телом повзвнувшись к окну.

Мы непроизвольно повторили его движение.

Там, за дворцовым окном, в широкой этой и прекрасной раме, за чуть заиндевевшими стеклами видна была Нева, ее берега, с Петропавловской крепостью, с «Авророй».

Там, над Невой, светились сейчас и другая Аврора.

По невавскому льду бежали, струились, сбегались и разбегались струйки поземки. Из них неподвижно поднимался — или он опускался ливнем сверху — свет. Розовый, чуть фиолетовый и синий.

Самое удивительное заключалось в том, что он был совсем такой же, как на картине.

— И это тоже хаос красок и ничего больше?! — снова услышал я гневный голос Орбели.

— Конечно, — поспешил принять вызов N, но осекся.

Кажется, все-таки он осекся, не закончив фразы.

Свет, совершенно такой же, как на картине, только морозный, посеребренный инеем и позлащенный Петропавловским шпилем, поднимался, глаженным охватывая мосты, пронизывая их: Дворцовый мост, если смотреть в сторону моря, и Кировский мост — вверх по течению.

Мгновение почудилось, что мосты взмахнут крыльями и улетят. Но они не сделали этого, иначе прервалась бы связь между двумя половинами великого города.

Такой была Нева в то утро — это можем подтвердить даже под присягой все мы.

«Кроме тех, кто боится света!» — мысленно должен оговориться я, вспомнив разговор в запаснике Эрмитажа.

Тот, кто боится света, подойдя к израненному, истекающему кровью рыцарю, только что одержавшему величайшую победу над самым злым великаном — в масштабе рыцарских времен, — скажет:

— Ты снова нацепил на голову медный таз цирюльника и, как полоумный, бросился с копьем на ветряную мельницу?!

Он подкрадется вечером к Мальчику, который сидит в полумраке, склонившись над столом, и скажет скрипучим голосом:

— Что это за мусор у тебя? Выбрось сейчас же!

— Как же я могу выбросить это, — робко спрашивает Мальчик, — если это гномики?

— Какие гномики! — сердито прикрикнет боящийся света. — Это щепка, это шахматный конь с отломанной головой, это ржавый гвоздь, это пуговица.

— А почему у них острые бородки и синие глаза? И почему они делают волшебства?

Попробуйте ответить Мальчику.

Да, я предвижу возражения: «Будьте объективны, все же вы ведь музейный работник. Ведь это действительно конь без головы, а это щепка, а это...»

Пусть так! А что, если среди негодных предметов, перечисленных вами, — среди них, между ними, за ними, в их тени — есть хоть один гномик — в колпаке, с острой бородкой и волшебническим даром?

А вы выметете его вместе с мусором?

Или, что еще хуже, заставите Мальчика вымести?

Что вы тогда ответите Мальчику, потом, когда он вырастет и спросит вас, как равный равному?

Человек с закрытыми глазами — закрытыми так долго, что веки у него срослись, — пройдет через мир и скажет, что не заметил огнедышащих драконов, испепеляющих все живое. Что ответить ему мне, который видел Освенцим и пепел миллионов сожженных, дышал этим пеплом?

У всех людей нашего поколения, у моих сверстников пепел в легких чуть ли не с рождения; может быть, от этого нашему поколению суждена такая до ужаса короткая жизнь.

Что делать с ними, не желающими видеть свет? Сбрасывать с Гарпейской скалы?

— Ни в коем случае, — решительно воскликнула одна очень старая, сохранившая, однако, всю свою красоту и полную ясность мысли дама. — Ни в коем случае! — сказала она, когда я передал ей суть разговора в запаснике Эрмитажа. — Это не поможет!

— Что же вы посоветуете? — спросил я.

— Не допускать появления людей, боящихся света.

— Как это «не допускать»?

— Очень просто! Надо промыть новорожденному глаза слабым раствором борной кислоты. А потом... Потом отнести его в лес и отдать на воспитание Лисичкам; я имею в виду лисички — грибы. Они болтливы, но неделя болтовни не повредит ребенку, ведь и ему нужно научиться говорить. А потом поручите его не слишком старому, однако и не столь уж юному Белому Грибу: вот уж кто молчалив, но если скажет, то одну лишь чистую правду. А потом пусть он несколько дней проживет на болоте, среди незабудок, на мшистой кочке под наблюдением Подосиновика. Каждый знает, что нет лучших сказочников, весельчаков и песенников, чем рыжие, красно-головые, как выражаются в народе; Подосиновик не исключение. А потом? Я бы посоветовала отдать его на попечение Клесту. Конечно, Клест не так уж красив, но, выклеывая семена из еловой шишки, он висит на ней вверх клювом и видит многое такое, что остается неизвестным даже ласточкам, хотя они летают высоко и отличаются наблюдательностью.

Он-то уж точно знает, на каких именно планетах есть ели и еловые шишки и на каких их нет.

А потом? Потом выведите Мальчика из леса в мир и задайте ему три вопроса: кто это такая? кто это такой? что это такое? Но если даже Мальчик правильно ответит на все вопросы: «Это фея, я люблю ее»; «Это дракон, я убью его»; «Это дорога в неизвестное, по ней я пойду»... Да, даже если он выдержит экзамен, не считайте воспитание Мальчика законченным. Прежде чем пустить его одного в дорогу, непременно отведите его в Ежину нору. Не бойтесь на несколько дней оставить ребенка без солнца. Пусть он пройдет Ежину науку от первого

до последнего слова. Иначе ему придется плохо, когда он останется один. А ведь уж так устроено, что он непременно рано или поздно останется один на один с жизнью. Пусть он твердо запомнит, что Еж, возвращаясь из леса в нору, снимает свою колючую шубу, вешает на гвоздик и надевает мягкую пижаму. И ежата, возвращаясь из леса в нору, снимают колючие шубки и надевают пижамы. Но, выходя из норы в лес, Еж никогда не забывает снова надеть колючую шубу; и ежата тоже никогда этого не забывают. Так устроен мир. Пусть он усвоит не такую уж сложную Ежину науку, тогда пора и в дорогу.

— И Мальчик не будет бояться света? — спросил я.

— Ни в коем случае! — ответила старая женщина, сохранившая всю свою красоту, ум и обаяние.

Есть основания доверять ей. В прошлом она совершила серьезную ошибку по моральным правилам тех древних времен. И была строжайше наказана. И с тех пор, еще десять или сто миллиардов раз, без малейшего раскаяния, а, напротив, со счастьем в сердце, повторяла эту ошибку, родив десять или сто миллиардов детей — мальчиков и девочек. Ее звали Ева. Обширный опыт научил ее многому.

— ...Музей закрывается! — сказала женщина с вязаньем.

Я очнулся. В зале было пусто. Не было ни Иосифа Абгаровича, ни N, и никого из приглашенных. Жанна Самари спала; не сбросив даже бального платья, она свернулась клубком, со счастливой улыбкой на губах. Мальчик, это и был тот самый Мальчик, о котором рассказывала Ева, Мальчик Пикассо, свистнул свою черную собаку и пошел куда-то.

Я вышел вслед за ним.

С тех пор я долго не видел N и ничего о нем не слышал. В октябре шестьдесят шестого года открылась выставка художника Роберта Фалька.

Было холодно, снег падал и таял. На мостовой и тротуарах стили плоские лужи; зима наступала, но вяло, у нее не было сил прикрыть их хоть самым тонким ледком. Мандарины в лотках дрожали в своих желто-зеленых демисезонных пальто.

Когда-то Суриков, увидев на выставке «Финляндский этюд» Фалька, сказал:

— Запомните, молодой человек: вы художник! И вы Фальк!

Как казалось нам, музейным работникам, этими короткими словами он принял Фалька в клан настоящих живописцев, посвятил в рыцари и одновременно отметил его особенности, индивидуальность, которая, впрочем, только и дает право в этом клане пребывать. Ведь у всех рыцарей была прекрасная дама, но у каждого своя: у Дон-Кихота — Дульсинея Тобосская, у Ван-Гога — Христина, или Син, как он ее нежно называл, беременная уличная женщина, подобранная им на панели Гааги, у Брюллова, может быть, «Всадница» — прекрасная Пачини.

Очередь растянулась до угла и двигалась медленно. Тут было много нас, стариков, но гораздо больше молодежи.

Длинный выставочный зал напоминал конечность членистоногого, кузнечика хотя бы, с вывернутыми суставами. Проходя вдоль зала, надо было спускаться в подвал, подниматься наверх, вновь спускаться и подниматься.

Сам художник на выставке не был — он умер за восемь лет до того, — но живое его присутствие ощущалось сильно и непрерывно.

Поясной автопортрет, написанный в 1957 году, за год до смерти, открывал экспозицию. Из-под крас-

ной фески зорко, с ненасытным любопытством, не погашенным смертью, глядели в глубину зала синие глаза. Иногда они останавливались на одной картине, одном лице, а иногда охватывали все разом: предметы, людей, картины и запотевшие окна, за которыми падал и падал снежок; неуверенно ложилась на землю зима. Порой взгляд темнел, но в следующее мгновение загорался восторгом.

Я спросил у экскурсовода, милой женщины, хорошо знавшей художника: действительно ли у Фалька до старости были такие ярко-синие глаза?

— Да, да! — торопливо ответила она. — Когда он впервые пришел к нам в гости, мне показалось, что по скатерти, потом по полу, по стенам прокатилась и повисла в воздухе синяя искра. Как... Она задумалась и с еле заметной улыбкой договорила: — Как солнечный зайчик...

В зале было очень тихо, хотя его наполняли сотни людей. Среди них я заметил и Н. Глаза его по-прежнему закрывали огромные очки в платиновой оправе с иридиевыми линзами; губы хранили все ту же ироническую улыбку, такую неизменную, что казалось, он надевает ее в присутственных местах, а дома снимает и хранит в бальзамическом настое. Очевидно, Н не видел картин. Иначе чем объяснить то, что он свободно проходил сквозь картины, стеллажи, стены, совершенно не вредя ни краскам, ни холсту, ни рамам?

Чаще всего синеглазый старик в красной феске вглядывался на синеглазого юношу в желтой кофте — автопортрет, написанный лет за сорок до смерти, и они неслышно, чтобы не отвлекать посетителей выставки, беседовали друг с другом.

— Ты на это надеялся? Об этом мечтал? — тревожно спрашивал старик: не как отец сына, а как сын отца. — Да... Об этом... — отвечал юноша.

Я подумал, что биографию художника можно было бы озаглавить: «Счастливая жизнь Роберта Фалька». Счастливая, потому что она не пресеклась смертью. И потому, что через эти жизни, через все горе текло, ни на йоту не отклоняясь от своего течения, творчество.

В середине зала лежали под стеклом, выделяясь среди других, два наброска: «Тяжело больной» и «Слушают музыку».

Молодой еще человек долго, не шелохнувшись, стоял, вглядываясь в свой карандашный портрет, — этого человека нельзя было не узнать, хотя на рисунке он казался обреченным, а сейчас выглядел здоровым. В глазах его читалось: «А что, если именно портрет вобрал в себя недуг? Что, если в ремесле художника заключена и такая сила: вбирать чужую беду, гасить ее?»

На рисунке один из слушающих музыку потрясенно закрыл лицо руками. Лицо его светилось сквозь ладони; и так же, неярко, светились лица тех, кто смотрел на картины.

Колорит большинства картин был сдержанным, скорее даже сумрачным, но, глядя на них, вспоминались слова из евангелия, которые повторял в письмах брату Тео Винсент Ван-Гог: «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его».

Свет этот был то белый, утренний, как в Женщине в белой косынке и в Женщине в шали, то вечерний — свет фонарей, рассеивающих тьму парижских улиц, то приглушенный облаками осенний свет, серенький, но не гасящий яркости листья — в пейзажах Загорска, то свет надвигающейся или только что проскользнувшей над Невой белой ночи.

Не думали ли те, кто так долго стоял у портретов Шурочки, милой и застенчивой Марсели, у портрета Женщины в белой косынке — особенно женщины, не

думали ли об этом? — что во внимании, пусть даже мимолетном, в преклонении художника есть свойства, недоступные другим искусстваам: оно дарует вечную молодость. Ведь даровал ее Рафаэль девушке из Перуджи или из Сиены, с которой писал мадонну Конестабиле: тогда ей было лет восемнадцать, должно быть, а сейчас исполнилось бы четыреста восемьдесят или четыреста девяносто.

На некоторое время я отвлекся от картин и последовал за Н. Поспевать за ним было нелегко; ведь он проникал сквозь стенды, стены, а мне приходилось обходить все эти препятствия. Справедливости ради надо отметить, что если Н не замечал предметов живописи, то и люди, заполнившие выставочный зал, в свою очередь, не замечали его. Во всяком случае, большинство из этих людей проходило мимо Н, не здороваясь. И казалось странным, даже загадочным то, что если в выставочных залах Н приобретал свойство проходить сквозь стены, то на лестницах и в подвальных переходах он вел себя так же, как и другие.

Знакомый физик, человек знающий, подробно расспросив меня, высказал суждение, что поскольку выставочные залы отличаются от подвалов в первую очередь и даже единственно характером освещения, то, может быть, именно свет наверху, в залах, менял физические константы Н и вызывал, как он выразился, «парадоксальный эффект проницаемости».

В третьем, последнем зале я увидел студенток С. и Р., казалось бы, бесследно исчезнувших тогда, во время практических работ. Они не постарели, хотя с той поры прошло пятнадцать или двадцать лет, были по-прежнему хороши — каждая по-своему. Но при этом очень изменились. В особенности совершенно иными стали их глаза, вызывая в памяти пушкинскую строку: «...вечер, когда туманилась луна».

Н также одновременно со мной или даже на мгновение раньше увидел и, несомненно, узнал любимых учениц. Если прежде он шел степенно, гордо поднимая голову, то тут заторопился и с несвойственной ему прежде суетливостью бросился к ним.

Но и они не заметили его. Видимо, этот факт поразил Н. В обычной белизне его лица проступило нечто серое, неживое. Он сгорбился, словно бы стал ниже ростом. Помедлив, он прошел мимо студенток к стене, выходящей на улицу, и исчез.

Я бросился к окну, взволнованный и даже, как это ни странно, огорченный. Н не было видно. Падал снежок, стили черные лужи, снежинки касались их поверхности, как падающие звезды, и тонули. Медленно двигалась к выставочному залу очередь, все не сокращаясь в длине.

Прежде чем покинуть выставку, я вернулся в первый зал. Синий сноп света струился из глаз Автопортрета в красной феске.

Я знал, что при жизни художнику не выпало это счастье — видеть все свои работы вместе, и видеть не в горьком одиночестве. Счастье пришло после смерти; для нас с вами, обычных людей, это было бы безнадежно поздно и не нужно. А для художника? Нет, для него не так, не безнадежно поздно.

Синие глаза теперь скользили по полотнам, написанным в последние годы, месяца, даже дни жизни. Они улыбнулись Шурочке, подсолнуху, горящему в неярком букете, голубю и розе.

Жестокие правители древнего Урра приказывали хоронить себя вместе со всем самым прекрасным, что было у них: со своими женами, прислужницами, своим золотом и драгоценностями. Художники поступают иначе — они прекрасно оставляют людям. Женщины, цветы, голубка проводили художника до могилы, но остались на земле.



СРЕДИ
КНИГ

Мария
Прилежаева

БАЛЛАДА О ПОДВИГЕ



п журба
АЛЕКСАНДР
МАТРОСОВ

не совсем идеальный и совершенный в обычной жизни человек способен совершить подвиг, когда к этому его призывает долг гражданина, сына своей Родины. В этом, на мой взгляд, оптимистический смысл книги.

Потому закономерен ее успех, понятна сила ее влияния. Школьники, учителя, воины Советской Армии пишут в адрес автора о волнении и высоких душевных порывах, пережитых при чтении повести. Крупный вьетнам-

ский прозаик Нгуен Туан сказал писателю при встрече:

— Ваша книга об Александре Матросове хранится в походном мешке каждого третьего вьетнамца, сражающегося за Родину.

Пробитую вражескими пулями книгу «Александр Матросов» нашли на груди под ватником у корейского народного воина Ким Чон Квора, закрывшего по примеру Матросова амбразуру вражеского дота своим телом.

Но почему именно сейчас я задумалась над жизнью книги, написанной более 17 лет назад, давно вошедшей в золотой фонд литературы о народных героях? Повод странный. Странный и грустный. Не веришь глазам, читая в «Учительской газете» за 11 апреля 1967 года статью «Доброе имя героя». Что это?! Неужели есть нужда защищать доброе имя героя Александра Матросова? От кого? От писателя Павла Журбы? Да полно, прочитана ли критиком книга? Невольно думается, что доцент, кандидат исторических наук, пропагандист, как старательно перечисляет свои анкетные данные автор статьи Т. Михайлова, захваченная идеей обвинить писателя в очернении Александра Матросова, его довоенного прошлого (когда он действительно был одним из тех, кого мы называем трудновоспитуемыми подростками), не потрудилась даже внимательно прочитать книгу Павла Журбы. Или так уж совсем ничего не поняла, несмотря на доцентское звание? Или все поняла и несправедливо искажала суть книги? Зачем все это?

Мне хочется вопреки несправедливой, противоречивой статье Т. Михайловой еще и еще раз порекомендовать читателям «Юности» правдивую книгу старейшего советского писателя-коммуниста.

Весть о подвиге Александра Матросова во время Великой Отечественной войны сразу облетела всю страну. Люди с восхищением узнавали о рядомом пехоты, 19 лет от роду, который бросился на фашистский дзот и закрыл его своим телом. Пулемет заглох. Цепи советских воинов, прижатые огнем к земле, вдруг, не ожидая команды, словно подхваченные шквалом ветра, все, как один, поднялись и кинулись вперед. Вражеские позиции были захвачены.

Писатель Павел Журба так описывает душевное состояние Александра Матросова перед свершением подвига:

«Александр вскочил, мгновенно осмотрел свое боевое хозяйство, но у него уже не было ни одной гранаты и опустел автоматный диск. Оставались только неизмеримая душевная сила и святое желание — скорей и лучше исполнить свой воинский долг. Обветренное, почти детское лицо его озарила богатырская решимость. Теперь он был сильнее огня, сильнее смерти. Он ощутил близость победы, глаза его блеснули яростным вдохновением, тело стало послушным и легким, как в полете.

И он стремительными прыжками побежал вправо, как бы мимо дзота, потом, почти поравнявшись с ним, резко свернул влево и, подаваясь левым боком вперед, подбежал к задымленной, черной, изрыгающей огонь амбразуре и грудью своей закрыл ее. Пулемет захлебнулся. Умолк».

...Прошло почти 25 лет. Конечно, народ никогда бы не забыл Александра Матросова. Но как помогает памяти народной запечатленный в книге живой, яркий образ героя! Писатель Павел Журба написал книгу об Александре Матросове, исполнив свой

гражданский писательский долг. Писал он о Матросове первым, вскоре после событий, исследуя обстоятельства непростой жизни героя, ставя задачу быть верным правде жизни, только правде.

Факты говорят: не всегда отличные школьные отметки гарантируют высокое поведение в дальнейшей, взрослой жизни. И, наоборот, озорство и бунтарство отрочества часто выливаются впоследствии в ясность духа, смелость характера.

Воспитывает не только школьная парта! Весь опыт Макаренко показывает, как сложен, многолик, многообразен процесс воспитания. Как много значит осмысленный труд, пример воспитателя, книги, впечатления и влияние окружающей жизни.

Писатель Павел Журба показывает, как постепенно, шаг за шагом, из «трудного» подростка с нелегкой судьбой под влиянием нашей, советской действительности и хороших людей выросла Человек. Павел Журба пишет о нем с отцовской нежностью и любовью, и эта любовь заражает, придает особую теплоту книге, захватывает и волнует читателя.

Десятки изданий в Советском Союзе и за рубежом выдержала эта интересная книга. Ее читали миллионы и миллионы людей. Страница за страницей узнавали они нелегкую жизнь Саши Матросова, вместе с ним готовились к воинской доблести, подвигу, ибо — писатель Павел Журба выразительно это доказывает — подвиг Александра Матросова был не внезапным порывом, он был подготовлен множеством честных и бесстрашных поступков в довоенной и фронтовой жизни Александра Матросова.

В чем еще, мне кажется, значение книги Павла Журбы? Она показывает, что каждый, даже и

Мысленно выделяю среди тысяч людей, мгновенно раскупивших второй выпуск альманаха «Прометей» (изд-во «Молодая гвардия»), несколько очевидных типов читателя.

Любителю истории, литературных раскопок, чувствующему красоту гипотезы, аромат легенды и прочную жесткость вновь найденного факта, — одним словом, человеку, интересующемуся прежде всего тем, что действительно было:

чик конца XVIII и начала XIX в. Род. 1745, ум. 1812», — между тем, как из скитаний и странствий его встают фигуры Баженова и Джефферсона, туманные берега Св. Лаврентия и знойные ветры Мартиники; а вот — воссозданная Л. Гроссманом по письмам и свидетельствам трагическая любовь Лики Мизиновой к Антону Чехову, спалившая целую жизнь... И еще сюжеты, и еще драмы, и еще пожары страстей человеческих.

тее стал в европейской культуре эмблемой человеческой героики духа — в этом смысле название альманаха точно). Но, пожалуй, такое объяснение сколь верно, столь и общо. Величие человека принимает разные формы, а человек ставит себе разные цели. Так что эти скобки лучше раскрывать сразу. Попробую раскрыть их, хотя знаю, что моя попытка расшифровать нынешнюю тягу к образу «замечательного человека» не более чем очередная гипотеза.

Первая черта — достоверность деяния. Документальный стиль, популярный в современной прозе, отражает всеобщий интерес к действительно бывшему, а не выдуманному, вымышленному.

Вторая черта — существенная: это интерес к миру ценностей интеллектуальных, к работе мысли. С этим связано другое: внимание к жизни замечательного человека, к судьбе личности, где явлен смысл целой жизни.

Замечательный человек нашего времени может заниматься узкой проблемой, он может не претендовать на решение судеб мира, но если он верит в свое дело, — он человек. Не потому ли «физики» с их самоиронией стали символом нынешней неуязвимости духа, что они около своих «законов» менее зависят от качаний судьбы? Маленькая деталь из очерка Ю. Писаржевского: в молодости, работая у Рентгена, Иоффе поставил опыты самовольно. Рентген прислал ему «гневную открытку, которую Иоффе любовно хранил в своем архиве». Любовно! — в этом есть что-то нынешнее. Люди гnevаются, люди могут даже сходить с ума, но $E=mc^2$, не правда ли? У человека есть опора, и он может улыбаться.

Эта опора — добро, и здесь — третья черта нынешней трактовки мифа о Прометее, черта важнейшая. Почему Альберт Швейцер, признанный профессор философии, органист с европейским именем, в тридцать лет снова идет в студенты, и становится медиком, и едет в джунгли, чтобы лечить людей, и живет там до девяноста лет, и, по словам Б. Гилленсона, «не раскаивается в своем решении»?

Как говорится, в жизни всегда есть место подвигу. А условия могут быть сколь угодно трудны. Нет рецептов быть человеком. Но и нет такой ситуации, в которой невозможно быть человеком.



Л. АННИНСКИЙ

МЕРА УСПЕХА



— гипотетически восстанавливаемая Б. Яковлевым по разрозненным замечаниям в ленинских сочинениях, ненаписанная автобиография Ленина; публикуемые Ф. Кузнецовым неизвестные страницы воспоминаний Н. Шелгунова; неизвестное письмо К. Батюшкова; неизвестные подробности похищения у С. Соболевского тропининского портрета Пушкина; не публиковавшиеся никогда письма Мечникова-старшего, где он дает, мягко говоря, убийственные (вполне в духе шестидесятников) характеристики сочинениям Льва Толстого. И еще десятки находок, публикаций, подробностей, штрихов, черточек нашей культурной истории...

Любителю захватывающего чтения, романтики и приключений:

— блестящие страницы биографии Гайдара, в четырнадцать лет красного командира, — страницы, написанные Борисом Камовым; жизнеописание Федора Коржавина, о котором было известно по энциклопедии: «перевод-

Тонкому ценителю литературы, изобразительного искусства, любителю стиливого изящества во всем — в литературе, в резьбе по дереву, в разговоре:

— репродукции пермской деревянной скульптуры, сопровождаемые старой статьей Луначарского (у кого книга под руками, взгляните в глаза Саваофа из Лысьвинской церкви, в лик Спасителя из храма в Усть-Косье — вот высота духа, далекая от суеты); далее: философские эссе Честертона, прекрасно переведенные Н. Трауберг и предваряемые ее же отличной статьей... еще одна, из поколения в поколение хранимая острота Вольтера... Может быть, все это ценности разнородные, но их объединяет то, что в наш технологический век называют «большое», «очень большое», «удивительно большое мастерство».

Читатели разного вкуса и толка находят в альманахе «Прометей» и тексты разного вкуса и толка, но главное не в этом. Самый принцип, избранный составителями этой книги, утоляет нашу жажду глубже раскрыть духовное в человеке (миф о Проме-



ТРИ ПИСЬМА НА ОДНУ ТЕМУ

Дорогая редакция!

Я перешла в десятый класс. Летом, после того как мы сдадим экзамены, перед нами откроется большая дорога в жизнь, и хорошо тому, у кого есть определенная цель, мечта, к которой он стремится. Но ведь она есть не у каждого, как ни странно. Многие из выпускников средней школы поступают в институты только потому, что куда-то надо поступить, поступают без всякой мечты. «Все поступают, и я поступил!» И очень часто оказываются в жизни не на своем месте. А из-за них страдают те, которые, может быть, очень хотят учиться именно там, но у них нет тех возможностей для поступления, которые есть у первых.

Так вот, я боюсь, что могу занять тоже не свое место в жизни. Мне кажется, что у меня нет определенной цели: мне нравится очень многое, но больше всего — профессия юриста. Но я не знаю, мечта это или нет.

Я не знаю, почему это происходит, может, оттого, что я мало знаю об этой профессии? А вдруг есть такие профессии, которых мы не знаем, а они могли бы стать нашим призванием. Напишите об этом.

С комсомольским приветом

ЛИДА М.

II

Дорогая редакция!

Зовут меня Женей. Учусь в политехникуме на химическом отделении. Живу в общежитии.

Через два дня директор подпишет приказ о моем исключении из техникума.

Дело в том, что, когда я поступила на свое отделение, а это было полтора года назад (я уже на втором курсе), я почти ничего не знала о своей специальности. На первом курсе нам ничего не говорили о ней. Сказали, что будем работать на отделочной фабрике, в химических лабораториях, на химических заводах.

В школе я ненавидела химию. Так почему же я пошла сюда? Просто я хотела проверить себя.

На первом курсе техникума я училась по химии довольно хорошо. Но меня как-то не тянуло к этому предмету, он был безразличен мне. На втором курсе это стало еще заметнее. И вот теперь я расплачиваюсь за свое легкомыслие.

Когда я сказала, что хочу уйти из техникума, мой классный руководитель ответил, что это — безумие, что я обязательно должна окончить техникум, что осталось совсем немного, и я стану специалистом. А какой специалист выйдет из меня, если я совсем не

заинтересована в своей специальности? Разве я смогу работать хорошо, если не люблю свою работу?

Когда я сказала, что уйду из техникума только потому, что не люблю свою профессию, многие были удивлены. Они-то ведь учатся, хотя тоже не любят эту специальность.

Что я буду делать дальше? Поступлю на работу, окончу вечернюю школу, а потом буду поступать в институт. Не химический.

К чему я все это писала? Я рассказала о себе потому, что таких, как я, не один и не два. Нужно сделать так, чтобы не было таких. Может быть, кто-нибудь еще задумается над этим.

С приветом

ЖЕНЯ К.

III

Дорогая редакция!

Я учусь в восьмом классе, мечтаю поступить в педагогическое училище. Поделилась я своей мечтой с подругой. И у нас возник спор. Она говорит, что учитель не так важен, как врач. Я не знаю, но я твердо решила стать учителем. Свою мечту о первом уроке я записала. Прошу вас, прочтите и ответьте мне.

«ПЕРВЫЙ РАЗ В ПЕРВЫЙ КЛАСС»

Я иду по длинному пустому коридору, шаги гулко отдаются в другом конце. Прохожу много одинаковых дверей. 3-б, 2-а, 1-б — это, наверно, мой. Прислушиваюсь. В классе стоит робкое жужжание, похожее на жужжание пчелиного роя. Нарочно громко открываю дверь, становится тихо. Тридцать пар глазенок смотрят на меня. Я читаю в них любопытство и страх перед новой жизнью. Они стоят на пороге этой новой, светлой, счастливой жизни, первым проводником в которую должна стать я. Смогу ли я? Справлюсь ли? Поймут ли меня эти крохи так, как я хочу? Но сейчас меня это уже не волнует, я забыла обо всем. Я стою перед ними, как перед строгой комиссией на экзамене. Прохожу к столу. Говорю: «Здравствуйте, дети!». В ответ звучит разноголосое «Здравствуйте!». Объясняю, как надо приветствовать учителя. Они внимательно вслушиваются в каждое мое слово. Малыш на первой парте улыбается, показывая свои неровные зубы.

Я смотрю на него и представляю этого малыша студентом. После удачно сданного экзамена он так же счастливо будет улыбаться. Перевожу взгляд на его соседку. Подперев маленькими кулачками голову с двумя большими белыми бантами, она смотрит в окно. Я невольно смотрю туда: по голубому небу летит стая белых птиц, похожая на угол, начерченный на до-

ске неумелой рукой первоклассника. О чем думает эта девочка? Может быть, через несколько лет она точно так же, как и я, войдет в класс с девочкой с бантами будет так же смотреть на белых птиц...

Я начинаю урок. Читаю список фамилий и имен моих учеников. Один за другим встают малыши, произнося одни тихо, другие громко, с задоринкой: «Я!» Кончив список учеников, я называю себя.

Девочка на последней парте, с большими голубыми глазами и широким носиком улыбается и, чуть картавая, говорит: «А я тоже Людмила Андреевна!» Тут звонит звонок. Кончается первый урок в моем первом классе...

Людмила ИВАЩЕНКО

ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ

В день розыгрыша лотереи одна девушка среди серьезного разговора вдруг воскликнула: «Слушайте, что это мы с вами сидим и разговариваем? А может быть, я уже легковую машину выиграла?» И побежала проверять билеты.

Эта отчаянная надежда на случайный выигрыш мне вспомнилась, когда я читала письмо девятиклассницы Лиды М. Она пишет: «А вдруг есть такие профессии, которых мы не знаем, а они могли бы стать нашим призванием? Ей страшно, что пока она учится в школе и робко мечтает стать юристом, где-то существуют необыкновенно заманчивые профессии, овладев которыми человек может стать счастливым.

Но знаешь, Лидя, очень мало профессий, о которых ты не слыхала. В книгах, журналах, в газетах, в разговорах вокруг ежедневно упоминаются сотни самых разнообразных специальностей. Так что дело не только в профессии, но и в том, к чему *сердце* лежит. Этого в школе не знают многие. И многие же из школы сразу идут в институты. И, несмотря на все трудности, многие в институты попадают. А попав, на первом курсе переживают то же, что с такой откровенностью рассказала о себе Женя К. Переживают и неудовлетворенность, и страх, и даже отворачивание. Так бывает довольно часто. Потому что в своем стремлении попасть в институт или техникум человек рисует себе как бы идеальный мир высокой науки, а получает будничные трудоемкие «предметы» и, что тоже немаловажно, после многолетней дружбы своего школьного класса сталкивается подчас с разобщенностью первокурсников, которым нужен год-два, чтобы оглядеться, «притереться», успокоиться. Вот этот первый год, как и первый год семейной жизни, бывает для многих самым сложным. Дальше обычно большинство «находит себя», находит свое место в коллективе и определяет свой, личный интерес к той специальности, которой решил заниматься. Жизнь показывает, что призвание, настоящий интерес к профессии приходят обычно уже в процессе конкретного изучения дела.

Правда, бывает и так, что призвание не приходит. Но тут виновата не профессия, а сам человек.

Зачем Женя шла в химический техникум? Она объясняет: «В школе я ненавидела химию. Так почему же я пошла сюда? Просто я хотела проверить себя. И вот теперь я расплачиваюсь за свое легкомыслие». Вот так иные и замуж выходят назло кому-то.

Но знаете ли, если мы будем строить свою судьбу по принципу доказательства от противного, то ни нам, ни окружающим радости от этого не прибавится. Специальность пусть не навсегда, но на много лет определяет не только характер служебной деятельности человека; она изменяет и его личную жизнь. Представьте себе личную жизнь человека, который клянет себя и других и видит вокруг только раздражающие его факты: люди учатся, а ему кажется, что они приспособливаются; люди работают в лаборатории до ночи, а ему видится — врут и выслу-

живаются. Так жить нельзя. Конечно, такое ученье — вернее, такое мученье — надо бросить. Но не потому, что техникум или предмет плох, а потому, что в основу своего отношения с миром человек положил ложь. На этой почве ничего, кроме обиды и чувства какой-то неполноценности, вырасти не может.

Я лично считаю, что вообще не обязательно поступать в институт сразу после окончания школы. Если, конечно, у человека нет определенных, явно выраженных наклонностей. Проучившись год-другой, бросать институт трудно, страшно, а тащить свою неудовлетворенность еще страшнее, потому что это уже портит жизнь. Дайте себе возможность выбирать. Не профессию, а интерес в жизни. И в этом сложно помочь советом.

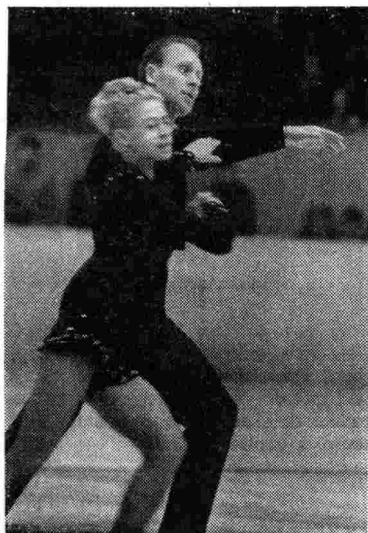
Для меня, например, самая романтическая и увлекательная работа — работа учителя, а спросите артистку цирка, так она скажет, что лучше всего летать под куполом цирка. А управляющий банком объяснит вам, как захватывающе интересно вести финансовые операции. Но о тех же профессиях случайные в них люди скажут с отвращением и горечью. Счастливы те, кто еще в школе знает, что ему нужно. Я просто с завистью прочитала письмо моей будущей коллеги Людмилы Андреевны Иващенко. Она еще школьница, Люда Иващенко. Но ее любовь к малышам — порука ее будущих успехов.

И еще одно. Некоторые путают талант с призванием. Талант есть у всех, только, к сожалению, не у всех он совпадает с профессией. Можно быть средним инженером и одновременно талантливым человеком. Этого слова «средний» все мы начинаем почему-то бояться. А ведь средний — это в данном случае значит не серый, а добросовестно работающий, знающий человек. И не надо этого пугаться. Надо бояться не того, что ты станешь добросовестным «средним» инженером или бухгалтером, а того, что ты можешь стать *посредственным, потеряннным, лишним* человеком. А так бывает, когда в ожидании озарения, в ожидании, что необыкновенная одаренность, как «перст божий», вдруг поведет тебя куда-то, человек теряет годы, ничего не делая, озлобляясь на все и на всех, просто «средне» работающих.

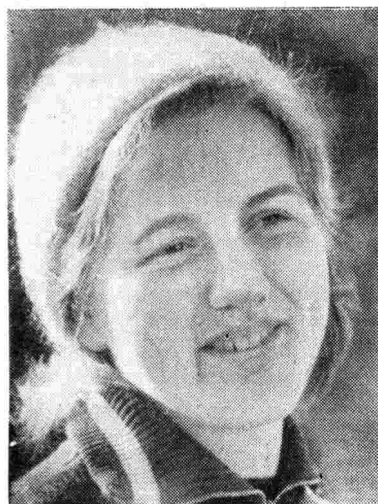
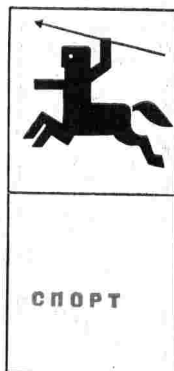
При выборе специальности надо думать и о степени государственной необходимости этой профессии и о своих возможностях. Нам приходится читать множество писем от тех, кто хочет стать артистами кино и театра, журналистами и писателями. Но об этом, о том, как и какие мечты осуществляются, о возможностях осуществления мечты мы поговорим подробно в следующий раз в связи с другими письмами. Если же путь выбран верно, «дорогу осилит идущий», как говорили древние.

Думайте ответственно и серьезно при выборе своей дороги в жизнь, а выбрав, смелее идите вперед, и ваши способности постепенно откроются в пути.

Л. ОЧАКОВСКАЯ



ИНТЕРВЬЮ ПЕРЕД СТАРТОМ



На снимках: вверху — Людмила Белоусова и Олег Протопопов, Евгений Гришин; внизу — Лидия Скобликова, Борис Майоров.

Фото Ю. Моргулиса.

В канун открытия X зимней Олимпиады пятеро из тех, кому доверено защищать честь советского спорта в Гренобле, отвечают на вопросы «Юности».

Эти пятеро — прославленные мастера фигурного катания: Людмила Белоусова и Олег Протопопов, не менее прославленные конькобежцы Лидия Скобликова и Евгений Гришин и, наконец, капитан сборной СССР по хоккею Борис Майоров. Каждый отвечает на четыре наших вопроса.

— Что для вас предстоящие Олимпийские игры? Какие надежды вы связываете с Греноблем?

Людмила Белоусова:

— Это наши третьи Олимпийские игры. В Скво Вэлли мы были девятыми, в Инсбруке, как вы знаете, первыми. Но удержаться на вершине много сложнее, чем на нее взойти. И все же надеюсь, что удержимся. Сейчас мы более уверены в своих силах, в своих возможностях, чем четыре года назад. Возраст? А до скольких лет танцевала Уланова?

Олег Протопопов:

— На льду Гренобля мы еще раз хотим доказать, что дело не только в возрасте, но и в зрелом мастерстве.

Лидия Скобликова:

— Я буду удовлетворена только победой. Как всегда. Сила воли, стремление и умение быть первым — эти высокие человеческие качества ценились во все времена и у всех народов. Настоящего спортсмена как раз отличает умение подчинить все свои чувства борьбе за победу. Я работала перед Греноблем намного интереснее и объемнее, чем прежде, а поэтому имею право на победу!

Евгений Гришин:

— После Гренобля мне будет 37. В большом спорте это, что там ни говорите, перебор. Для спринтера тем более. К тому же, это уже пятая моя Олимпиада. Три последних — конькобежные, а в 1952 году я ездил в Хельсинки на летнюю Олимпиаду велосипедистом. А ведь даже один раз быть участником Олимпиады — это немало, согласитесь.

Не хочется вспоминать Инсбрук, хотя «те коньки» я не выбросил, но это Инсбрук заставил меня бе-

гать еще четыре года, потому что я знал: проиграл тем, у кого мог и должен был выиграть. Я назначил себе еще четыре года совсем не в надежде, что Гренобль мне поможет уйти красиво. Что бы там ни говорили, я знаю, что «серебро» Инсбрука объясняется только одним: перед стартом я затупил конек... Ну, а насчет теории «вовремя уйти» — это нечестно перед любимым делом, если чувствуешь, что еще есть силы не просто бежать, но и побеждать. «Уйти вовремя» — это значит любить себя в спорте, а не спорт в себе. Многие «уходят вовремя» — и уносят в душе боль на всю жизнь. Знаете, на своем длинном и реактивном веку я слишком много проигрывал, прежде чем научился выигрывать. И уйти из спорта, не выиграв у тех, у кого могу выиграть, мне нельзя.

Возьму реванш в Гренобле, сказал я себе, проиграв в Инсбруке. И вот уже четыре года работаю над задачей, которую предстоит решать в Гренобле не более, чем за 40 секунд. Это надо для того, чтобы снова быть первым. Человеку, который имел счастье быть чемпионом Олимпийских игр, не может принести моральное удовлетворение любое другое место. Хотя для участника пяти Олимпиад — посчитайте, сколько лет приходится на большой спорт у этого человека?! — и бронза была бы в заключение большой наградой. Но учтите, это я говорю не о себе. Просто так, размышляю.

Вот что может ответить на первый вопрос «Юности» уже не юный Гришин.

Борис Майоров:

— Это мои последние Олимпийские игры. До следующих я, конечно, не «доживу». В хоккее удержаться на льду несколько посложнее, чем в скоростном беге или даже в фигурном катании.

В Инсбруке мы выиграли «золото». Думаю, что в Гренобле надо повторить этот успех.

— Каков ваш критерий при оценке соперника? И кто из возможных соперников, с которыми вы предполагаете встретиться в Гренобле, вызывает у вас наибольшее уважение?

Людмила Белоусова:

— Прежде всего честность. Победу надо добыть на льду, а не за кулисами.

Олег Протопопов:

— Степень интеллектуальности — вот мой критерий. Я очень люблю Юрия Власова. Его сила — это духовная сила.

А о своих сегодняшних соперниках мы с Людмилой ничего, к сожалению, сказать не можем. Практически за последние годы мы не видели ни одной из тех пар, которые оспаривали наряду с нами первенства мира и Европы. Сначала, в обязательной программе, мы вообще не смотрим соперников, чтобы не жечь нервы. А в произвольной программе мы обычно катаемся, когда большинство пар уже закончили соревнование. И, если признаться, я почти никогда не думаю о соперниках. Я не выступаю лучше, если буду сравнивать себя с кем-то. Мне это мешает. Перед стартом я вижу себя в глубине Вселенной!

Лидия Скобликова:

— Не каждому дано сочетать в себе завидные качества человека и спортсмена...

Конкретнее, применительно к возможным соперникам в Гренобле? На больших соревнованиях я часто встречаюсь с американскими спортсменками. Они готовы бросить перчатку любой сопернице, невзирая на титулы. Не правда ли, не каждому удается вот так безразлично относиться к высоким титулам...

Евгений Гришин:

— Мне импонируют лишь те соперники, которые обладают не только достойными для подражания спортивными качествами. Чисто спортивные достоинства должны лишь дорисовывать человека. Ибо нет просто спортсмена, а есть человек. Из всех мне известных спортсменов — конькобежцами ограничиваться не хочу — мои наибольшие симпатии вызывают: австралиец Кларк, американец Шолландер и, конечно же, наш Игорь Новиков.

Сожалею, что не могу назвать в этом ряду никого из наших молодых конькобежцев, которые входят сегодня в сборную страны. Очень сожалею...

Борис Майоров:

— Если под соперником мне следует понимать команду, то ко всем соперникам на Олимпийских играх следует относиться уважительно. Я уверен, что даже американцы — обычно соперник

не самый опасный — пришлют в Гренобль сильную команду. Нездаром они начали готовиться к Олимпиаде раньше всех. Так отвечаю я, как капитан сборной.

А как нападающий я бы сказал, что наиболее уважаемый мною соперник — канадский защитник Гарри Бегг. Он достоин уважения своим мастерством, справедливостью и уравновешенностью, сдержанностью. Особенно подчеркиваю последнее, ибо Гарри Бегг — игрок сборной Канады...

— Представьте, что уже — февраль, Гренобль, пять минут назад вы стали олимпийским чемпионом! Ваше первое интервью, ваши первые слова?..

Людмила Белоусова:

— Я бы сказала, наверно, что теперь буду очень ждать лета, что летом мы уедем с Олегом на два месяца на Черное море, будем уху на костре готовить... Еще семь лет назад мы нашли на кавказском берегу небольшую бухту и с тех пор каждый год там живем «дикарями». Олег — подводный охотник, а мне убивать рыб жалко, я охочусь лишь с кинокамерой. Прошлым летом мы провели в нашей бухте только десять дней. Нельзя было больше: к Олимпийским играм готовились. А теперь уедем на целых два месяца! Как представлю только: наш берег, Олег разжигает костер...

Олег Протопопов:

— Умница! Она хорошо вам ответила...

А мне — я знаю уже, так было в Инсбруке — становится грустно, когда стою на пьедестале. Страдал, переживал, готовясь к Олимпийским играм, и вдруг какие-то пять минут — так быстро, так легко это досталось. Помню, мне казалось в Инсбруке, что теперь все, все самое лучшее позади. Но потом спускаешься с пьедестала на землю, и все начинается сначала. Сам процесс тренировки для нас — огромное счастье. А медали — лишь «точки над и».

Лидия Скобликова:

— Если я выиграю «золото» хоть на одной дистанции, то скажу, что эта медаль была самой трудной, что все шесть предыдущих золотых олимпийских медалей достались мне легче.

Евгений Гришин:

— Выиграв золотую медаль чемпиона Олимпийских игр, ты в этот момент — самый счастливый в мире человек. Но вдвойне ты счастлив, если эта медаль уже не первая. Неправда, что победы приедаются. Год от года победы достаются все труднее. А потому эта золотая медаль для меня — самая дорогая.

Борис Майоров:

— Если бы интервью пришлось давать сразу же после победы, то, очевидно, сказал бы какую-нибудь очередную банальность: дескать, мы рады, было трудно и т. д. Когда к тебе обращаются с вопросами сразу после игры, ты мыслими еще в игре, ты еще на поле.

— Условия прежние, только пять минут назад вы не выиграли, а проиграли. Ваше первое интервью, ваши первые слова?..

Людмила Белоусова:

— Мы станем злыми, если проиграем, еще больше будем работать. А сказать я бы сказала, что спорт есть спорт, но через две недели начнется первенство мира, и мы надеемся взять реванш.

Олег Протопопов:

— Скажу, что я, значит, плохо поработал, значит, я не сильнейший. Нам-то не занимать этого чувства — горечи поражения. Мы не забыли ту долгую пору, когда были вечно вторыми. А если бы мы это забыли, то, наверное, уже не катались бы и уж, во всяком случае, не прогрессировали.

Лидия Скобликова:

— Как все настоящие спортсмены, я научилась выигрывать, потому что много проигрывала. А вообще-то невеликое счастье разбав-

лять олимпийское золото простыми зачетными очками. Но все мы смертны...

Евгений Гришин:

— А разве без медали я могу интересоваться журналистов?

Борис Майоров:

— Я не знаю, как реагировал бы... За последние пять лет у меня не было таких ситуаций.

Думаю, что в этом случае сами корреспонденты не решились бы ко мне подойти...

Надеемся, что наш четвертый вопрос никому из пятерых олимпийцев вторично, то есть в Гренобле, задан не будет.

«Юность» желает всем нашим спортсменам победы в Гренобле! Только победы!

Интервью вели: М. АЗЕРНЫЙ, Ю. ЗЕРЧАНИНОВ, Д. РЫЖКОВ.

Приз «Юности» — у Ларисы Захаровой

Дважды, в 1965 и 1966 годах, приз «Юности» — приз самому юному чемпиону страны в одном из олимпийских видов спорта — выигрывала московская пловчиха Тамара Соснова. Но год назад сама же Тамара сказала, что в третий раз приз нашего журнала ей не достанется, поскольку и в плавании и в других видах спорта уже есть немало более юных претендентов.

Юбилейный, 1967 год начался соревнованиями на льду и на снегу, и вот уже поднимается на пьедестал почета новая чемпионка страны по фигурному катанию — шестнадцатилетняя Елена Щеглова. Лена на год моложе Тамары Сосновой. До середины лета она единственный претендент на приз «Юности».

В июле стартовала IV Спартакиада народов СССР. Первый сюрприз: две золотые медали восемнадцатилетнего гребца на каное Наума Прокупца из Молдавии. Чемпионом Спартакиады стал и семнадцатилетний конник из Белоруссии Анатолий Забродин. Закончились соревнования по стрельбе, и золотой медалью был награжден девятнадцатилетний Петр Плохотюк из команды Украины. Но все эти молодые чемпионы были старше Елены Щегловой.

Судьба приза «Юности», как и следовало ожидать, решилась в лужниковском бассейне. 27 июля золотая медаль была вручена Вере Анашкиной, ровеснице и землячке Лены Щегловой. Вера быстрее всех преодолела 100 метров на спине. Вслед за нею завоевали звание чемпио-

нок еще две школьницы, родившиеся также в 1950 году: Антонина Руденко из Гурзуфа и пермячка Лариса Захарова.

В соревнованиях по гимнастике участвовала четырнадцатилетняя Люда Бурда из Воронежа, но ей досталась лишь бронзовая медаль.

На финише Спартакиады двадцатидвухлетний эстонец Ян Тальтс побил мировой рекорд. Первым среди полутяжеловесов он преодолел 500-килограммовый рубеж. Герой Спартакиады стал самым юным чемпионом страны, но, увы, лишь среди штангистов.

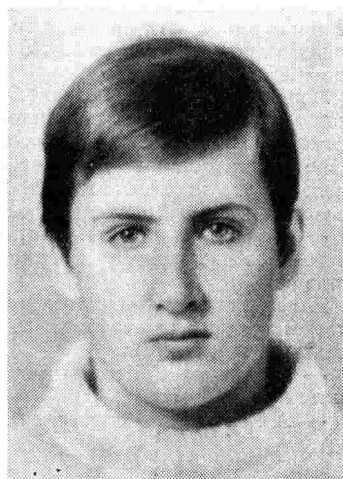
Итак, на приз «Юности» претендовали четыре спортсменки 1950 года рождения: фигуристка Елена Щеглова и пловчихи Вера Анашкина, Антонина Руденко и Лариса Захарова.

Чтобы выявить обладателя приза, пришлось заглянуть в метрические свидетельства. И что же? Анашкина родилась в феврале, Руденко — в мае, Щеглова — в августе, Захарова — в октябре.

Приз «Юности» — у Ларисы Захаровой.

Лариса живет в Перми, учится в школе. Ее «открыл» и подготовил тренер А. Д. Евтихов. Спортивные успехи Ларисы растут уверенно: в 1963 году у нее был третий разряд, в 1964-м — первый, в 1965-м она стала кандидатом в мастера, в 1966-м — мастером спорта, в 1967-м — мастером спорта международного класса. На Спартакиаде ей не было равных на дистанциях 200 и 400 метров комплексного плавания.

Н. САМОЙЛОВ





Марк Розовский



ГЛЯНЦЕВЫЙ МАЛЬЧИК

Одна девочка... пятая... десятая... Потом серия мальчиков... Все такие чистенькие, умненькие, причесанные, современные, глянцевые...

Вот уже второй час я листаю богато иллюстрированный воскресный журнал, полный всяких фотографий деловых молодых людей. Одна из подписей гласит, что именно они, эти прелестные фотогеничные создания, «лучше всех выражают дух и стиль нашего времени». Ну что ж, очень интересно... Хорошо бы проверить...

Поначалу пытаюсь познакомиться с очаровательной девушкой на 14-й странице. Но она молчит, несмотря на все мои подмигивания. Я даже вытащил свое журналистское удостоверение, чтобы она не думала ничего плохого. Молчит. Я даже помахал им у нее под носом. Молчит и улыбается.

— Слушай, куколка, — говорю я, разъяренный, — я в тебя сейчас сеledку заверну и в холодильник поставлю!

И вот, когда я уже хотел вырвать картинку, глянцевого мальчик со страницы 38-й не выдержал, зашевелился и закричал:

— Эй, очкарик! Что вы делаете? Кто так знакомится с девочкой?!

— А как надо? — спросил я, поправив очки.

— Во всяком случае, не в такой обстановке!..

Только тут я заметил, что сижу на кухне за столом с немытой посудой, а на ноге у меня носок с дыркой.

— Ну, сами подумайте... Ведь журнал валяется раскрытым. И она каждый день видит вашу маразматическую мебель. Вашу несчастную квартирку, в которой, кроме книг, ничего нет! А стены? Разве это стены современного дома? Здесь же нет никакого секса!

— Как же нет, если они голые? — попробовал возразить я и добавил:

— Таков уж мой характер... Что делать?

— Запомните: скромность — кратчайший путь в неизвестность, — сказал глянцевого мальчик строго. — И выбросьте из головы своей слова: «я не могу», «такова моя судьба», «несчастный я парень», «где уж нам уж выйти замуж»... Такие мысли вредят не только вам. Они задерживают прогресс человечества.

— Хм... Вам легко... Вы картинка...

— Э, нет, — обиделся глянцевого мальчик, — вы, наверное, думаете, что я абстракция, плод выдумки художника?.. А я реальность. И сам более всего ценю реализм. Век машин требует нового человека. Человека, у которого все рассчитано, запланировано,



проверено. Вот я, например,— пример. Меня знаете сколько напечатано? Тысячи экземпляров!

— Простите, но раз уж вы со мной заговорили, разрешите задать вам несколько вопросов.— Я поднес свой портативный магнитофон поближе к его фотографии.— Я не против моды как таковой. Я сам мечтаю одеваться красиво и современно. Хотите мини-юбки — пожалуйста!.. Желаете клеш — будьте любезны!.. Только бы одновременно с этим у нас не появилась мода на мини-мозги, на мини-чувства... Речь идет не о стандартности одежды, а о стандартности мышления и эмоций... В связи с этим мне хочется узнать: что вы, кто вы и как живете вне пределов этого журнала?

Мальчик улыбнулся и вытащил из-за спины папку крокодиловой кожи, на которой курчавыми золотистыми буквами был выгиснен лозунг-девиз: «Статистика — вот романтика!». Папка была полна листочками, исписанными красиво и экономно.

— Чтобы не быть занудой, я буду оперировать только цифрами и документами.

Он откашлялся, как перед докладом, и начал:

— В ближайшие десять лет я добьюсь значительно улучшения моего материального положения за счет следующих факторов: возникновение фонда заработной платы в связи с окончанием школы и переход на более выгодную молодость.

— Что является главным в вашей жизни сейчас?

— Я учусь. Примерное поведение в сочетании с умелым списыванием — вот мой девиз.

— Вы пользуетесь шпаргалками?

— Нет. С одной стороны, списывать — это хорошо. С другой — нехорошо. Потому как если списывать с двух сторон, то чернила промокают и плохо видно. В связи с этим лично я шпаргалками не пользуюсь! Я с книги. На экзамене берешь билет, садишься за стол, открываешь нужную страницу и... конспектируешь. Сжато. По-деловому. Слово в слово. А не умеешь списывать, так зачем учишься? Зачем на тебя государство десять лет деньги тратит?!

— Чего вы добились на сегодняшний день?

— Только за последний год я осуществил 33 мечты (из них шесть задушевных), проявил 16 интересов (из них два значительных) и удовлетворил 438 желаний (из них 77 невыполнимых).

— Ваше семейное положение?

— В грядущем десятилетии ожидается большое повышение себестоимости родителей в связи с предполагаемым уходом отца на пенсию.

— Кем вы хотите стать?

— Заместителем директора.

— По хозяйственной части? — почему-то спросил я.

— Не имеет значения. Заместители директора сейчас нужны во всех областях нашей жизни.

— А почему вы не хотите стать директором?

— Директора у нас уже есть. Больше не надо.

— Ваши ближайшие планы?

— Любовь.

— Вы уже любили кого-нибудь раньше?

— Никогда. Но мне пора. Только что я утвердил для себя Перспективный план развития первого чувства на второе полугодие.

— Кого вы наметили полюбить?

— Цвет волос белый, глаза зеленые, на шее — родинка, размер ног — 35-й, грудь — третий номер.

«Он сентиментален, как все рационалисты», — подумал я и спросил:

— Возможны ли отклонения от параметров?

— Ни в коем случае. Намечено три этапа. Первый — «Стишки-цветочки», второй — «Ручки-пальчики» и третий — «Щечки-поцелуйчики».

— А дальше? — спросил я взволнованно.

Мальчик замялся.

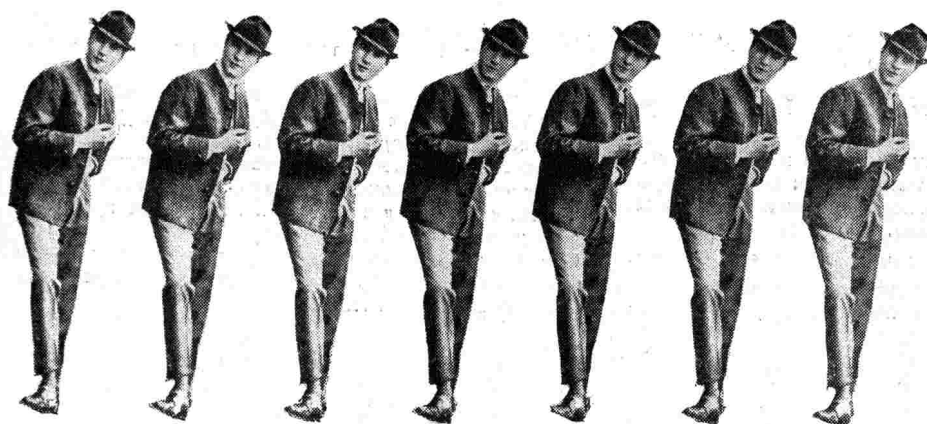
А мне стало стыдно. Как я мог забыть, что первая любовь — всегда чистая любовь!

— Видите ли... — сказал наконец мальчик доверительно. — Ребенка я сейчас не буду рожать. Ребенка я рожу в августе 1981 года, когда жена защитит диссертацию, а в ГУМе будут продаваться автоматические няньки.

— Скажите, а что вы читаете? Интересуетесь ли искусством?

— Конечно. В настоящее время я читаю в год по 8,7 книги, что на 3,2 процента больше, чем раньше. Что касается выставок художников, то за одно только прошлое воскресенье я сумел их посетить в ко-

Рисунок И. Оффенгендена.



личестве четырех штук, не считая мастерской одного подпольного художника-передвижника. Кроме того, сверх плана в текущем году мне удалось посмотреть несколько порнографических открыток. Но эти цифровые данные являются секретными, поэтому ничего больше сказать о них не могу. Есть ли у вас еще вопросы ко мне?

— Вы отрицаете романтику? Политику? Патриотизм?

— Никак нет. Надо только не забывать: вся ваша политика-романтика — это товар, который в наше время пользуется большим спросом. Одно красивое, хорошо разглаженное слово иногда дает в месяц столько же, сколько год тихой, скромной жизни, один метр честности — столько же, сколько тонна подлости. Современный юноша должен знать и учитывать рынок. Каждой правде — грош цена. Всякая полуправда стоит много дороже... В наше время положение человека зависит от его зарплаты. У каждого ровно столько сознания, сколько он получает...

Но, слава богу, у меня в кармане есть тихая сапа. Рано или поздно с ее помощью я добьюсь своего...

— Тихая сапа?.. Разве это не образное выражение?

— Все материально в нашем мире, даже образы.

— Но как она выглядит? — ахнул я.

— А вы что, не знаете?.. Ничего особенного... Тихая такая... Шумит мало, а дело делает!.. Ведет к цели!.. Медленным шагом, робким зигзагом... Хотите я и вам достану такую же?..

— Нет, нет... Спасибо... У меня и денег нет ее покупать!.. И зачем?

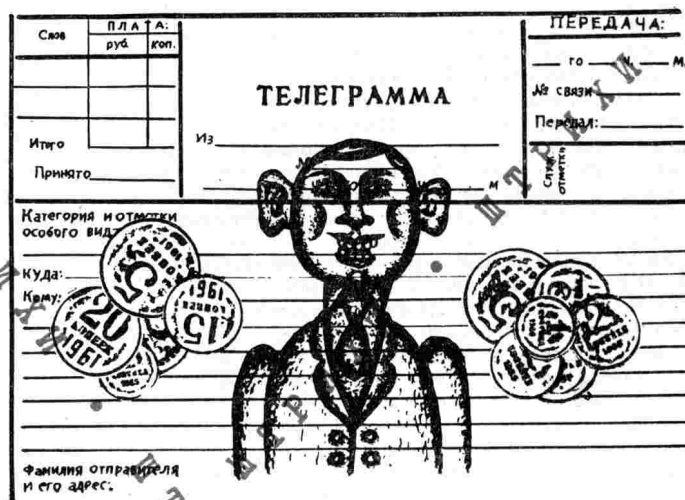
— Ну в таком случае... Привет!

В следующее мгновение глянец мальчик деловито посмотрел на часы и, увидев, что его рабочий день кончился, выпрыгнул со страницы журнала прямо ко мне на кухню. Здесь он потянулся, увеличился до естественных размеров и тотчас вышел вон на улицу, где скоро затерялся среди многочисленных пешеходов и машин.

Юрий Рихтер

ТОЛЬКО ТЕЛЕГРАММЫ

Рисунок В. Бахчаняна.



Некоторые считают, что судьбу человека определяют его врожденные способности. Или правильный выбор профессии. Или знакомства. Или, на худой конец, удачная женитьба. Не знаю, у кого как. Лично мою судьбу решили телеграммы. Только телеграммы.

Все началось с того, что я отдыхал летом у Черного моря. И вдруг, когда до отъезда оставалось два дня, выяснилось, что билет на самолет достать просто невозможно. И тогда мне в голову пришла блестящая мысль.

Я позвонил по телефону домой, и назавтра у меня в руках была заветная телеграмма: «Ребенок проглотил тридцать восемь копеек. Положение тяжелое. Немедленно вылетай. Жена».

Билет на самолет мне выдали беспрепятственно.

С этого момента моя судьба была решена.

Когда мне понадобился холодильник, я получил

из Ростова следующую телеграмму: «В связи тяжелой болезнью врач прописал тете усиленное питание. Для сохранения продуктов и тети срочно нужен финский холодильник. Твой двоюродный брат Витя». Вопрос с квартирой решился сразу же, как только в туристскую поездку за рубеж отправился мой приятель Женька.

Вскоре я получил телеграмму на иностранном языке: «Собираюсь вместе семьей приехать твой город. Ненавижу гостиницы. Надеюсь твое гостеприимство. Твой зарубежный друг Джек». Сам удивляюсь, но телеграмма подействовала.

Должен признаться, что появление в журнале этого рассказа для меня не является особенной неожиданностью. Дело в том, что к нему была приложена телеграмма из Конотопа:

«Мама нездорова. Она говорит, что поставить ее на ноги может только опубликование твоего рассказа в журнале «Юность». Папа».

македонские поэты, исполняются песни, написанные на их стихи.

26 августа

Начал работу симпозиум — «Диалог о поэзии и будущем». От нас в нем примут участие Луконин и Наровчатов.

Вечером — «Мосты». Международны митинг поэтов.

Над рекою Черный Дрим, протекающей из Охридского озера, неподалеку от ее истока, — легкая арка моста, вся в огнях и дымящихся факелах. Здесь, на мосту, поэты читают стихи. А под мостом, по обе стороны, набережные, тоже освещенные огнями, заполнены народом, тысячами людей, стоящих плотно, один к одному. Даже непонятно, откуда столько людей набралось в этом небольшом, в сущности, городе.

Очень красиво. И страшновато. — Страшновато! — говорит Булат. Он подходит к микрофону с гитарой. Берет первые аккорды.

В поход на чужую страну собирался король...

Песня, которую я давно знаю и люблю, звучит здесь, словно дома, в Москве, и все же как-то по-другому. После первой строфы вся эта масса людей на набережной начинает аплодировать в такт мелодии и уже до конца сопровождает песню своими аплодисментами.

28 августа

Заканчивается симпозиум. Выступили Луконин и Наровчатов. Явно имели успех. Толково, умно, достойно. О самом главном, о существенном.

Вечером — снова выступление и вручение премий.

Премии «Золотой венец Стружских вечеров поэзии 1967 года» (см. стр. 109) получает Булат за стихотворение «Оловянный солдатик моего сына».

Ему вручают венец. Он волнуется, но держит себя отлично, кратко благодарит.

Земля гудит под соловьями, под майским нежится дождем, и лишь солдатик оловянный на вечный подвиг осужден...

Поздравляю тебя, Булат! Обнимаю. Я рад за тебя. Все приходит раньше или позже (не все ли равно — раньше или позже!). Ведь мы не загадывали об этом, когда ехали с тобой, промерзшие, по зимней смоленской дороге в Пушкинские горы и пели те первые песни. И еще раньше, когда были удивлены и орадованы самым первым из них. И когда пели шу-

тя, переиначив одну из твоих песен: «Как трудно быть Булатом, Булатом!»

4 сентября

Нам предложили остаться еще на десять дней — для выступлений. Едем по Македонии и выступаем. Скопле, Штип, Прилеп. В Штипе, в здании музея, при свечах, блистательно читал Луконин. В Прилепе — на могиле павших героев. Читаем без перевода. И требуют читать еще и еще. По пути в Белград заезжаем в Косово поле, устраиваем вечер в Приштине.

Два поэтических вечера в Белграде проходят при переполненном зале — как лучшие вечера в Москве.

В чем дело? Может быть, в об-

щей атмосфере дружелюбия, которая окружает нас здесь на каждом шагу? Конечно, и в этом. Но, видимо, еще и в том, что мы, четыре разных поэта России, каждый в меру своих сил и дарований несли в своих стихах тот заряд человечности, совестливости, что ли, которые всегда были присущи нашей поэзии.

За каждым из нас стояла трудная дорога и судьба. Мы знали, чего мы хотим, четыре поэта из Москвы, четыре солдата, четыре товарища. Это поняли и почувствовали наши югославские друзья, наградившие своим почетным призом одного из нас.

А я люблю товарищей моих...

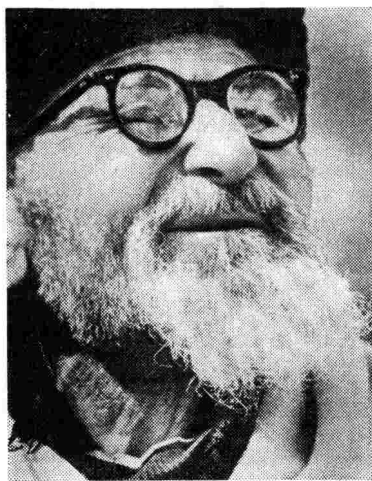
Юрий ЛЕВИТАНСКИЙ

Югославия, август — сентябрь.

«ТЕМ, КТО МОЛОЖЕ МЕНЯ НА 100 ЛЕТ...»

Минувшим летом в массовом восхождении на Эльбрус, посвященном 50-летию Советской власти, участвовал и 114-летний балкарец Чокка Залиханов.

Целый день старый Чокка работал и только под вечер приехал с сыновьями домой. За низким столом был накрыт ужин, интервью обернулось застольной беседой.



Старый Чокка поднял стакан:

— Дорогие мои друзья, товарищи! Все течет, все изменяется. Самое большое в жизни — это здоровье и счастье. Желаю вам здоровья и счастья великого, как наш

Эльбрус, и чтобы это здоровье и счастье у вас не иссякали, пока не иссякнет река Баксан.

— Выпьем за сказанное, — согласился друзья-товарищи и опрокинули стаканчики. На столе дымилась громадная нога тура, и ей было отдано все внимание.

В детстве мне страшно не хватало деда. Доброго седого деда в толстых очках и с зеленой бородой. И теперь, разглядывая Чокку, занятого большой, мясистой костью, я подумала, что самая богатая детская фантазия не могла создать лучшего деда.

— Так вам правда сто четырнадцать лет? — вдруг вырывается у меня.

Старик неторопливо что-то говорит на свой лад. Все за столом улыбаются, смотрят на меня. Михаил, один из сыновей Чокки, весело переводит:

— Слушай, да... Отец удивляется, почему ты его так спрашиваешь? Он говорит, что украл себе жену — нашу мать, когда ей было тринадцать лет, и что она не спрашивала, сколько ему лет. А он на тридцать пять лет ее старше. Но если хочешь знать, ему и есть сто четырнадцать. Он говорит, что когда в наших местах была холера, ему было семь лет. Вот считай: холера была у нас в 1860 году.

На стол выставлен громадный полосатый арбуз, и Чокка начинает так:

— Все говорят, хорошо живу. Сам так говорю. День идет, вто-

рой идет — хорошо живу. А ты спрашиваешь, сколько лет, да? Смотришь, какой я старый, да? Глухой немного? Стекло толстое в очках? Это я не старый. Это горе было, это война была. Сорок второй год не забуду. Думаешь, воевал я, на фронте был, думаешь? Нет, не был. Это я сыновей ждал. Горе было большое. Хочешь, самый плохой день скажу? Вот там, недалеко от нашего Тегенекли, сын Хусейн руководил операцией против германо-фашистского десанта. Пришли люди, говорят, что убит Хусейн. Сняли с него ремень, оружие сняли и положили вот на дворе, да. Нога прострелена и пулеметом по всей спине, по лопаткам, да. Я в тот день оглох. В ушах загудело. Потом Хусейна вывели — была ошибка, стал он здоровым, а в ушах моих до сих пор гудит. Горе всегда помнишь. А хорошие дни разве помнишь? Все хорошие, и вдруг один плохой. Его и помнишь.

Слушай, какой ты вопрос меня спрашиваешь?.. Тем, кто моложе меня на 100 лет?.. Хорошо, я все расскажу, — а как они жить тогда будут? Сорок лет будут жить, пятьдесят — потом скудно будет. Придут, будут говорить: зачем Чокка все рассказал, да?

Мой отец умер совсем рано. Совсем был молодой, совсем здоровый. Аслан звали. Только 90 лет было. Жеребца ковал, и он его лягнул, ударил, и Аслан скончался. Я был тогда совсем глупый. Жил у нас старик Дидий Баодаев. С ним я и пошел первый раз в горы. И на Эльбрус, и на Шхельду, и везде пошел. Много увидел. Охотником стал, проводником. Тогда ничего в Приэльбрусье не было, туристы ноги ломали, в Баксане тонули, без проводника плохо.

А твоим зачем проводник? В кресло сел — канатная дорога привезет на гору. А ты им скажи: пусть сами ходят. В горы ходят, на Шхельду ходят. Там красиво. Канатной дороги нет, ногами ходить надо.

Чокка отправляет куда-то под бороду сочный кусок арбуза и снимает на секунду круглые очки, как бы проверяя, какое впечатление произвел.

— Слушай, скажи тем, кто моложе меня на сто лет, как ты говоришь, пусть сходят на Шхельду. Пусть сердце выпрыгнет, пусть трудно будет, пусть ногами идут. Там не на чем ехать.

Ты говоришь, далеко эта гора? Скажи, пусть все равно идут! У каждого пусть своя гора будет. Пусть своя Шхельда будет.

В. БЕЗРУКОВА

МАЛЕНЬКАЯ СТУДЕНТКА

С Ирой Гребневой мы учились еще год назад в одной школе. Может, странно, но школа (не в обиду ей будь сказано, ни в коем случае не в обиду, что ты, милая школа!) уже вспоминается как нечто далекое и детское, как самокат на подшипниках.

Учились мы в десятых классах (как это называется — параллельных), только знакомы не были, и я даже не знал, что у нас в «Г» появилась девчонка четырнадцати лет, из подмосковной школы.

— Как это у тебя такая экономия вышла? — спрашиваю у Иры, уже как журналист спрашиваю.

— Пошла сразу во второй класс, — говорит она, — а оттуда в четвертый, за половину седьмого и половину восьмого сдала...

Я уроки прогуливал, на подоконниках алгебру списывал и просил быстренько за перемену рассказать сюжет очередного классика, а человек тем временем подготавливался и сдавал половину класса. И спокойно кончал в четырнадцать лет школу. И не просто кончал, а поступал в институт. И не просто в институт, а в физтех, где всю программу университетского мехмата проходят за два с половиной года!

— И что, — говорю я, — не чувствовалось за все школьные годы этих скачков, не было трудно?

— Нет, не было.

— А в институте как?

— Да тоже не трудно пока.

— Я тоже поступал, — говорю я, — на факультет журналистики. Но на дневное не прошел: баллов не хватило.

— А у нас балл — понятие расплывчатое, — говорит Ира. — У нас на физтехе ходит легенда даже, что один парень набрал двадцать баллов, а потом на собеседовании его спросили, зачем он сюда идет, и он ответил: «Хочу науку двигать». После этого со словами: «Такие двигатели нам не нужны» — с ним распрощались.

— Но, как можно заметить, — говорю, — хотя баллов я не добрал, журналистикой все-таки занимаюсь. Вот видишь, у тебя интервью беру...

На Иру, по-моему, это не производит особого впечатления. Может, потому, что она «ударилась» в чисто точную область и все гуманитарное на нее никак не действует?

— И на каком ты сейчас факультете? — спрашиваю.

— На химико-молекулярном...

Я за этот год не раз удивлялся, откуда у людей, идущих по точным наукам, берется фантазия выобрать, куда после школы идти, — там же всяких специальностей и направлений что рыбы в пруду.

— Пугали перед институтом, конечно, здорово, — говорит Ира. — Что учиться всего десять процентов девушек и что для них проходной балл выше...

— И как же на тебя, интересно, здесь посмотрели?

— Ничего особенного. Спросили только: «Как это вы ухитрились родиться в 1953 году?»

— А как решила пойти сюда?

— Это с восьмого класса. У нас вели кружок в школе физтехи (то есть студенты МФТИ — Московского физико-технического института).

— А на физиков, — продолжает Ира, — в школе мне не везло... В седьмом, например, был учитель, который утверждал, будто плафоны держатся тем, что силу их тяжести уравнивает сила давления столба воздуха под ними. И просил всех записать в тетрадь. У меня она до сих пор где-то лежит. Другой утверждал, что дерево (я тут же, конечно, представляю себе такое большое, зеленое, ветвистое, на лугу...) бывает в трех агрегатных состояниях: твердом, жидком и газообразном...

Ира рассказывает мне, как хозяин гостю, что в институте процветают юмор и песня, что двадцать процентов физтехов — это очкарики, причем цифра, за несколько лет не меняющаяся (я, правда, по своему неакадемическому взгляду решил, что их здесь гораздо больше). И что в основном думы студентов разделяются по курсам следующим образом: 1-й — «Ой, выгонят!», 2-й — «А что, если выгонят?», 3-й — «Ну, не выгонят же...», 4-й — «Теперь уже не выгонят», 5-й — «Пусть только попробуют», 6-й — «Ха-ха».

— «Ха-ха», значит, у тебя будет в двадцать лет, — подсчитываю я. Вот, значит, с каким человеком еще год назад я учился.

Может, она одна на всю Москву в четырнадцать лет в институт поступила, да еще в такой...

А может быть, на весь Союз такая одна.

Или на весь мир...

На всю Солнечную, значит, систему!

Николай БУЛГАКОВ



НАЧАЛО

На каждый молодой человек, избравший путь художника, приходит к искусству своей дорогой. На некоторых большое влияние оказывают увиденные репродукции, чтение монографий о художниках или пример кого-нибудь из близких, причастных к художническому ремеслу. У Аллы Габышевой тоже были увлечения, заставившие ее взяться за кисть и воплотить на бумаге свои сокровенные мечты о прекрасном.

В школе Алла увлекалась стихами, зачитывалась Грином, а в 7-м классе, попав в залы французской живописи музея имени Пушкина, впервые почувствовала поэзию в живописи. Сияние красок Ван Гога и матовая, плотная гамма Гогена поразили ее. Эти два мастера навсегда запомнились школьнице.

Но за этими впечатлениями не сразу последовала настоящая увлеченность искусством. В поисках своего места в жизни ей предстояло пройти извилистый путь. Сначала учеба в радиотехническом институте имени Потемкина; потом Алла останавливается на профессии художника-графика. Сейчас она дипломант Московского полиграфического института.

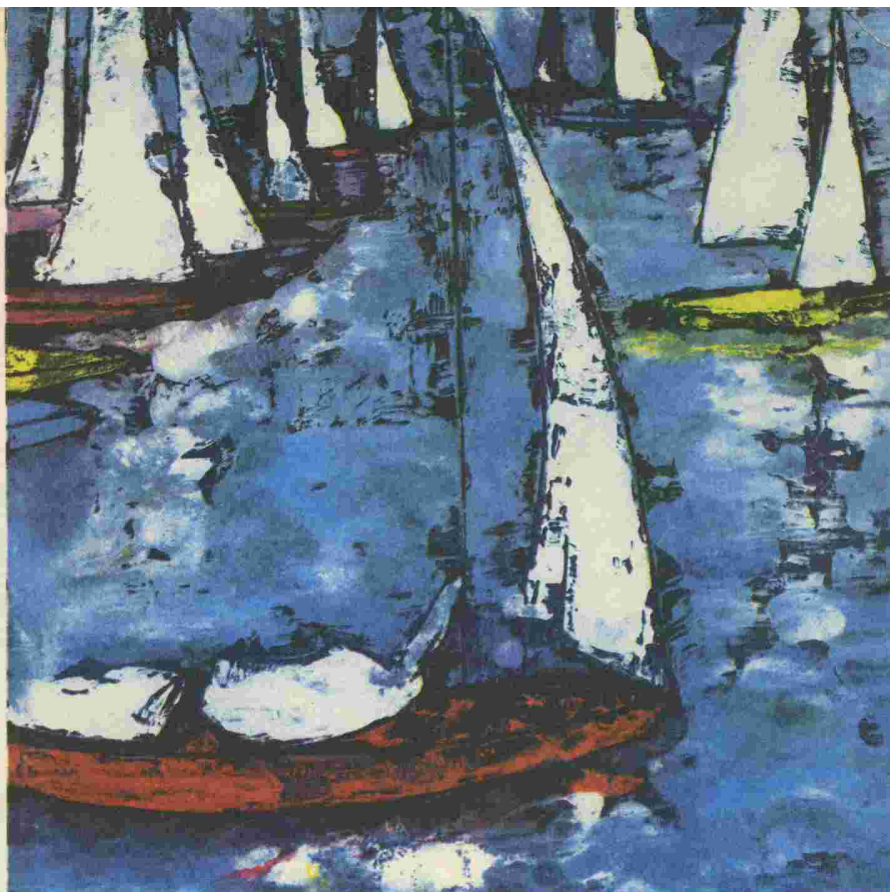
Алла упорно ищет и, кажется, находит свое место в трудном искусстве оформителя книги, создателя станкового графического рисунка. Сейчас художницу привлекает монотипия.

В этом номере на второй странице обложки мы видим интересный лист ее работы, посвященной повести А. Грина «Алые паруса». Цветовые мазки в монотипии не имеют четкого контура, яхта и девушка как бы тонут среди ярких красок, положенных легко, со вкусом, а фигура юной героини сливается с общей романтической гаммой всей композиции.

И в двух других работах, опубликованных на этой странице, легко увидеть тонкий пластический прием, помогающий зрителю ощутить поэтическое воображение художника.

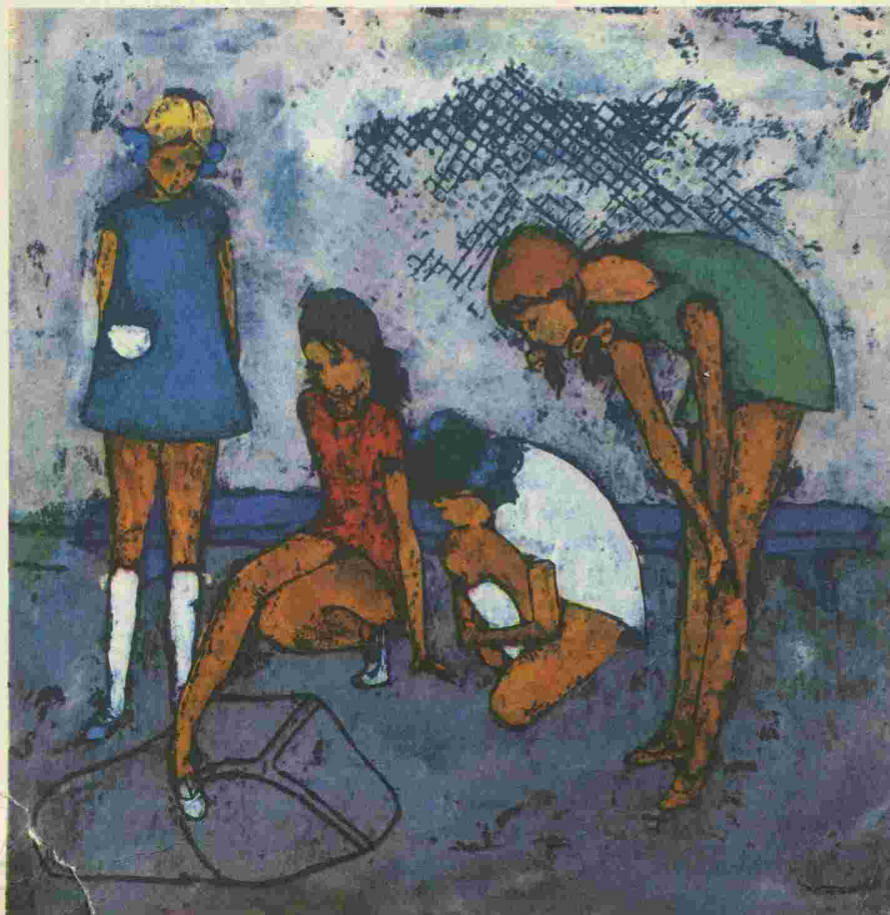
Пожелаем дебютантке успеха в решении сложной задачи — найти свой путь в изобразительном искусстве, что по силам далеко не каждому художнику.

Ю. ЦИШЕВСКИЙ



Монотипии А. ГАБЫШЕВОЙ.

Яхты.
Девочки.



Главный редактор Б. Н. ПОЛЕВОЙ

**Первый заместитель главного редактора
С. Н. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ**

**Редакционная коллегия: В. П. АКСЕНОВ, Э. Б. ВИШНЯКОВ,
В. И. ВОРОНОВ (зам. главного редактора), В. Н. ГОРЯЕВ,
Е. А. ЕВТУШЕНКО, Л. А. ЖЕЛЕЗНОВ (отв. секретарь),
Г. А. МЕДЫНСКИЙ, М. П. ПРИЛЕЖАЕВА, В. С. РОЗОВ.**

Цена 40 коп.

Индекс
71120